

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

#### Редакционный совет

*Александрова О. В.*, д. филол. н., проф. (Россия, МГУ)  
*Балина М.*, д-р, проф. (США, ун-т Иллинойс Везлиан)  
*Березович Е. Л.*, д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)  
*Богданова-Беллярян Н. В.*, д. филол. н., проф. (Россия, СПбГУ)  
*Буле О.*, д-р, доц. (Нидерланды, ун-т Лейдена)  
*Вендина Т. И.*, д. филол. н., проф. (Россия, Москва, Институт славяноведения РАН)  
*Войтак М.*, д-р, проф. (Польша, Люблинский ун-т)  
*Ерофеева Т. И.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Котельников В. А.*, д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт русской литературы РАН)  
*Краузе М.*, д-р, проф. (Германия, ун-т Гамбурга, Институт славистики)  
*Мызников С. А.*, д. филол. н., проф. (Россия, СПб., Институт лингвистических исследований РАН)  
*Овчинникова И. Г.*, д. филол. н., проф. (Израиль, ун-т Хайфы; Россия, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова)  
*Полякова Е. Н.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Рут М. Э.*, д. филол. н., проф. (Россия, УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина)  
*Савкина И.*, д-р, проф. (Финляндия, ун-т Тампере)  
*Саксена Р.*, д-р, проф. (Индия, ун-т Дели)  
*Ушакова О. М.*, д. филол. н., доц. (Россия, ТюменГУ)  
*Фэвр-Дюпэгр А.*, д-р, доц. (Франция, ун-т Пуатье)  
*Чернявская В. Е.*, д. филол. н., проф. (Россия, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого)

#### Редакционная коллегия

*Новокрещенных И. А.* (гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Русинова И. И.* (зам. гл. ред.), к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Шутёмова Н. В.* (зам. гл. ред.), д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Абашев В. В.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Абашева М. П.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ)  
*Алексеева Л. М.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Арустамова А. А.*, д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Баженова Е. А.*, д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Боронникова Н. В.*, к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Бочкарёва Н. С.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Братухин А. Ю.*, д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Бурдина С. В.*, д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Данилевская Н. В.*, д. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Дускаева Л. Р.*, д. филол. н., доц. (Россия, СПбГУ)  
*Ерофеева Е. В.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Кондаков Б. В.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Кочкарева И. В.*, к. филол. н., доц. (Россия, ПГНИУ)  
*Кушнина Л. В.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)  
*Мишланов В. А.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Нестерова Н. М.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)  
*Подюков И. А.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ)  
*Проскурнин Б. М.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГНИУ)  
*Серова Т. С.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПНИПУ)  
*Фоминых Т. Н.*, д. филол. н., проф. (Россия, ПГГПУ)

Адрес учредителя и издателя: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15.

Адрес редакции: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 (Факультет современных иностранных языков и литератур, Филологический факультет). E-mail: langlit2009@mail.ru.

Сайт журнала: <http://press.psu.ru/index.php/philology>. Контент-редактор сайта А. В. Пустовалов

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС 77-66482 от 14.07.2016 г.

Издание включено в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям 10.01.00 – литературоведение, 10.02.00 – языковедение от 01.12.2015 г.

Founder: Perm State University

---

### Editorial Council

*Olga Aleksandrova* (Russia, Moscow State University)  
*Marina Balina* (USA, Illinois Wesleyan University)  
*Elena Berezovich* (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)  
*Natalya Bogdanova-Beglarian* (Russia, Saint Petersburg State University)  
*Otto Boele* (Netherlands, Leiden University)  
*Tatyana Vendina* (Russian Academy of Sciences, Moscow, Institute of Slavic Studies)  
*Maria Voytak* (Poland, Lublin University)  
*Tamara Erofeeva* (Russia, Perm State University)  
*Vladimir Kotelnikov* (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Russian Literature)  
*Marion Krause* (Germany, University of Hamburg, Institute for Slavic Studies)  
*Sergey Myznikov* (Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Institute of Linguistic Studies)  
*Irina Ovchinnikova* (Israel, University of Haifa; Russia, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University)  
*Elena Polyakova* (Russia, Perm State University)  
*Mary Rut* (Russia, Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin)  
*Ranjana Saxena* (India, University of Delhi)  
*Irina Savkina* (Finland, University of Tampere)  
*Olga Ushakova* (Russia, Tyumen State University)  
*Anne Faivre Dupaigne* (France, University of Poitiers)  
*Valeriya Chernyavskaya* (Russia, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)

### Perm Editorial Board

<i>Irina Novokreshchennykh</i> – <i>Editor-in-Chief</i> (Perm State University)	<i>Liliya Duskaeva</i> (Saint Petersburg State University)
<i>Irina Rusinova</i> – <i>Associate Editor</i> (Perm State University)	<i>Elena Erofeeva</i> (Perm State University)
<i>Natalya Shutemova</i> – <i>Associate Editor</i> (Perm State University)	<i>Boris Kondakov</i> (Perm State University)
<i>Vladimir Abashev</i> (Perm State University)	<i>Irina Kochkareva</i> (Perm State University)
<i>Marina Abasheva</i> (Perm State Humanitarian-Pedagogical University)	<i>Ludmila Kushnina</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Larissa Alekseeva</i> (Perm State University)	<i>Valeriy Mishlanov</i> (Perm State University)
<i>Anna Arustamova</i> (Perm State University)	<i>Natalya Nesterova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Elena Bazhenova</i> (Perm State University)	<i>Ivan Podyukov</i> (Perm State Humanitarian-Pedagogical University)
<i>Natalya Boronnikova</i> (Perm State University)	<i>Boris Proskurnin</i> (Perm State University)
<i>Nina Bochkareva</i> (Perm State University)	<i>Tamara Serova</i> (Perm National Research Polytechnic University)
<i>Alexandr Bratukhin</i> (Perm State University)	<i>Tatyana Fominykh</i> (Perm State Humanitarian-Pedagogical University)
<i>Svetlana Burdina</i> (Perm State University)	
<i>Natalya Danilevskaya</i> (Perm State University)	

Address of the founder and publisher: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai

Address of the editorial office: 15, Bukireva st., Perm, 614990, Perm Krai

(Faculty of Modern Languages and Literatures, Faculty of Philology). E-mail: langlit2009@mail.ru

Web-site of the journal: <http://press.psu.ru/index.php/philology>. Content editor of the website A. V. Pustovalov

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО</b> .....	5
Зорина Л. Ю. РЕЖА И РЕЖАКИ: ОТ ИДЕИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА .....	5
Королёва С. Ю., Брюханова М. А. ЧЕРДЫНСКАЯ ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНАЯ ПРИЧЕТЬ: БЫТОВАНИЕ, ОБРЯДОВАЯ ЛЕКСИКА, МОТИВ <i>ВЕСТКИ-ГРАМОТКИ</i> .....	16
Левичкин А. Н. О СПИСКАХ «РЕЧИ ТОНКОСЛОВИЯ ГРЕЧЕСКОГО» .....	30
Млинарува Б. ДИСКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСТИЦЫ «И» В ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ .....	39
Селиверстова Е. И., Сунь Шуян. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ СО СТРУКТУРОЙ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ .....	47
<b>ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ</b> .....	55
Бурдина С. В., Мельничукова С. В. ПОЭТИКА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО И МЕМУАРНОГО НАЧАЛ В ПРОЗЕ О. ВОЛКОНСКОЙ (на материале сборника рассказов «Фиалки и волки») .....	55
Власова Е. Г. УРАЛ ИЗ ОКНА ВАГОНА: СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ТРАВЕЛОГ .....	64
Гладощук А. В. СЮРРЕАЛИЗМ И МИФ: ПОЭТИКА «ОБСИДИАНОВОЙ БАБОЧКИ» ОКТАВИО ПАСА .....	72
Гун Цинцин. АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ И ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В ПРОЗЕ В. С. МАКАНИНА 1970–80-х гг. ....	83
Малькова А. В. МОТИВ ПОИСКА ЖЕНЩИНЫ В РОМАНЕ В. МАКАНИНА «АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» .....	92
Мароши В. В. УРАЛ РОМАНТИЧЕСКИЙ И ГОТИЧЕСКИЙ В ТРАВЕЛОГЕ Т. У. АТКИНСОНА .....	102
Панова О. Ю. «ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА» ГАРРИЕТ БИЧЕР-СТОУ В ВОСПРИЯТИИ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ .....	111
<b>ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ</b> .....	122
Сироткина Т. А. ВЕРШИНИНА ИЗ ВЕРШИНИНО .....	122
Халина Н. В. MODERN SCIENTIFIC TEXT: НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ПОИСКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ .....	127

## CONTENTS

<b>LANGUAGE, CULTURE, SOCIETY</b> .....	5
<b>Zorina L. Yu.</b> REZHA AND REZHAKI: FROM THE IDEA TO THE COMPLETION OF THE PROJECT .....	5
<b>Korolyova S. Yu., Brukhanova M. A.</b> TRADITIONAL FUNERAL LAMENTS OF CHERDYN AREA: CURRENT STATUS, RITUAL LEXIS, “LETTER-MESSAGE” MOTIF .....	16
<b>Levichkin A. N.</b> ABOUT MANUSCRIPTS OF <i>RECH TONKOSLOVIYA GRECHESKOGO</i> .....	30
<b>Mlinarova B.</b> THE DISCOURSE FUNCTIONS OF THE PARTICLE “I” IN NEWSPAPER ARTICLES .....	39
<b>Seliverstova E. I., Sun Shuyang.</b> CHARACTERISTICS OF REPRESENTATION OF EVENTS IN RUSSIAN PROVERBS WITH THE STRUCTURE OF A SIMPLE SENTENCE .....	47
<b>LITERATURE IN THE CULTURAL CONTEXT</b> .....	55
<b>Burdina S. V., Melnichukova S. V.</b> THE POETICS OF THE AUTOBIOGRAPHICAL AND MEMOIR FEATURES IN O. VOLKONSKAYA’S PROSE (Based on the Collection of Short Stories <i>Violets And Wolves</i> ) .....	55
<b>Vlasova E. G.</b> THE URALS FROM A RAILWAY CARRIAGE WINDOW: MEANS OF COMMUNICATION AND TRAVELOGUES .....	64
<b>Gladoshchuk A. V.</b> SURREALISM AND THE MYTH: POETICS OF OCTAVIO PAZ’S <i>OBSIDIAN BUTTERFLY</i> .....	72
<b>Gong Qingqing.</b> ANIMALISTIC AND COLOR SYMBOLISM IN THE 1970–1980S PROSE OF V. S. MAKANIN .....	83
<b>Malkova A. V.</b> THE MOTIF OF SEEKING A WOMAN IN V. MAKANIN’S NOVEL <i>UNDERGROUND, OR HERO OF OUR TIME</i> .....	92
<b>Maroshi V. V.</b> ROMANTIC AND GOTHIC URALS IN T. W. ATKINSON’S TRAVELOGUE .....	102
<b>Panova O. Yu.</b> <i>UNCLE TOM’S CABIN</i> BY HARRIET BEECHER STOWE: AFRICAN AMERICAN RESPONSES .....	111
<b>ACADEMIC REVIEWS AND SURVIEWS</b> .....	122
<b>Sirotkina T. A.</b> VERSHININA FROM VERSHININO .....	122
<b>Khalina N. V.</b> MODERN SCIENTIFIC TEXT: SCIENTIFIC TEXT AS PRESENTATION OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS IN THE MODERN KNOWLEDGE SOCIETY .....	127

## ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВО

УДК 811.161.1  
doi 10.17072/2037-6681-2018-2-5-15

### РЕЖА И РЕЖАКИ: ОТ ИДЕИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТА<sup>1</sup>

Людмила Юрьевна Зорина

к. филол. н., профессор кафедры русского языка,  
журналистики и теории коммуникации

Вологодский государственный университет

160000, Россия, г. Вологда, ул. Ленина, 15. kanz@mh.vstu.edu.ru

SPIN-код: 8442-0477

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9122-2140>

ResearcherID: G-2113-2017

Статья поступила в редакцию 16.02.2018

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Зорина Л. Ю. Режа и режаки: от идеи до завершения проекта // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 5–15. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-5-15

**Please cite this article in English as:**

Zorina L. Yu. Re Rezha i rezhaki: ot idei do zaversheniya proekta [Rezha and Rezhaki: from the Idea to the Completion of the Project] *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 5–15. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-5-15 (In Russ.)

Обобщаются результаты реализации проекта «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома». Проект нацелен на изучение лингвистических, этнических и ментальных особенностей жителей Режского сельского поселения Сямженского района Вологодской области и выполнялся в 2015–2017 гг. при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (№ 15-04-00205). Руководила выполнением работ по проекту его инициатор Л. Ю. Зорина. В процессе реализации проекта установлено, что Режа (так называется малая северная река, приток Ваги, и расположенная в ее нижнем течении местность) действительно представляет собой уникальное русское поселение со своеобразной народной культурой и отличающимся от других вологодских говоров традиционным диалектом. Работы по его описанию завершаются публикацией серии статей относительно происхождения гидронима *Режа*, относительно микротопонимии поселения, особенностей прозвищных наименований жителей, характеристик их жизни и быта, подготавливаемой в настоящее время монографии по описанию языковой картины мира режского крестьянина, изданным сборником образцов народной речи в изучаемом поселении, а также опубликованным монодиалектным дифференциальным Словарем вологодского режского говора. Словарь вводит в научный оборот большой объем ранее не описанного лексического и фразеологического материала.

В ходе своей реализации проект обрел не только научную, но и социальную значимость, способствовал актуализации региональной идентичности, локального самосознания, вовлек в дело изучения режской речи широкий круг жителей региона, заинтересованных в обсуждении проблем филологического краеведения.

**Ключевые слова:** севернорусский диалект; Режа и режаки; этнолингвистическое описание.

Вологодские диалектологи завершают работу над исследовательским проектом «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома» (руководитель кандидат филологических наук Л. Ю. Зорина). Проект был поддержан Российским гуманитарным научным

фондом (№ 15-04-00205) и осуществлялся в 2015–2017 гг. Работа была нацелена на изучение лингвистических, этнических и ментальных особенностей жителей Режского сельского поселения Сямженского района Вологодской области.

### Описание Режского поселения

Режское поселение Сямженского района Вологодской области (ранее – Режский сельсовет) расположено в нижнем течении малой северной реки Режи, притока Ваги. Длина русла Режи составляет всего 27 км. Деревни *Бурниха, Гридино, Колтыриха, Копылово, Коробицыно, Марково, Монастырская, Рассохино* и другие компактно расположены на протяжении примерно 13 км.

В исторических источниках Режа (так обычно по названию реки называется и вся эта местность) и ее центр, деревня Монастырская, упоминаются с XVI в. [Колесников 1971: 101–102]. Это позволяет говорить о многовековой истории изучаемого севернорусского идиома. Из-за удаленности и изолированности от административных и культурных центров эта территория в разное время относилась к разным районам Вологодской области. Властным структурам сложно было брать на себя ответственность за эту удаленную местность и населявших ее людей – радио как благо цивилизации появилось здесь только в 1957 г.

В конце XX в., в 80-е его гг., когда диалектологи Вологодского педагогического института начали проводить наблюдения над говором Режи, местность была густонаселенной (здесь проживало около 4000 человек), значительную часть населения составляли люди, родившиеся в самом начале XX в. Дорога сюда все еще была плохой. Сельские жители редко выезжали за пределы своего сельсовета и поэтому последовательно сохраняли в речевой практике традиционные особенности местного говора.

### История изучения говора Режи

Диалектологические экспедиции в деревни Режского сельсовета проводились с небольшими перерывами с 1983 по 2015 г. Пребывание диалектологов в Реже иногда было весьма продолжительным: ежегодно 4 недели в июле и 4 недели в сентябре. В отдельные годы проводились и августовские экспедиции преподавателей, студентов и аспирантов Вологодского педагогического института. Руководителем диалектологических экспедиций была автор данного материала. Основными исполнителями работ по настоящему проекту согласились стать профессор Е. Н. Ильина, доценты Е. П. Андреева, Е. Н. Иванова, Н. В. Комлева и студентка филологического факультета Вологодского государственного университета Д. В. Глебова.

В ходе проведенной работы был зафиксирован традиционный, к настоящему времени уже почти утраченный, режский говор. Оцифрованные записи народной речи (свыше 30 часов зву-

чания), обширная картотека местных слов (более 20 тыс. карточек), большое количество студенческих выпускных квалификационных работ ярко отражают особое мироустройство и менталитет жителей данной местности. Здесь до недавнего времени сохранялась курная изба, бани строились «по-черному», существовала традиция мытья в русской печи, фиксировался архаичный обычай «перепекания ребенка», было заметным своеобразие деревенского костюма, ощущались особенности в коммуникативном поведении людей.

К настоящему времени население Режи сократилось до 200 человек, само поселение включено в состав более крупного Ногинского сельского поселения. Однако в рамках проекта удалось в максимально короткие сроки осуществить многостороннее изучение и описание специфических черт жизни традиционной деревни в данной местности и ее говора. Конкретный говор Вологодской группы севернорусского наречия впервые был подвергнут монографическому описанию, что доказывает актуальность проекта «Режа и режаки».

Применение классических, многократно опробованных методик описания говора, его топонимической и антропонимической систем в сочетании с инновационной методикой изучения отраженной в лексике говора уникальной диалектной картины мира обусловило высокий уровень фундаментальности исследования.

Новизна проекта, помимо сочетания актуальных методических установок, была обеспечена тем, что в научный оборот введен большой объем ранее никогда и никем не описанного диалектного материала, собранного в полевых условиях: значительный корпус диалектных слов, фразеологизмов, паремий, в том числе архаических, не отмеченных на других территориях, специфичных в национально-культурном отношении.

За годы реализации проекта «Режа и режаки» коллективом исполнителей была проведена значительная работа. В ходе исследования подтверждено, что Режа – это уникальное поселение со свойственной ему самобытной народной культурой и заметно отличающимся от других вологодских говоров колоритным диалектом.

В ходе исследования оцифрованы материалы режских диалектологических экспедиций (аудиозаписи, многочисленные фотографии, дневники студенческих диалектологических экспедиций и др.); усовершенствована картотека режского говора; проведена лексико-семантическая и грамматическая систематизация материала; осуществлено моделирование и редактирование пробных словарных статей; с целью дообследования говора

в 2015 г. проведена диалектологическая экспедиция в деревню Монастырская и др.

В итоге осуществления проекта произведена попытка этимологизации гидронима *Режа* [Варникова 2016: 354–359]; составлена и опубликована в виде главы монографии характеристика режского говора [Зорина 2015: 28–39]; опубликована так называемая «режская глава» – «Описание говора Режского поселения Сямженского района в контексте изучения речевой культуры Вологодского края» [Народная речь 2015: 9–110]; опубликована монография с аудиоприложением [Режские тексты 2016]; издан Словарь вологодского режского говора [Словарь 2017]; напечатана серия статей относительно режской диалектной картины мира. В опубликованных статьях описаны система микропонимов изучаемой местности, система неофициальных именований жителей, фразеологическая и паремиологическая системы говора, система ономастопов в режском говоре, группа слов, обозначающих детей, группа наименований выпечных изделий, группа наименований пищи; проанализированы слова с архаическими корнями; частично опубликованы дневниковые заметки режской диалектологической экспедиции и др.

Помимо основных исполнителей работ по гранту «Режа и режаки», к реализации проекта подключились и другие преподаватели кафедры русского языка ВоГУ. Так, по проблематике гранта опубликованы статьи Е. Н. Варниковой [Варникова 2016: 354–359], Т. Г. Овсянниковой [Овсянникова 2015: 50–55], Т. В. Парменовой [Парменова 2015: 55–74], Г. В. Судаковым [Судаков 2016: 104–107], Л. Г. Яцкевич [Яцкевич 2015: 10–23].

Проведение работ по гранту РГНФ «Режа и режаки» совпало с мощным общественным движением по восстановлению разрушенного в 30-е гг. XX в. храма Преображения Господня в деревне Монастырской. Объединению режаков способствовали, в частности, возможности Интернета. Так, в социальных группах «Режа» и «Ремонт храма Преображения Господня» сосредоточены и теперь стали доступны широкому кругу пользователей многочисленные историко-краеведческие материалы относительно Режи. Общение с пользователями социальной сети «ВКонтакте» позволило в процессе работы оперативно уточнять значения слов и грамотно интерпретировать их в Словаре вологодского режского говора. Проект «Режа и режаки» вызвал также большой интерес в регионе, о чем свидетельствует неоднократное размещение информации о нем в местных средствах массовой информации.

Таким образом, фундаментальный научный проект «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома» обрел не только научную, но и социальную значимость, способствовал актуализации региональной идентичности, локального самосознания, вовлек в дело изучения режской речи широкий круг жителей региона, заинтересованных в обсуждении проблем филологического краеведения.

Оценивая итоги проекта, необходимо отметить положительную динамику в его реализации. Если в первый год выполнения работ было проведено экспедиционное дообследование говора и из написанных исполнителями работ по гранту статей составлена так называемая «режская глава», то во второй год уже была опубликована монография с расшифровками звучащей речи. Третий год завершился изданием объемного Словаря вологодского режского говора, эксплицирующего основные тематические группы лексики бытовой и духовной культуры, позволяющего реконструировать локальную картину мира, а это создало задел для еще одной монографии.

### Топонимия Режи

При характеристике содержательной стороны проведенного исследования в первую очередь следует показать, что стало теперь известно о происхождении самого гидронима *Режа*. В статье Е. Н. Варниковой [Варникова 2016: 354–359] рассматривается его семантика, приводятся разные версии его происхождения, определяется связь гидронима с местным географическим термином *реж(а)*, *режма*.

Гидроним не отмечен в известных топонимических словарях, по-видимому, не только по причине затемненности его этимологии, но и в связи с относительно небольшим размером и малоизвестностью именуемого им водотока. При интерпретации гидронимов, сопоставимых с сямженским *Режа*, исследователи соотносят их с местным географическим термином *реж(а)*, *режма*, но объясняют его значение и происхождение по-разному.

По мнению А. Л. Шилова [Шилов 1999: 88–93], русский термин *режма* имеет саамское происхождение: «перспективным видится сравнение с саам. \**ressam* ‘начало, исток; источник’ или \**resma* ‘начинающая’. Следовательно, рус. *режма* могло означать ‘речку, берущую начало в источниках’, что существенно, если малая река используется в летнюю межень на водноволокном пути». Сямженская *Режа* действительно вытекает, как установлено экспедициями местных учителей и школьников, из небольшого источника.

Другая, «путевая» версия названия *Режа* приводится в Словаре гидронимов Вологодской области А. В. Кузнецова. Автор сопоставляет, как пишет Е. Н. Варникова, названия двух рек, текущих на территории Сямженского района Вологодской области, – *Режи*, впадающей в *Вагу*, и *Бохтюги*, относящейся к бассейну другой крупной реки в Вологодском крае – *Кубены* (*Бохтюга* – правый приток *Шиченьги*, правого притока *Сямжены*, левого притока *Кубены*) [Кузнецов 2010: 182]. В словарной статье «Бохтюга, Бохтюга» А. В. Кузнецов высказывает предположение о том, что «волок с верховьев сямженской Бохтюги вел к истокам реки Режи, левого притока Ваги. Таким образом, данный потамоним служил индикатором важного в древности водно-волокового пути из бассейна Кубены в бассейн Северной Двины» [там же: 26].

В статье «Режа» автор словаря, руководствуясь, по-видимому, этим предположением или высказанным ранее мнением А. Л. Шилова, допускает, что диалектный термин *реж*, *режма*, лежащий в основе гидронима, «в древности использовался для обозначения рек, ведущих в другую речную систему. В данном случае от истока Режи сухопутный волок вел на реку Бохтюгу, название которой, по одной из версий, переводится как «волоковая река» [там же: 182].

Таким образом, считает Е. Н. Варникова [Варникова 2016: 354–359], существуют две версии происхождения термина *реж(а)*, *режма* – русская и финно-угорская. Очевидно, в этом случае было бы правильнее говорить об омонимии этимологически разных терминов. Не является ли вариативность *режма*, *режа*, отмеченная СлРЯ XI–XVII вв., результатом их сближения и взаимодействия? В их семантике, как было показано ранее, выделяется и общий компонент ‘источник’. Впрочем, значение *режма*, *реж(а)*, как справедливо отметил А. Л. Шиллов, требует значительного уточнения. Это очень важно для трактовки гидронимов оттерминологического образования. Поиск истины в отношении гидронима *Режа* продолжается.

Тем не менее представления о малой вологодской реке *Реже* и ее особенностях пронизывают всю жизнь людей, проживающих по ее берегам, и отпечатываются в их сознании как разноплановые представления о реке большой и значительной. В статье Л. Ю. Зориной [Зорина 2015б: 26] отмечено, что жители Режи с гордостью говорят о том, что их река впадает в большую и важную в экономическом отношении реку Вагу, часто говорят о характере Ваги: *Режа пала в Вагу; Вага Вель перешибла да и дале потекла*.

Хозяйственная деятельность на реке Реже традиционно состояла в использовании ее вод для лесосплава, в обеспечении работы мельниц, в применении для обеспечения жизнедеятельности людей и домашних животных. До недавнего времени местные жители еще предпочитали использовать для питья воду именно из реки Режи, считали, что она лучше *опóшной*, сильно минерализованной колодезной воды.

Река Режа характеризуется в говоре с разных сторон: по наличию топких мест: *Как по Ваге-то идёшь, в Вагу-то впадают ключи. Настолькё топкое место, что не пройдёшь. Корóвы-то да-же садяще, вынимать их ёздят*; по характеру течения: *Рёжа-то тутока у нас перебористая, а дальше впадает в Вагу (перебористый – ‘изобилующий донными перепадами’)*; по скорости течения: *Судорога – это вода крутится и плывёт по рекё (судорога – ‘бурлящий речной поток’)*; по наличию опасных, скрытых водой включений в русле реки: *Есть местá, где рекá колóдники вымывáет, ёдак деревья под грунтом* и др.

Когда-то река Режа была богата рыбой: *Когда вьташишым бредник, рыбы аж кипит нани*. Не случайно в говоре достаточно полно представлена рыболовецкая лексика. Отдельные слова восходят к праславянскому языку: например, *ез* ‘рыболовецкая запруда’, *бóтало* ‘шест, ударами которого по воде вспугивают рыбу и загоняют ее в сети’. Показательно, что рыболовецкие термины встречаются и в составе фразеологизмов: *как на езу бьёт* (кого) ‘о том, что кто-либо дрожит от холода’. Другие слова носят субстратный характер, например: *мóрда* ‘сплетенный из прутьев или толстых ниток рыболовный снаряд в форме конуса’, *курья* ‘глубокое место в реке, омут; заводь, залив’, *меева* ‘мелкая рыба’ являются финно-угорскими по происхождению. Диалектные режские наименования рыб отличаются выразительностью, образностью: *горбáч* ‘окунь’, *семиглазка* ‘рыба, имеющая семь пар жаберных щелей; минога ручьевая’, *шарáня* ‘пескарь’ и др.

Некоторые реалии деревенской жизни имеются в режском говоре исключительно через представления о реке. Так, *речни́ца*, *бережй́на* – это ‘трава, которая растет по берегу реки или на ее островках’. Через призму речных реалий в говоре осуществляется и характеристика человека: *ры́бницей*, например, называют любительницу есть рыбу.

### Микротопонимия Режи

В рамках проводимого исследования была предпринята попытка описать микротопонимическую подсистему говора [Иванова 2015: 74–79]. Установлено, что часть микротопонимов Режи

возникла на базе диалектизмов финно-угорского происхождения: *Сохра́*, поле, *Пéндуска*, река, *Пéндуски*, покос. Большинство изученных микротопонимов – славянские образования. Как известно, древнейшие миграции славян на территорию края шли в двух направлениях – с запада (Новгородская республика) и с юга (Ростово-Суздальская земля). На территории Режского поселения зафиксированы микротопонимы с продуктивным формантом *-иха*, занесенным колонизацией из центральных районов Московского государства: *Богдáниха*, поле, *Дани́лиха*, покос, *Согну́тиха*, поле и т. д. Следы колонизации из Новгородской земли отражает топоформант *-щин(а)*: *Филáтовицина*, покос.

Микротопонимы Режи отражают социальную историю региона, дают представление о хозяйственной деятельности жителей. На широкое распространение в Реже лесного и дегтярного промыслов указывают географические названия *Дектя́рня*, поле, *Лёвин бревéнник*, покос. В микротопонимии Режи частотны названия сенокосных и пашенных угодий, возникшие в результате онимизации терминов подсечно-огневого земледелия: *Чи́стенье*, покос, *Пáлевая / Паль*, покос, *Вы́тлевка / Вы́тлевки*, покос и т. д. Многочисленность микротопонимов данной группы свидетельствует о том, что в Реже подсечно-огневое земледелие сохранялось вплоть до начала XX в.

Сельскохозяйственные угодья обычно являлись собственностью семьи: *Комари́ца Голова́т*, *Филя́т токови́ца*, *Елисы́т поля́нка*, *Коро́вкинцев ля́жка*. На совместное использование сенокосных угодий указывают микротопонимы *Во́бчая поля́нка*, *О́бщий пенни́к*. Таким образом, в микротопонимии отражаются социальные отношения северной деревни.

Исследование микротопонимов позволило, как считает Е. Н. Иванова [Иванова 2015: 74–79], выявить некоторые особенности мировосприятия, психологии жителей Режи. Микротопонимия свидетельствует об образности, метафоричности мышления носителей режского говора: *Кошелёво*, покос (по форме похож на кошель), *Са́харница*, покос (с хорошей травой), *Черногу́зиха*, покос, *Федю́хин хвост*, покос (по форме напоминает хвост) и др.

### Антропонимия Режи

В рамках проекта были проанализированы записанные в Реже прозвища ее жителей [Комлева 2015: 79–93; Комлева 2016: 392–395]. Выяснено, что в диалектном языковом пространстве Режского сельского поселения функционируют прозвищные номинации, являющиеся средством

идентификации отдельной личности (индивидуальные прозвища – *Копéйка* ‘человек некрупного телосложения’, *Пестéрь* ‘полный человек’, *Седун* ‘ребенком не ходил до семи лет’); группы лиц – членов одной семьи, рода (релятивные прозвища, уличные фамилии – *Ванчеля́та* ‘дети Ивана, Ванчила’, *Иринёхонцы* ‘дети Ириней’, *Чижи́хинцы* ‘прозвище людей с фамилией *Чижовы*’); а также жителей отдельных населенных пунктов (коллективные прозвища – *Магазе́йники* ‘жители деревни, где была *магазе́я*’, *Чернотро́пики* ‘жители д. Марково: избы раньше топились по-черному, поэтому следы на снегу были черными’).

Индивидуальные прозвища, составляющие половину общего количества неофициальных антропонимов Режи, возникают на основе экстралингвистической мотивации. Кроме идентифицирующей функции, они обладают функцией характеристики лица, так как имеют коннотативную окраску на лексическом или словообразовательном уровне. Аpellативные основы индивидуальных прозвищ представляют собой лексику как общерусскую, так и локальную, фиксируемую в Вологодской группе говоров (*бри́ла*, *бу́харь*, *долби́ло*, *колоба́н*, *колы́ш*, *комель*, *ку́лес*, *литóвка*, *пестéрь*, *смоле́вый*, *сумёрзлый* и др.).

В говоре Режи достаточно высокой активностью характеризуются релятивные прозвища, образованные от личного имени или прозвища матери (иногда и бабушки), что в принципе не является типичным для антропонимов данного типа: *Марфе́нок* < Марфа, *Файни́нец* < Фаина и от деминутивов: *Катюшо́нок* < Катя (Екатерина), *Лисине́ц* < Лиса (Елизавета), *Настю́хинец* < Настюха (Анастасия), *Овдю́хинец* < Овдюха (Авдотья), *Пара́нинец* < Параня (Прасковья). Релятивы служили основой для создания семейных прозваний, которые, в свою очередь, стремились иметь мужское именование, и только особые обстоятельства ставили во главу семьи женщину. Возникновение в массовом количестве релятивных прозвищ и тем более уличных фамилий от женских антропонимов говорит о неблагоприятии внутри семьи – об отсутствии в ней по разным причинам мужчины, кормильца. Объяснение этого явления, вероятно, следует усматривать в сложившейся в России конца 80-х – начала 90-х гг. социально-экономической ситуации.

Все виды неофициальных режских антропонимов создаются в основном по продуктивным как в литературном языке, так и в вологодских говорах словообразовательным моделям. Формант *-ёнок / -ят(а)* (восходящий к праславянскому *-ent* со значением детенышей живых существ) в антропонимах патронимического типа реализует разрядное значение принадлежности / проис-

хождения. Следы этого, новгородского по происхождению, структурного типа в говорах некоторых районов Вологодской области свидетельствуют о былой миграции ильменских славян на территорию Вологодского края.

В диалектном онимиконе Режи обнаруживается использование в качестве прозвищ самих личных имен. К индивидуальным прозвищам в диалектном языковом континууме оказываются близки деминутивы и гипокористики личного имени, образованные по особым словообразовательным моделям, нетипичным для городской среды: *Ванчело, Лазулька, Надёжка* и др. В большинстве случаев деминутивы от полной формы имени в режском говоре лишены коннотативной окраски. В тех случаях, когда контекст позволяет установить наличие экспрессии или оценки, статус такого деминутива изменяется – формируется другой вид неофициального антропонима – индивидуальное прозвище. Полностью процесс перехода в прозвище завершается, пишет Н. В. Комлева [Комлева 2016: 392–395], в том случае, когда степень коннотации имени настолько высока, что позволяет ему оторваться от одного носителя (для которого это имя было единственным, по документам) и переходить к другому лицу: *Манёфа* – прозвище женщины по имени *Алекса́ндра*, которая, как и некая *Манёфа* (прозвище умершей женщины), была косоглазой.

### Особенности режского говора

Особенности режского говора представим фрагментом его записи: *Бацяру́хой ра́ньше-то называли, ра́ньше не куфа́рка. Бацяру́ха обряжа́-еце, всё ци́сто де́лает. Ей то́лькё бега́й бего́м да обряжа́йсе. Вста́ну в пять цясо́в да всё вре́мя баце́рницаю. Цяю вы́пью. Мне некогда, я не хо́рю разьеда́ция. Уста́нешь. Уваря́це су́п-то, дак там как закипе́ло, возьму́ да в блюдецькё накро́шу кроше́нины да нахлебáюсь. И пекёт, и варит, и скота́ обряжа́ет – всё бацеру́ха. Бацеру́хи, говоря́т. Ой, христо́вы же́нишыны! Берёт та́ким ко́чям, наперёд кладёт но́шу!*

Выявленные особенности режского говора в его традиционном слое свидетельствуют о том, что говор жителей этой местности относится к типичным говорам Вологодской группы севернорусского наречия, а именно к говорам центральной их части [Зорина 2017: 105–119]. В пользу этого вывода свидетельствуют особенности реализации звука на месте древнего гласного, обозначающего буквой «ять» (*лес*, но в *ли́се*), произношение звука [э] в соответствии с фонемой <a> между мягкими согласными (*каце́лись*), мягкое цоканье (*цяшка, коси́ця*), произношение /-европейского и его реализация в слабой

позиции в *ў*-неслоговом; прогрессивная ассимиляция (*Ва́ськя, то́лькё, Ше́йгя*); употребление форм *де́душко, парни́шко* по образцу 2-го склонения, а слов 3-го склонения: *в печё, на мазё, на осы́пé* – с окончаниями 1-го склонения; совпадение окончаний творительного падежа множественного числа с окончаниями дательного падежа (*за гриба́м, за ягода́м*), сохранение старинного плюсквамперфекта (*быва́ли ба́шмаки́ шили́*), особенности синтаксиса (*Они́ понаде́явшись, что, мо́жет, не на́ши* – деепричастие в функции сказуемого; *Молоде́жь-то подкупа́ют избу́ и гуля́ют* – смысловое согласование; *Топе́рь никто́ и встаёт ра́но* – одно отрицание; *На реке́-то уша́т-от – мно́го ви́дёр-ту* – обильное употребление постпозитивных частиц), употребление слов *по́млить, та́рка, ту́ес* и мн. др.

Общение с людьми разного возраста, разного уровня образования показало, что в говоре весьма значительно варьирование фактов. Оно обусловлено как самой изменчивостью, подвижностью системы диалекта, так и причинами экстралингвистического характера. Тем не менее выявленная картина весьма цельна и специфична.

### Лексические группы режского говора

В итоге реализации проекта «Режа и режаки» составлено описание ряда лексических групп режского говора.

Важной составной частью лексического фонда режского говора является лексика народной метеорологии. Она в рамках проекта описана Е. Н. Ивановой. Ею установлено, что метеонимы Режи свидетельствуют об образности мышления носителей этого говора. Внутренняя форма слов, обозначающих явления природы, дает представление о своеобразии взглядов северного крестьянина на окружающий мир.

Лексика пищи в режском говоре проанализирована Т. В. Парменовой [Парменова 2015: 55–74]. Самой распространенной и широко представленной в говоре группой лексики является группа названий выпечных изделий и слов, связанных с приготовлением выпечки. Выпечные изделия – неременная часть народной культуры еды, причем не только праздничной, но и будничной, повседневной: испеченные хозяйкой хлеб, блины, оладьи, пироги – ежедневная еда сельского жителя и в прошлом, и в настоящем.

*Заспенник, капустник, пальчики, рыбник, творожник, яблочник, ягодник* – эти и многие другие названия выпечных изделий, произведенные по разным основаниям, подробно описываются в материалах проекта. В этой группе лексики широко представлены системные отношения: многие слова являются многозначными (*солони́к,*

*шаньга, хлѣбина и хлѣбѣны*), развита синонимия (*сѹтолока – смешица, разлѣв – разлѣва – квашонка, малявочник – меѣвочник, недопѣка – неупѣка – присядыш – завялыш*), отмечены антонимы (*удача – неудача, тѣчковатый – рѣхлый*). Разнообразны словообразовательные модели, по которым строятся наименования (*загибѣха, зѣгибень, загибѣня, загибѣнка, загибѣшка и загибѣшка; пресник, пресняк и преснѹшка* и др.).

Тематическая группа «Одежда» в режском говоре характеризуется, как установила Е. Н. Ильина [Ильина 2017: 280–299], лексическим разнообразием, богатой внутренней формой, достаточно активно употребляется местными жителями в ситуации направленной беседы в контексте описания бытового уклада региона и его духовной культуры. В процессе этнолингвистического описания этой группы слов изучены местные названия одежды (мужской и женской, плечевой и поясной, верхней и нижней, будничной и праздничной), обуви (плетеной, валяной, кожаной), головных уборов (мужских и женских), рукавиц и женских украшений. Доказано, что основу данной группы слов составляет общерусская лексика общеславянского и восточнославянского лексического фонда (*одѣжа, обѹтка*) и адаптированные заимствования различных эпох (*сарафан, сак, епанцѣ*). Внутренняя форма этих слов эксплицирует характеристику по материалу (*сукманѣна, портяница*), технологии изготовления (*остѣбенье, чѣсаники*) или ношения (*передѣжа, подболѣчка*), специфике внешнего вида (*рванѣна, уханка*), потребительских качеств (*теплѹшка*), бытовому (*брѣдни*) или обрядовому назначению.

Е. Н. Ильиной проанализирована также лексика сферы народной медицины в режском говоре [Ильина 2015: 250–266; Ильина 2016: 143–147]. Анализ этого материала позволяет сделать вывод о сохранении в сельском социуме традиций народного целительства. Жители Режи хорошо помнят народные названия болезней (*повѣтерье, кумоха*), их связи с конкретной частью тела (*черѣво ‘грыжа’*), симптоматики (*трясѹха, шат*), причин появления (*оприкѣсить, озычѣть*), средств и способов лечения (*знатьѣ, надобье, пѹхтать*). Анализ лексики данной группы свидетельствует о сохранности представлений сельских жителей о магической природе появления и исчезновения болезни (*Когда худѣй человек... до тебя’ чем доткнѣтся, дак прикѣсит, болѣть потѣм бѹдешь*), зоо- и антропоморфной природе человеческих недугов (*волос, кумоха*), а также о богатстве народных средств и способов их лечения.

### Особенности фразеосемантической системы режского говора

Исследование фразеосемантической системы режского говора, проведенное Е. П. Андреевой [Андреева 2015: 167–185], показало, что эта система отражает духовную и материальную культуру северного крестьянина, позволяет судить о его мировосприятии. Локальный характер фразеологизмов, известных режскому говору, обусловлен разными причинами. Прежде всего, региональные единицы могут включать в свой состав диалектные компоненты: *мѣтица-доброхѣтица, травѣ не одѣрнет, словно бѣнник унѣс, брать такѣми кѣчѣми*, устаревшие слова *на пѣтах упѣчься*. Нередко такие фразеологизмы строятся по общерусским моделям (ср. *на брилах молоко не обсохло – на губах молоко не обсохло*). Различие между диалектными и общерусскими единицами может наблюдаться на грамматическом уровне (*с рѹку – с руки, рука подѣть – рѹкой подѣть*).

Компонентами региональных фразеологизмов могут быть семантические диалектизмы, совпадающие по форме с общерусскими словами и отличающиеся от них по своему значению: *пѣть (запѣть) побѣдные пѣсни* ‘горевать (начать горевать)’. *Вот отѣц-от у нас не вернѹлся, и запѣли мы с мамой побѣдные пѣсни, однѣ остѣлись с шестерѣми робѣтами*.

Вместе с тем выявлена общность ассоциативно-образной основы общерусских и диалектных единиц (ср. *цѣлый кузов – с три короба*). Близость фразеосюжетов очевидна и при сопоставлении общерусских и диалектных фразеологизмов (ср. *травѣ не одѣрнет – тѣше водѣ, нѣже травѣ*).

В ходе исследования установлено, что в говоре Режи функционирует в достаточно полном объеме система этикетных благопожеланий [Новожилова, Зорина 2017: 120–152]: *Пух под нѣжницы!* – стригущему овцу; *Белѣнько мѣть!* – стирающему белье; *Лѣбеди летѣят!* – тому, кто моет пол; *Добрѣ кормѣть!* – хозяину при появлении приплода у скота; *Молокѣ в рѹки!* – тому, кто доит корову; *Спорина в квашино!* – хозяйке, замешивающей тесто; *Сѣхар – мясо!* – человеку, который режет скотину на мясо, и мн. др. Употребление таких благопожеланий реализует присутствующую жителям категорию вежливости, средства которой заметно отличаются от литературных.

В режском говоре весьма богата паремиологическая система [Зорина 2015а: 21–29]. Многие из зафиксированных пословиц и поговорок отличаются местным своеобразием, например: *Не уродѣсь, дѣрево, на сковорѣдник, а пѣрень на живѣтника (живѣтником называют мужа, пе-*

решедшего на жительство в дом жены). В записанных паремиях обнаруживаем многочисленные диалектные черты. Это и местные фонетические особенности (*артіль, дёнышко, корóтка, сусёд*), и диалектные грамматические формы (*бáтько, в печé*), диалектные слова (*живóтник, казák, кроёное, мятьё, наго́льная, нўжа, пáужна, сызда́лей, тэля́тко, угóда, ёгня́тко*), семантические отличия (*артіль* – ‘группа людей, компания’, а не ‘объединение лиц той или иной профессии’). Все это придает паремиологической системе изучаемой местности неповторимое своеобразие.

Завершая обзор произведенного описания режского говора, отметим, что в дальнейшем исследователям видятся определенные перспективы, поскольку этнолингвистическая специфика говора проявляется также и в не описанных пока особенностях наименований жилища, названий предметов домашней утвари и мн. др.

#### Примечание

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-04-00205 «Режа и режаки: этнолингвистическое описание севернорусского идиома»).

#### Список литературы

Андреева Е. П. Фразеосемантическая система режского говора на фоне общерусской фразеологии // Севернорусские говоры: межвуз. сб. / отв. ред. А. С. Герд, Е. В. Пурицкая. СПб.: Нестор-История, 2015. Вып. 14. С. 167–185.

Андреева Е. П. Образная основа составных наименований в режском говоре // Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 11–25.

Варникова Е. Н. Река Режа: версии происхождения гидронима // Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 353–359.

Зорина Л. Ю. Паремии в живом народном бытовании (на материале речи жителей Режского поселения Сямженского района Вологодской области) // Вологодский текст в русской культуре: сб. ст. по материалам конференции / ред. Е. Н. Ильина, С. Ю. Баранов, С. Х. Головкина. Вологда: Легия, 2015. С. 21–29.

Зорина Л. Ю. Река Режа как системообразующий фактор жизни в Сямженском районе Вологодской области // Водные пути: Пути жизни, пути культуры: материалы междунар. науч. конф. (Тверь, 15–19 сент. 2015 г.) / ред.-сост. Е. Г. Милютина, М. В. Строганов. Тверь: СФК-офис, 2015. С. 183–190.

Зорина Л. Ю. Родная стихия – диалект // Родная речь: сб. науч. ст. / отв. ред. Г. В. Судаков. Вологда: ВоГУ, 2017. Вып. 1. С. 105–119.

Иванова Е. Н. Микротопонимия Режского поселения в ономазиологическом и структурном аспектах // Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим / науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Вологод. гос. ун-т, Легия, 2015. С. 74–79.

Ильина Е. Н. Лексика народной медицины в режском говоре // Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 143–147.

Ильина Е. Н. Одежда жителей Режи как компонент локальной картины мира // Севернорусские говоры. СПб.: Нестор-История, 2017. Вып. 16. С. 280–299.

Ильина Е. Н. Представления о здоровье и болезни в речи жителей Вологодского края // Севернорусские говоры. СПб.: Нестор-История, 2015. С. 250–266.

Колесников П. А. Северная Русь. Археографические источники по истории крестьянства и сельского хозяйства XVII века. Вологда: Вологод. гос. пед. ин-т, 1971. С. 101–102.

Комлева Н. В. Неофициальная антропонимия Режи // Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим. Вологда: Легия, 2015. С. 79–93.

Комлева Н. В. От личного имени к прозвищу (неофициальная антропонимия Режи) // Громовские чтения. Вып. 3: Живое народное слово и Костромской край. Кострома: КГУ, 2016. С. 392–395.

Кузнецов А. В. Словарь гидронимов Вологодской области (обзор этимологий русских и финно-угорских названий рек и озер). Тотьма; Грязовец, 2010. 290 с.

Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим / науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. 256 с.

Новожилова Н. А., Зорина Л. Ю. Благопожелания в режской коммуникативной культуре / Л. Ю. Зорина, Н. А. Новожилова // Родная речь / отв. ред. Г. В. Судаков. Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2017. С. 120–152.

Овсянникова Т. Г. Характеристика детей в речи жителей Режского поселения // Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим / науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. С. 50–55.

Описание говора Режского поселения Сямженского района в контексте изучения речевой культуры Вологодского края // Народная речь

Вологодского края». Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2015. С. 9–110.

Парменова Т. В. Лексика, связанная с приготовлением выпечных изделий, в режском говоре // Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим / науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. С. 55–74.

Режские тексты как источник этнолингвистического описания севернорусского диалекта / отв. ред. Л. Ю. Зорина. Вологда: Вологод. гос. ун-т, 2016. 261 с.

Словарь вологодского режского говора / науч. ред. Л. Ю. Зорина. Вологда: Вологод. гос. ун-т; РА «Эпатаж», 2017. 604 с.

Судаков Г. В. Знатоки вологодской говори // Вестник Череповецкого государственного университета. 2016. № 4. С. 104–107.

Шилов А. Л. О балтийских следах в топонимии Северной Руси (к статье В. Н. Топорова) // Заметки по исторической топонимике Русского Севера. М.: Науч.-произв. и изд. центр «Наука и техника», 1999. С. 88–93.

Яцкевич Л. Г. Архаические явления в лексической и словообразовательной системах режского говора // Народная речь Вологодского края: между прошлым и будущим / науч. ред. Ю. Н. Драчёва, Л. Ю. Зорина, Е. Н. Ильина. Вологда: Легия, 2015. С. 10–23.

## References

Andreeva E. P. Frazeeosemanticheskaya sistema rezhskogo govora na fone obshcherusskoy frazeologii [Phraseosemantic system of the Rezh dialect against the background of all-Russian phraseology]. *Severnorusskie govory: mezhvuz. sb. Vyp. 14* [The Northern Russian dialects: *interuniversity collection*. Issue 14]. Ed. by A. S. Gerd, E. V. Puritskaya. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2015, pp. 167–185 (In Russ.)

Andreeva E. P. Obraznaya osnova sostavnykh naimenovaniy v rezhskom govore [The *metaphorical* basis of compound names in the Rezh dialect]. *Gromovskie chteniya. Issue 3. Zhivoe narodnoe slovo i Kostromskoy kray* [Gromov's Readings. Living folk word and the Kostroma Region]. Kostroma, Kostroma State University Press, 2016, pp. 11–25. (In Russ.)

Varnikova E. N. Reka Rezha: versii proiskhozhdeniya gidronima [The “Rezha” river: the original versions of the hydronym]. *Gromovskie chteniya. Issue 3. Zhivoe narodnoe slovo i Kostromskoy kray* [Gromov's readings. Issue 3. Living folk word and the Kostroma Region]. Kostroma, Kostroma State University Press, 2016, pp. 353–359. (In Russ.)

Zorina L. Yu. Paremii v zhivom narodnom bytovanii (na material rechi zHITELEY Rezhskogo poseleniya Syamzhenskogo rayona Vologodskoy oblasti) [Paremas in a live folk existence (a case study of speech of inhabitants of the Rezhsky settlement of Syamzhensky district of the Vologda Region)]. *Vologodski tekst v russkoy kul'ture: sbornik statey po materialam konferentsii* [The Vologda text in Russian culture]. Ed. by E. N. Il'in, S. Yu. Baranov, S. Kh. Golovkin. Vologda, Legiya Publ., 2015, pp. 21–29. (In Russ.)

Zorina L. Yu. Reka Rezha kak sistemooobrazuyushchiy faktor zhizni v Syamzhenskom rayone Vologodskoy oblasti [The Rezh river as a system-forming factor of life in the Syamzhensky district of the Vologda region]. *Vodnye puti: puti zhizni, puti kul'tury. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (Tver', 15–19 Sentyabrya, 2015)* [Waterways: ways of life, ways of culture. Proceedings of international scientific conference. (Tver, 15–19 of September, 2015)]. Ed. by E. G. Milyutin, M. V. Stroganov. Tver, SFK-ofis Publ., 2015, pp. 183–190. (In Russ.)

Zorina L. Yu. Rodnaya stikhiya – dialect [The native element is a dialect]. *Rodnaya rech': sbornik nauchnykh statey. Vyp. 1*. [Native speech: collection of scientific articles. Issue 1]. Ed. by G. V. Sudakov. Vologda, Vologda State University Press, 2017, pp. 105–119. (In Russ.)

Ivanova E. N. Mikrotoponimiya Rezhskogo poseleniya v onomasiologicheskom i strukturnom aspektakh [Microtoponymy of the Rezh settlement in onomasiological and structural aspects]. *Narodnaya rech' Vologodskogo kraya: mezhdu proshlym i budushchim. Monografiya* [People's speech of the Vologda region: between the past and the future. Monograph]. Ed. by Yu. N. Drachev, L. Yu. Zorin, E. N. Il'in. Vologda, Vologda State University Press, Legiya Publ., 2015, pp. 74–79. (In Russ.)

Il'ina E. N. Leksika narodnoy meditsiny v rezhskom govore [Folk medicine vocabulary in the Rezh dialect]. *Gromovskie chteniya. Vyp. 3. Zhivoe narodnoe slovo i Kostromskoy kray* [Gromov's readings. Issue 3. Living folk word and the Kostroma Region]. Kostroma, Kostroma State University Press, 2016, pp. 143–147. (In Russ.)

Il'ina E. N. Odezhda zHITELEY Rezhi kak komponent lokal'noy kartiny mira [Rezh inhabitants' clothing as a component of the local worldview]. *Severnorusskie govory. Vyp. 16* [Northern Russian dialects. Issue 16]. St. Petersburg, Nestor-Istoriya Publ., 2017, pp. 280–299. (In Russ.)

Il'ina E. N. Predstavleniya o zdorov'e i bolezni v rechi zHITELEY Vologodskogo kraya [Representations of health and disease in the speech of the inhabitants of the Vologda region]. *Severnorusskie govory*.

Vyp. 14. [Northern Russian dialects. Issue 14]. St. Petersburg. Nestor-Istoriya Publ., 2015, pp. 250–266. (In Russ.)

Kolesnikov P. A. *Severnaya Rus'. Arkheograficheskie istochniki po istorii krest'yanstva i sel'skogo khozyaystva 17 veka* [Northern Russia. Archaeological sources on the history of the peasantry and agriculture of the 17<sup>th</sup> century]. Vologda, Vologda State Pedagogical University Press, 1971, pp. 101–102. (In Russ.)

Komleva N. V. Neofitsial'naya antroponimiya Rezhii [Unofficial anthroponymy of Rezh]. *Narodnaya rech' Vologodskogo kraja: mezhdru proshlym i budushchim* [People's speech of the Vologda region: between the past and the future]. Vologda, Legiya Publ., 2015, pp. 79–93. (In Russ.)

Komleva N. V. Ot lichnogo imeni k prozvishtchu (neofitsial'naya antroponimiya Rezhii) [From a personal name to the nickname (unofficial anthroponymy of Rezh)]. *Gromovskie chteniya. Vyp. 3. Zhivoe narodnoe slovo i Kostromskoy kray* [Gromov's readings. Issue 3. Living folk word and the Kostroma Region]. Kostroma, Kostroma State University Press, 2016, pp. 392–395. (In Russ.)

Kuznetsov A. V. *Slovar' gidronimov Vologodskoy oblasti (obzor etimologii russkikh i finno-ugorskikh nazvaniy rek i ozer)* [The Dictionary of hydronyms of the Vologda region (a review of the etymologies of Russian and Finno-Ugric names of rivers and lakes)]. Totma, Gryazovets, 2010. 290 p. (In Russ.)

*Narodnaya rech' Vologodskogo kraja: mezhdru proshlym i budushchim* [Folk speech of the Vologda region: between the past and the future]. Ed. by Yu. N. Drachev, L. Yu. Zorin, E. N. Il'in. Vologda, Legiya Publ., 2015. 256 p. (In Russ.)

Novozhilova N. A., Zorina L. Yu. Blagopozhelaniya v rezhskoy kommunikativnoy kul'ture [Goodwishes in the Rezh communicative culture]. *Rodnaya rech'* [Native speech]. Ed. by G. V. Sudakov. Vologda, Vologda State University Press, 2017, pp. 120–152. (In Russ.)

Ovsyannikova T. G. Kharakteristika detey v rechi zhiteley Rezhskogo poseleniya [Characteristics of children in the speech of residents of the Rezh settlement]. *Narodnaya rech' Vologodskogo kraja: mezhdru proshlym i budushchim* [People's speech of the Vologda region: between the past and the future]. Ed. by Yu. N. Drachev, L. Yu. Zorin, E. N. Il'in. Vologda, Legiya Publ., 2015, pp. 50–55. (In Russ.)

Opisanie govora Rezhskogo poseleniya Syamzhenskogo rayona v kontekste izucheniya rechevoy kul'tury Vologodskogo kraja [The Description of the dialect of the Rezh settlement of the Syamzhensky district in the context of studying the speech culture of the Vologda region]. *Narodnaya rech' Vologodskogo kraja* [People's speech of the Vologda region: between the past and the future]. Vologda, Vologda State University Press, 2015, pp. 9–110. (In Russ.)

Parmenova T. V. Leksika, svyazannaya s prigo-tovleniem vypechnykh izdeliy, v rezhskom govore [Vocabulary related to pastry making in the Rezh dialect]. *Narodnaya rech' Vologodskogo kraja: mezhdru proshlym i budushchim* [People's speech of the Vologda region: between the past and the future]. Ed. by Yu. N. Drachev, L. Yu. Zorin, E. N. Il'in. Vologda, Legiya Publ., 2015, pp. 55–74. (In Russ.)

*Rezhskie teksty kak istochnik etnolingvisticheskogo opisaniya severnorusskogo dialekta* [Rezh texts as a source of the ethnolinguistic description of the Northern Russian dialect]. Vologda, Vologda State University Press, 2016. 261 p. (In Russ.)

*Slovar' vologodskogo rezhskogo govora* [The Vologda Rezh Dialect Dictionary]. Vologda, Vologda State University Press, RA Epatazh Publ., 2017. 604 p. (In Russ.)

Sudakov G. V. Znatoki vologodskoy govori [Experts on Vologda dialect (“Govorya”)]. *Vestnik cherepoveckogo gosudarstvennogo universiteta* [Cherepovets State University Bulletin], 2016, issue 4, pp. 104–107. (In Russ.)

Shilov A. L. O baltiyskikh sledakh v toponimii Severnoy Rusi (k stat'e V. N. Toporova) [On the Baltic traces in the toponymy of Northern Russia (to the article of V. N. Toropov)]. *Zametki po istoricheskoy toponimike Russkogo Severa* [Notes on the historical toponymy of the Russian North]. Moscow, Nauka i tekhnika Publ., 1999, pp. 88–93. (In Russ.)

Yatskevich L. G. Arkhaicheskie yavleniya v leksicheskoy i slovoobrazovatel'noy sistemakh rezhskogo govora [Archaic phenomena in the lexical and word-formation systems of the Rezh dialect]. *Narodnaya rech' Vologodskogo kraja: mezhdru proshlym i budushchim* [People's speech of the Vologda region: between the past and the future]. Ed. by Yu. N. Drachev, L. Yu. Zorin, E. N. Il'in. Vologda, Legiya Publ., 2015, pp. 10–23. (In Russ.)

## REZHA AND REZHAKI: FROM THE IDEA TO THE COMPLETION OF THE PROJECT

**Lyudmila Yu. Zorina**

Associate Professor in the Department of Russian Language,  
Journalism and Communication Theory

Vologda State University

15, Lenina st., Vologda, 160000, Russian Federation. kanz@mh.vstu.edu.ru

SPIN-code: 8442-0477

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9122-2140>

ResearcherID: G-2113-2017

*Submitted 16.02.2018*

The article summarizes the results of the project “Rezha and Rezhaki: an ethnolinguistic description of the Northern Russian idiom”. The project was aimed at studying the linguistic, ethnic and mental characteristics of the residents of the Rezha rural settlement of the Syamzhensky district of the Vologda region and was carried out in 2015–2017 with the financial support from the Russian Foundation for the Humanities (No. 15-04-00). The studies were performed by professors of the Vologda State University. The project was led by the associate professor L. Yu. Zorina, an initiator of the project and a participant in its implementation.

In the process of implementing the project, it was established that Rezha (the name of a small northern river, a tributary of the Vaga, as well as of the community located in its lower reaches) is actually a unique Russian settlement with a peculiar folk culture and a traditional dialect different from other Vologda dialects. The work on its description resulted in publication of a series of articles on the origin of the hydronym “Rezha”, on microtoponymy of the settlement, peculiarities of the nicknames of its inhabitants, characteristics of their life. Moreover, the research results are presented in the currently prepared monograph on the description of the linguistic worldview of a Rezha peasant, in the published collection of the language spoken in the studied settlement and in the published monodialectal differential *Dictionary of the Vologda Rezha Dialect* in 35.2 printed sheets, which introduces into scientific use a large volume of lexical and phraseological data previously not described.

In the course of its implementation, the project gained not only scientific but also social significance, contributed to the actualization of the regional identity, local self-awareness, attracted a wide circle of residents of the region interested in discussing the problems of philological study of local lore.

**Key words:** northern Russian dialect; Rezha and rezhaki; ethnolinguistic description.

УДК 398+393.05

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-16-29

## ЧЕРДЫНСКАЯ ПОХОРОННО-ПОМИНАЛЬНАЯ ПРИЧЕТЬ: БЫТОВАНИЕ, ОБРЯДОВАЯ ЛЕКСИКА, МОТИВ *ВЕСТКИ-ГРАМОТКИ*<sup>1</sup>

**Светлана Юрьевна Королёва**

к. филол. н., доцент кафедры русской литературы

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. petel@yandex.ru

SPIN-код: 4734-5735

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4246-907X>

ResearcherID: R-9645-2017

**Мария Анатольевна Брюханова**

магистрант филологического факультета

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. bruhanova94@yandex.ru

SPIN-код: 1950-4874

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9489-5172>

ResearcherID: S-1044-2017

Статья поступила в редакцию 25.12.2017

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Королёва С. Ю., Брюханова М. А. Чердынская похоронно-поминальная причеть: бытование, обрядовая лексика, мотив *вестки-грамотки* // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 16–29. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-16-29

**Please cite this article in English as:**

Korolyova S. Yu., Brukhanova M. A. Cherdynskaya pokhoronno-pominal'naya prichet': bytovanie, obryadovaya leksika, motiv *vestki-gramotki* [Traditional Funeral Laments of Cherdyn Area: Current Status, Ritual Lexis, "Letter-Message" Motif]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 16–29. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-16-29 (In Russ.)

На примере чердынской локальной традиции описываются особенности позднего бытования похоронно-поминальной причети в Пермском Прикамье. В исследовании учтены опубликованные и архивные тексты XIX–XX вв., а также полевые записи 2009–2011 гг. В обзорной части работы охарактеризованы основные публикации прикамских причитаний и проблемы, наметившиеся в их изучении. Сбор похоронно-поминальных причетов на территории Пермского края не был систематическим и целенаправленным, главный пробел связан с отсутствием подробного этнографического контекста. Фокус внимания в данной статье смещается с текстов и их поэтики на функционирование жанра: материалом анализа становятся рассказы исполнительниц и слушателей; выявляются некоторые механизмы причетной импровизации; описываются факторы, влияющие на приобщение причитальщиц к традиционной плачевой культуре. Причитания исполняются по заранее данному обещанию; зафиксирован случай предварительной записи причетного текста. Отдельная задача, решаемая в статье, – выявление народной обрядовой терминологии и выражений, используемых для описания плачей. Чердынская обрядовая терминология дифференцирована, существуют разные обозначения для свадебных и похоронно-поминальных причитаний. В числе типичных мотивов чердынских причитаний подробно рассматривается передача вестки-грамотки – мотив, связанный с актуальными мифологическими представлениями и ритуальными практиками сельчан. Исполнение специального

похоронного причета воспринимается носителями традиции как реальный акт «иномирной» коммуникации. Связанное с ним выражение «вестку-грамотку передать» является не только обозначением причетного мотива, но и местным обрядовым термином.

**Ключевые слова:** обрядовая лирика; похоронно-поминальные причитания; плач; причет; мотив; фольклорная формула; народная терминология; обрядовая лексика; русская мифоритуальная традиция.

Для фольклористов, занимающихся изучением русской плачевой культуры, наиболее привлекательной остается традиция Русского Севера, давшая самые развернутые, эстетически сложные образцы причетного жанра и в свое время лучше всего зафиксированная (см.: [Причитанья Северного края 1997; Русские плачи Карелии 1940; Ефименкова 1980] и др.). В последние полтора-два десятилетия появились, однако, репрезентативные собрания похоронно-поминальных причитаний, представляющие традиции Смоленщины, Южного Урала, Сибири, Дальнего Востока [Смоленский муз.-этногр. сборник 2003; Похоронно-помин. традиции на Южном Урале 2008; Русский семейно-обрядовый фольклор 2002] и других регионов. Значительное место в таких сборниках занимают поздние записи, выполненные во второй половине XX – начале XXI в. Несмотря на фрагментарность многих текстов, они позволяют установить набор типичных для этих традиций формул и мотивов, а также обнаружить, как на их «языке» описываются новые реалии (и какие именно). Иногда стадия угасания традиции характеризуется любопытными новообразованиями, связанными не столько с текстами причитаний, сколько с новым контекстом их бытования. Возможно, поэтому интерес специалистов к похоронно-поминальной причети продолжает сохраняться.

Материалы Пермского Прикамья в обобщающих исследованиях используются крайне мало. Отчасти это связано с тем, что прикамскую причетную традицию, по всей видимости, нельзя отнести к числу тех, где представлены развернутые, яркие, самобытные варианты реализации жанра. Но без нее представление о многообразии региональных форм русских похоронно-поминальных причитаний не будет полным. В нашей статье ставятся задачи охарактеризовать основные источники, в которых зафиксированы прикамские причитания, а затем на примере одной локальной традиции – чердынской – описать бытование этого жанра в Северном Прикамье во второй половине XX – начале XXI в. Особое внимание будет уделено типичному для чердынской причети мотиву – передаче *вестки-грамотки*, который тесно связан с актуальными мифологическими представлениями и ритуальными практиками носителей традиции.

### Из истории собирания и изучения прикамских похоронно-поминальных причитаний

Записи причетов, исполнявшихся на территории Пермской губернии, известны с середины XIX в.; по-видимому, все они совершались «по случаю», задача целенаправленного сбора не ставилась. Такова небольшая подборка кунгурских причитаний по умершему Е. Будрина<sup>2</sup>, вышедшая в составе «Пермского сборника» [Будрин 1860: 128–131]; в 1918 г. оханские причитания опубликовал фольклорист и краевед В. Серебренников [Серебренников 1918]. Три причетных текста (что непропорционально мало по сравнению с другими жанрами) были включены в сборник «Народные песни Пермского края», подготовленный по материалам студенческой практики и изданный специалистами Пермского государственного университета [Народные песни Пермского края 1966: 229–231]. Известно, что в 1950–70-х гг. записи причитаний в Северном Прикамье осуществлял пермский фольклорист И. В. Зырянов; тексты, не издававшиеся при жизни собирателя, хранятся в архиве ИРЛИ (Пушкинского Дома) РАН и в последние годы начинают вводиться в научный оборот (см. публикацию двух кудымкарских похоронно-поминальных причитаний с нотацией [Щупак 2013]). Аудиозаписи причетов из Пермской области имеются также в материалах ленинградского филолога и фольклориста И. В. Ефремова; часть из них находится в фольклорном архиве ИРЛИ и вплоть до настоящего времени не опубликована [там же: 306]. В 1990–2000-х гг. сбор причитаний осуществлялся в рамках комплексных политематических проектов под руководством лингвиста И. А. Подюкова; эти записи включены в сборники, посвященные традиционной культуре отдельных районов Пермского края – Красновишерского, Чердынского, Усольского, Карагайского [Вишерская старина 2002: 52; Подюков 2004: 187–195; Подюков и др. 2004: 155–156; Подюков, Хоробрых 2009: 59–67]. Несколько современных записей чердынских похоронно-поминальных причитаний приведены в статье по итогам экспедиций филологического факультета ПГНИУ [Елтышев, Королёва 2012].

В числе локальных причетных традиций Пермского Прикамья особого упоминания за-

служивает традиция, бытующая у русских жителей Юрлинского р-на, а также у их соседей – кочёвских коми-пермяков. Ее особенность составляет достаточно активное бытование похоронно-поминальных причитаний и поминальных духовных стихов, тесно взаимодействующих в структуре обряда (юрлинские материалы см. в книге: [Бахматов и др. 2008: 401–417]; кочёвские записи также опубликованы, см: [Четина, Роготнев 2010: 189–223]). Взаимодействие это проявляется не только в очередности исполнения, но и в межжанровом взаимовлиянии (и на вербальном, и на музыкальном уровнях), в результате чего черты одного жанра проявляются в другом. Особенность эта уже отмечалась исследователями [Успенская 2009: 5; Беломестнова 2014], однако само явление, безусловно, нуждается в дальнейшем изучении.

Еще один аспект, обозначенный специалистами, касается способа исполнения причети. На территории Пермского Прикамья бытовали, а кое-где могут быть зафиксированы и сегодня, несколько локальных традиций, которые заметно различаются по мелодике, набору типичных формул и мотивов, степени импровизационности, а также по связанной с ней форме исполнения – индивидуальной или коллективной. По последнему из названных параметров традиции Прикамья оказываются для исследователей особенно ценными: здесь обнаруживаются редкие формы ансамблевого (совместного, группового, или – в терминологии И. В. Зырянова – «многоголосного») исполнения похоронно-поминальных причитаний, точно зафиксированные на Мезени и Вологодчине [Марченко 1990]. Бытование подобных форм – явления еще мало изученного – в фольклорных традициях Пермского края, генетически тесно связанных с традициями Русского Севера, представляет, по оценке этномузыкологов, огромный интерес<sup>3</sup> [Щупак 2013: 299].

Таким образом, для решения встающих перед исследователями задач важным является учет не только как можно большего числа текстов, но и самых разных контекстов (место в обряде, манера исполнения, обрядовая терминология, границы ареалов и т. д.). Знакомство с опубликованными и архивными источниками заставляет, однако, констатировать, что применительно к причитаниям Пермского края контекстуальные сведения представлены довольно лаконично. Своего рода исключение представляет чердынская традиция, подробная информация о которой фиксировалась целенаправленно в экспедициях ПГНИУ 2009–2011 гг. Обратимся к материалам, собранным в разное время на этой территории.

### **Бытование чердынской похоронно-поминальной причети**

Анализ этнографических источников и полевых записей позволяет говорить, что ареал бытования чердынской локальной традиции включает Чердынский и часть современного Красновишерского р-нов Пермского края<sup>4</sup>. Границы ареала определяются историческими и географическими факторами. Здесь располагался исторический центр Прикамья, русские поселения появились на этой территории в XV–XVI вв. благодаря внутренней миграции населения с Русского Севера. Когда в XVII–XVIII вв. произошло массовое переселение староверов в отдаленные регионы, большое влияние на культуру Северного Прикамья оказало старообрядчество (общины старообрядцев в обоих районах есть и сегодня). Современный Красновишерский р-н раньше входил в состав Чердынского уезда, но поскольку по отношению к бытованию фольклорных явлений административные границы носят условный характер<sup>5</sup>, то гораздо важнее, что обе территории соединены прямым речным сообщением (это обстоятельство обычно имело решающее значение для распространения фольклорной традиции). Они расположены в верхнем течении Камы, в междуречье Колвы и одного из камских притоков – Вишеры – и составляют значительную часть северо-восточной этнографической зоны, выделяемой внутри региона.

Отдельно скажем о границах текстового материала. Как и на других территориях, здесь бытовала (и, судя по количеству записей, достаточно широко) специфическая функционально-тематическая группа причитаний – плачи невесты-сироты по родителям. Подобные произведения составляют зону прямого пересечения свадебной и похоронно-поминальной причети: они включают типичные поминальные формулы и мотивы и фактически представляют собой поминовение умерших родных, осуществляемое в ходе свадебного обряда. На взаимодействие двух ритуальных циклов указывал И. В. Зырянов в неопубликованной работе «О взаимосвязях похоронной и свадебной причети» (сер. 1970-х гг.): «В собственной собирательской практике не однажды приходилось убеждаться в том, что в репертуаре отдельных исполнителей похоронные и свадебные причитания имеют много сходного: одинаковую заплачку (или плачевый приступ), совпадающие мотивы и художественные образы, общую ритмико-мелодическую основу стиха», – и далее: «...сами исполнительницы причитаний не видят разницы между поминальным плачем и причитанием невесты-сироты. В них могут совпадать многие мотивы, начиная с зачина и кончая формулами просьбы благословения» [Зыря-

нов РО ИРЛИ РАН: л. 31, 42]<sup>6</sup>. Такие плачевые произведения могут учитываться при анализе образов и мотивов чердынской похоронно-поминальной причети<sup>7</sup>.

Обратимся непосредственно к причитаниям. Одно из самых ранних свидетельств о чердынских плачах обнаруживается в этнографическом очерке учителя Н. Корнаухова, опубликованном в 1848 г. в «Отечественных записках». Он замечает, что «при похоронах все ближние родственники умершего непременно должны громко выть и плакать с причетами, хотя бы умерший был старик или старуха, лет семидесяти и более; эти рыдания далеко бывают слышны, когда несут усопшего» [Корнаухов 1848: 57]. Здесь упоминается местная манера исполнения (*громко выть, далеко слышны*) и импровизированный характер причетов. Об аналогичных чертах звучания сообщается и в наших полевых материалах: «...когда у нас зять, у меня у этой дочки, попал в аварию, на похоронах... он из Усть-Уролки был... Матрёна её звали, нет её уже живой, она плакала. На машине везли до Усть-Уролки, всё прокричала, особенно заехали в деревню в Усть-Уролку, она так кричала, наверное, во всей округе было слышно (Она ведь какие-то слова приговаривала, не просто же?) Да. Она не так же кричит, она говорит и плачет» (НАА; список информантов см. в конце статьи).

Особенно ценными представляются рассказы, записанные непосредственно от плакальщиц и дающие взгляд «изнутри традиции». В таких нарративах проявляются, в частности, некоторые механизмы импровизации. Так, мать, потрясенная неожиданной гибелью сына, включает в свой причет упоминание тех деталей, которые бросаются ей в глаза и особенно ее задевают (толстые ботинки на ногах умершего, капли воды на его лице и др.): «Гроб занесли когда, привезли из городу-ту, я бросилась, меня не пускают, а я всё равно прошусь посмотреть. Причитаю – посмотрю мол, какой ты есть. Ведь надежда моя была, не должен ты бы в этом гробе лежать. Наговариваю – я мол всё тебе наготовила, одежду, обутки. На что же на тебя такие ботинки надели, подошвы толстые, ой, долго тебе придется изнашивать, ну ничё, ты молодой, носи. Увидела у его на бровях крапинки воды, с улицы ведь занесли, я и спрашиваю – обрадовался, что дома, вон сколь ты у меня не был, два года, вот и увиделись...» (пос. Цепёл, Красновишерский р-н [Вишерская старина 2002: 52]).

Интересно и то, какие мотивы причитаний запоминаются присутствующим. Показателен рассказ пожилой жительницы с. Редикор о причете, исполненном в ситуации, когда обычные требования к похоронно-поминальному обряду были

вынужденно нарушены. Невестка хоронила свою свекровь, но из-за недостатка средств не смогла приготовить домашнее пиво; видя, как вместо традиционного напитка дочь умершей наливает купленное в магазине вино, женщина начала причитать: «...все вышли из-за стола, она села и плакала: “Не осуди меня, я не наварила пива пенного, не набрала вина зелёного, у меня нету ладушка”, – значит, мужика. Вот это она присказывала, Лиза. <...> Сына у неё [свекрови] убили на фронте, а сноха Лиза с ней жила, она вот присказывала. Она ни пиво, ничего не варила, только квас сделала. А дочь приезжала из Березников Анюта, она вот красное вино набрала. Красное вино, и вот этим всем кержакам подавала по сто грамм, по рюмке: “Мама тоже выпивала, давайте все выпейте по рюмочке, помните маму”. <...> (А дочь Анна сама не приплакивала?) Нет, ничё она не понимает. (Сноха, получается, знала?) Да, сноха плакала, она знает. Она старинный человек, кержачка была тоже» (ПНВ). Попросив у умершей прощения за то, что не смогла устроить всё правильно, невестка своим причетом символически «компенсировала» нарушение обряда, и найденные ею для этого слова надолго запомнились слушательнице. Показательно, что сходные наблюдения делаются исследователями на материале поздних записей из других регионов: в вологодских рассказах об исполнении причетов обычно также воспроизводятся наиболее типичные формулы («общие места») либо фигурируют какие-то единичные, уникальные случаи (с редкими причетными строчками) [Югай 2014: 144–145].

Полевые исследования 2009–2011 гг. показали, что чердынские похоронно-поминальные причитания быстро выходят из обихода; при этом в различных частях района зафиксирована неравномерная сохранность плачевой культуры. Жители центральной части вспоминают, что плачи здесь можно было услышать в 1990-х гг., теперь же традиция практически угасла. За исключением с. Редикор (территориально тяготеющего к юго-западной части района), похоронно-поминальные причеты удалось записать только в пос. Рябинино (все исполнительницы – приехавшие сюда уроженки деревень).

Одна из носительниц традиции, А. А. Лашкова, рассказала, что причиной последнего исполненного ею причета (в 2009 г.) стало обещание *поплакать*, которое перед смертью взяла с нее кума и близкая подруга. Здесь же зафиксирована любопытная модификация причетной традиции, которая могла появиться только на поздней стадии бытования жанра. Во время беседы с пожилой жительницей Рябинино, А. С. Пестревой, она показала свой *смертный узел* – вещи,

приготовленные для похорон и хранящиеся в специальном чемодане; среди предметов обнаружилось два листа, на одном из которых был напечатан популярный современный духовный стих «Завещание умирающей матери», а на втором записан текст похоронного плача<sup>8</sup>: «*Ты вставайко родима мамонька. Собрала ли ты дорогих гостей не на пир да не на беседушку. Проводить тебя в последний путь во сырую землю-матушку. Отходили резвы ноженьки отработали белые рученьки, отглядели ясные оченьки. Ты последние часы-минуточки во своем-то да теплом гнездышке*» (ПАС). Оказалось, женщина записала причитание собственноручно; над словами сделана приписка, адресованная дочери: «*Надя, поплачь*». Как и в предыдущем случае, здесь имеет место предварительно оставленное завещание *поплакать* на похоронах, – но не устное, а письменное; при этом ни дочь А. С. Пестеревой, ни она сама никогда плачей не исполняли и манерой приплакивания не владеют. По всей видимости, факт исполнения причета оказывается для пожилой женщины важнее, чем вопрос о том, как именно это будет сделано (очевидно, что дочь способна только *прочитать* записанные слова – публично или наедине с умершей матерью, вслух или про себя). Современными исследователями уже отмечены примеры перевода похоронно-поминальных причитаний в письменную форму (так, известны ситуации, когда северорусские причитальщицы записывают собственные или чужие «слова» непосредственно после их исполнения [Алексеевский 2008: 43]; одна из карельских исполнительниц продиктовала дочери плач на собственную смерть [Степанова 2015: 182]); чердынский случай – еще один пример трансформации традиции, который может быть поставлен в этот же ряд.

Что касается юго-западной части Чердынского района (и в особенности правого берега Камы), на момент обследования плачи здесь функционировали гораздо активнее. По рассказам местных жителей, причеты предполагают импровизацию и исполняются только индивидуально: «*Плачут, плачут по покойнику. Это у нас есть, заведёно. Вот скажем, покойник, у кого чё наболело, выплакивают всё, присказывают. <...> Ну если там у неё наболело, как она останется одна, ведь всё она приплакивает, высказывает всё. <...> А кто знает, чё присказывать, тот присказывает всё и говаривает. Люди сидят слушают*» (ПНВ). В ряде населенных пунктов (с. Редикор, д. Коэпты, Усть-Уролка, Б. Долды, пос. Курган) есть женщины пожилого возраста, которых периодически зовут причитать по умершим; с некоторой долей условности их можно назвать «профессиональными» плакаль-

щицами. Самая молодая из исполнительниц, о которой довелось узнать, – жительница старообрядческой деревни Усть-Уролка В. И. Шаламова, 1956 г. р.; на момент нашего знакомства ей было 55 лет и она уже имела репутацию талантливой причитальщицы. В то же время здесь еще помнят, что традиционно на похоронах и поминках причитать должны были сами родственники (*чужих людей* раньше приглашали попричитать лишь в дом невесты перед свадьбой).

### Обрядовая терминология и рассказы современных причитальщиц

Локальную специфику причетной традиции составляют не только отдельные мотивы плачей, но и обрядовая терминология, закрепленная в данной местности. У русских известны, например, такие обозначения, как «причёта», «вопа», «воя», «жали», «крика» и др. [Чистов 1960: 6]<sup>9</sup>. Материалы диалектных словарей показывают, что на территории Чердынского р-на зафиксированы слова *плача* и *плачь*, обозначающие жалобную песню, которую поют на девичниках [СРНГ 1992: 02–103]; там же с пометкой «перм.» приводится слово *причёть* [СРНГ 1998: 60]. В действительности, как видно по полевым материалам, народные обозначения различных видов причитаний даже в одном только Чердынском районе были много разнообразнее. При этом обращает на себя внимание бо́льшая – по сравнению с центральной частью района – дифференцированность обрядовой терминологии камского правобережья. В пос. Рябино и окрестностях исполнение похоронно-поминальной причети обозначается словами *плакать* и *плачи сказывать*; однако жительницы правого берега хорошо помнят, что эти выражения обозначают только свадебные причитания: «*Плачи сказывать – это когда я иду замуж и меня [готовятся отдавать], садимся за стол, жениха пока нету, мне плачи сказывают*» (ЛНП). О похоронных же и поминальных плачах здесь говорят *причитать*, *приплакивать*, *умёрише плакать*; смешения разных наименований информанты старшего возраста не допускают. Интерес представляют и те глагольные единицы, при помощи которых плакальщицы описывают обрядовое причитание как действие. Здесь мы можем наблюдать лексически разнообразные глаголы: *говорить / сказать, кричать, петь, плакать, причитать*.

Рассказчицы подчеркивают, что для исполнения причитаний важно умение импровизировать: «*Кажный своё горе по-своему выговариват. Плачет и высказыват. Кажный своё*» (ГЮМ); «*Что придумает, я то и скажу ему*» (ЛНП); «*Чё вздуматся, то всё говоришь, и говоришь, и говоришь... <...> Оно просто льётся как уже*

само по себе» (ШВИ). Знание разнообразных традиционных формул и способность *приказывать* «от себя» считаются особым талантом, который есть не у всех: «Ну вот кто такой талантливый, дак много чё приказывает, умеет кто говорить. <...> Просто талантливые есть, а есть которы ничё не знают, дак просто так плачут, ничё не говорят» (ГЮМ). Об особом психологическом состоянии, позволяющем *приплакивать*, В. И. Шаламова рассказывает так: «Дальше всё погружаешься, погружаешься. Оно по себе выливается, выливается. И вроде даже не знаешь некоторых слов – они сами подходят, и подходят, и подходят, всё дальше, дальше» (ШВИ). Формулы и мотивы, из которых строится причитание и которые Валентина Ивановна слышала в детстве, существуют в ее памяти и в момент особого эмоционально состояния воспроизводятся плакальщицей – иногда неожиданно для нее самой. При этом набор клишированных формул, перемежаемых личными переживаниями, позволяет выразить собственное, персональное горе. Через употребление рассказчицами таких глагольных форм, как *вздумается, взбредётся, льётся, погружаешься, выливается*, передается индивидуально-спонтанная сторона процесса причитывания; другие лексические единицы и выражения (*придумаешь, выговариват, приговаривашь, приказывают, слова подходят, выколупат из нутра*) показывают понимание природы и назначения причитаний.

В беседах о похоронно-поминальной причети женщины часто подчеркивают важность «правильного голоса»: «Но само главно – голос. Слышать надо, как было пето» (ЛНП); «Она не так же кричит, она говорит и плачет» (НАА); «Конечно, не так, как вот обычно говоришь, и не так, как поёшь. <...> Да практически так же, как песню тянешь, как с отрывами, но не так, как песня поётся. А просто отрываешься» (ШВИ). Одна из местных жительниц назвала нужный для причитания голос *мертвецким* (т. е. плачущим): «Ну дак не так же высказывашь, как щас говоришь, конечно. Как вроде плачешь. Такой голос, как мертвецкой, выводишь. Сам уж такой голос выводишь» (ГЮМ). Рассказчицы констатируют отличие причета одновременно и от простого плача, и от обыкновенной речи, и от обычного пения. Необходимость специфической манеры голошения известна практически повсеместно, где существует плачевая культура; это правило, по-видимому, можно объяснить представлениями об особой природе голоса «как своего рода “орудия связи” между земным человеческим миром и потусторонним миром предков» [Толстая 1999: 135].

Интервью с причитальщицами интересны еще и тем, что показывают их становление как плакальщиц. Так, В. И. Шаламова начала *приплакивать* довольно рано, и побудило ее к этому трагическое событие, которое она тяжело переживала: «Вот я с двадцати трех лет начала, когда сестра у меня умерла, я её очень любила <...> А потом у меня уже само по себе. Даже и *приплакивала по чужим. По чужим, кто близкие, родня, да вот такие*». Большую роль в формировании мастерства причитальщицы сыграла мать Валентины Ивановны (о важности этого момента упоминает большинство исполнительниц): «У нас мама хорошо *приплакивала. Я вот от её больше. Она у нас, когда отец помер, мне было четыре года, я почему-то это слышала. Сначала вот отец помер, потом она над другими там – сестра у мамы, например, умерла. Я всё ходила же, ездила <...>. Она это *приплакивала, а я всё как вроде запоминала и как от неё переняла*». О том, что именно трагические события формируют «умение плакать», выразительно сказала и Тамара Николаевна Микова, 1934 г. р., – тоже талантливая плакальщица, жительница д. Большие Долды: «Горе меня научило *приплакивать. У кого горя нет – тот и *приплакивать не умеет. Вот так. А у кого горе есть, тот и *приплакивать умеет, и всё умеет**». Таким образом, в освоении причетного мастерства большую роль играют не только постоянное наблюдение этой традиции, но и эмоциональные потрясения, заставляющие женщину практиковать подобное ритуализированное выражение скорби.**

#### Об одном причетном мотиве: *передача вестки-грамотки*

В структуре чердынского похоронно-поминального обряда причитания занимают типичное место. Принято *приплакивать* в доме в день похорон (в таких причетах присутствуют мотивы сиротства родственников, важен образ покинутого дома – *тёпла гнездышка и не той пути-дороженьки*, по которой пошел умерший, переселения в *новый домик – без окон, без дверей*); плачут по дороге на кладбище, а затем над могилой<sup>10</sup>. Поминальные причитания исполняются в 9-й и 40-й дни, години; здесь центральным оказывается сюжет ожидания умершего и несостоявшейся встречи, реализуемый с помощью символических образов *расплескавшейся чарочки и потухшей свечи* («В правой-то рученьке у меня была чарочка, / А в левой-то рученьке да у меня горела свеченька. / Чарочка-то у меня да расплескалася, / А свечечка-то у меня да потухалася» (ГЮМ)). Причет на Семик / Троицу содержит традиционное для таких причитаний обращение к стихиям – ветрам, грому – с просьбой «расколоть гробову

доску» и выпустить умершего на свет (т. н. сюжет «оживления» умершего [Алексеевский 2007]); этот сюжет многократно встречается в семиковых причетах из различных районов края: Соликамского, Карагайского, Кунгурского и др.; широко известен он и в других регионах.

Одним из наиболее интересных мотивов чердынской причети можно назвать *передачу вестки-грамотки* (на тот свет). Само по себе выражение *вестка-грамотка* и его близкие варианты встречаются в различных жанрах классического фольклора: былинах, исторических песнях, сказках, – т. е. являются формульными (в терминологии Г. И. Мальцева [Мальцев 1989]). Л. Г. Невская рассматривает эту формулу формулу/мотив как элемент совокупного балто-славянского текста погребальной причети; по ее наблюдениям, мотив *пёстрой* (лит. *margas*) / *скорописчастой* (рус.) *грамотки* входит в блок сюжетов и текстов, описывающих встречу покойного с умершими родственниками, начало его «другой» жизни, а также послания к ним живых с просьбой о покровительстве [Невская 1993: 11, 176]. Конкретизируя семантику мотива в русских (вологдских) причитаниях, Е. Ф. Югай указывает на то, что здесь он имеет две основные реализации – передачу приветов на тот свет и описание того света как невозвратного, откуда нет «ни выводу, ни выезду». «В первом случае поклон словесно передан и условно доставлен»: «*Я с тобой, лебедь белая, / Дак накажу наказаньце, / Пошлю поклон-челобитницу <...> / Дак напишу я записочку, / Дак не пером, не чернилами*»; «во втором – письмо включается в формулу невозможного <...>: “...Туды почта-то не ходит / В мать-сыру землю / Не послать да письмо-грамотку”» [Югай 2011: 89]<sup>11</sup>. Именно в этой второй разновидности мотив вестки-грамотки типичен для усть-цилемских причитаний, где он встречается довольно часто: «*Не дождать будет мне вестипавести, / Не дождать будет мне письма-грамотки*»; «*Из той пути да с той дороженьки <...> / Ни письма нету, ни грамотки, / Ни словесного наказаньца*» [Ильина 2013]. Обнаруживается он и в других региональных традициях – например, у русских Южного Урала: «*Пишу-то я тебе, сынушко, / Не пером, не чернилами <...>. / Не предают видно никто, сынушко, / Тебе мои письма-грамотки. / Всё я жду от тебя весточку, / Не дождусь ни с которой сторонушки*» [Похоронно-помин. традиции на Южном Урале 2008: 28–29]<sup>12</sup>. Мотив ненаписанной / неполученной вестки-грамотки зафиксирован и в единичных записях из Ильинского, Карагайского, Кунгурского районов Пермского края.

На этом фоне ярче проявляется специфика данного мотива в чердынской плачевой тради-

ции. Он широко известен повсюду, где плачи еще исполняются, и составляет сюжетную основу специального причета, который может звучать на похоронах. Обычно такой плач исполняет не родственница, а соседка, подруга или знакомая, которая пришла проститься с умершим, пока гроб находится в доме. Считается, что с помощью этого причета через покойника можно передать привет или какую-то новость своему умершему родственнику: «*Пошлю-ка я с тобой да вестку-грамотку / До родимой до маменьки. / Неси же ты, неси да не урони, / В леса темные да моря синие, / Неси да передай прямо в руки*» (ЛАА). Комментарии исполнительниц показывают, что они действительно воспринимают исполнение подобного причета как акт коммуникации с умершим: «*У кого какое горе – так и высказывают. Вестку-грамотку да чё да передают. <...> Пример вот, умер: “Передай-ко да вестку-грамотку, как живу да я да маюся <...>, скажи да расскажи моей-то да милой ладушке”. Он <умерший> и рассказывают. Да, на том свете. Иишет её и рассказывают!»* (ШМК).

Показательно воспоминание, записанное от причитальщицы В. И. Шаламовой из д. Усть-Урлка. Ее мать дала обещание после смерти никогда не видеться родственникам во сне. Но после причета-просьбы, переданной с умершей соседкой, она нарушила обещание и приснилась дочери: «*Ну, я вот так же тётке Насте поприплакивала, говорю ей: “Тётка Настя, вот передай там мамке, да расскажи, как я живу, пускай-ка она привидится мне во сне. Да расскажу ей, какое у меня горе”. Сын у меня был в армии, и мне тогда было так тяжело! И она ведь мне в ту ночь привиделась во сне <...>. И вот так я с ней наговорилась...»* (ШВИ). Потребность «наговориться» с покойной матерью была вызвана сложными жизненными обстоятельствами (гибелью младшего сына, призывом в армию старшего, затяжной болезнью самой исполнительницы). Об этом случае помнят и рассказывают также свидетели исполнения причета, для которых произошедшее является еще одним доказательством возможности иномирных контактов: «*А вот Валентина Ивановна-то, когда у меня мама умерла, приплакивала. Говорила как-то: “В землю пойдёшь туда, в сыру землюшку, у меня там мама лежит, ты, тётя Настя, расскажи, как я живу...” И она ей на второй день снилась во сне, её мать-то. Ей наснилось, как будто моя мама передала эти слова*» (ДКМ). По-видимому, установление подобного «контакта» до сих пор во многом определяет прагматику этой разновидности похоронного плача и способствует его сравнительной устойчивости на обследованной территории.

Что касается отрицательной формы – *вестки-грамотки*, которую передать невозможно, – в чердынской традиции она обнаруживается только в свадебных причитаниях невесты-сироты. В них девушка пытается отправить весть с «перелетным да ясным соколом», «со ветрами со буйными» или с заходящим солнцем: *«Ты постой, постой, теплое солнышко, / Я пошлю с тобой да вестку-грамотку / Во сытучю да землю-матушку / Я своему-то кормильцу-батюшке, / Я своей родимой мамоньке»* [Зырянов 1975: 36]. Встречается контаминация этой формулы с другими мотивами местных поминальных причетов: *«Сколь писала да весточки-грамотки. Не дошла да видно весточка-грамотка до моей до родимой мамоньки. Сколь ждала не дожидалась, выходила на крылечко. Во правой-то рученьке держала чарочку зелена вина, во левой-то рученьке свеченьку да воскоярую. Свечечка-то истеплялася, чарочка-то расплескалася»* (ГАИ). В этой разновидности причитаний границы миров всегда изображаются как непроницаемые, а встреча – как невозможная.

Более полно специфика чердынской плачевой традиции может быть выявлена путем сопоставлений с другими локальными традициями Пермского Прикамья. Пока же к числу характерных ее черт можно отнести исключительно сольное исполнение и выраженное импровизационное начало, наличие как универсальных причетных формул, так и редких, особых вариантов их реализации. Наблюдается сравнительно хорошая сохранность и дифференцированность народной обрядовой терминологии. Отдельные случаи приплакивания, содержащие в себе что-то необычное, запоминаются и становятся предметом устных рассказов. Особую роль в чердынской локальной традиции играет похоронный причет с мотивом передачи вестки-грамотки: его исполнение воспринимается не как символическое речевое действие, а как вполне реальный акт коммуникации с умершими, само же устойчивое выражение *передать вестку-грамотку*, с одной стороны, содержит фольклорную формулу, а с другой – оказывается народным термином и пополняет фонд местной обрядовой лексики.

### Примечания

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 15-14-59003 («Похоронно-поминальный фольклор Прикамья в системе русской традиционной культуры»).

<sup>2</sup> В фамилии публикатора имеются разночтения: в содержании «Пермского сборника» он

назван *Бурдин*, а непосредственно в тексте публикации – *Будрин* [Бурдин 1860: 131]; в Пермском крае встречаются обе эти фамилии.

<sup>3</sup> По предварительным данным, групповое исполнение похоронно-поминальных причетаний зафиксировано в Юрлинском, Кудымкарском, Карагайском, Ильинском и, вероятно, Сивинском р-нах. Известные нам материалы включают записи из 20 районов современного Пермского края, однако в большинстве случаев сведения о форме исполнения причетаний (индивидуальная / коллективная) отсутствуют.

<sup>4</sup> В 2009–2011 гг. в формате фольклорных практик и исследовательской экспедиции сотрудниками и студентами филологического ф-та ПГНИУ была обследована центральная часть Чердынского р-на с населенными пунктами по рекам Колвы и Вишеры (пгт Ныроб, пос. Рябинино, с. Искор, Камгорт, Бигичи, Редикор, д. Серёгово, Урол, Корнино) и его юго-западная часть вдоль Камы (с. Пянтег, пос. Курган, д. Амбор, Б. и М. Долды, Усть-Уролка, Коэпты, Исток); на территории Красновишерского района подобных целенаправленных исследований похоронно-поминальной причети не проводилось.

<sup>5</sup> Ср.: Село Губдор, где в конце 1950-х – начале 1960-х гг. были сделаны записи причетаний (см. тексты № 229 и № 230 в сб. [Народные песни Пермского края 1966: 161]), относилось к Чердынскому р-ну; сегодня это часть Красновишерского р-на.

<sup>6</sup> В вологодской традиции подобные причитания звучали на кладбище, а затем дома перед прибытием свадебного поезда; Б. Б. Ефименкова указывает, что, заимствуя содержание плача на сорочины, домашнее голошение невесты-сироты исполняется на свадебный напев и чаще хором девушек [Ефименкова 1980: 22]. В кратком комментарии к чердынской причети И. В. Зырянов сообщает, что невеста причитала на могиле родителей [Чердынская свадьба 1969: 42].

<sup>7</sup> Кроме уже упоминавшихся источников, представление о поэтике чердынских причетаний дают публикации текстов XIX–XX вв.: [Предтеченский 1859: 36, 38–39; Зырянов 1975: 36–40], № 30 и 34 в [Чердынская свадьба 1969]; также нами учтены материалы 1987–1988 гг. из архива фольклорной практики ПГНИУ (плачи невесты-сироты).

<sup>8</sup> Текст приводится в соответствии с первоисточником.

<sup>9</sup> Об обрядовой терминологии голошения на более широком славянском материале см.: [Толстая 1999: 145–146; Микитенко 2010: 32–34, 71, 97].

<sup>10</sup> О некоторых мотивах чердынских похоронно-поминальных причитаний см.: [Подюков, Хоробрых 2009: 59–62].

<sup>11</sup> Мотив загробного письма характерен и для плачевой культуры южных славян: в болгарских причитаниях он реализуется как просьба к умершему сообщить о себе: «*Писма майк 'я от тебе че чека – / писма майци по-често да пишеш!*» – ‘Письма матушка будет от тебя ждать, / Письма матушке пиши почаще!’ – но встречается тут и мотив непришедшего письма («*от нийде нищо не дойде*») [Микитенко 2010: 261–262]. У восточных славян, в т. ч. в украинских причитаниях, он в основном представлен в значении невозможного действия: «*О мій синоньку! / Чому ж ти ни пісемко ни пришлеш...*», – либо констатируется, что между тем и этим светом нет никакого сообщения: «*Видтиль ни письма не шлють, ни самы не йдуть*» [Коваль-Фучило 2014: 72, 77].

<sup>12</sup> Ср. этот мотив за пределами славянской традиции (но в зоне непосредственных с ней контактов): в карельских причитаниях «*легкие, не стираемые, с печатями телеграммочки*», «*по почтовой почте отправляемые листы-граммотки*» встречаются в мотиве-просьбе известить всех родных о смерти и пригласить их на похороны [Степанова 2015: 190–192]. Примеры загробного письма в вепсской и румынской причетных традициях, а также используемые в них номинации послания см.: [Iugaï 2016: 170–179].

### Список информантов

ДКМ – Дементьева К. М., 1938 г. р., старообрядка, жительница д. Усть-Уролка; 2011 г.

ГАИ – Гамшова (Патрушева) А. И., 1916 г. р., д. Тагъяшер; 1988 г. Фольклорный архив ПГНИУ. Тетр. № 402.

ГЮМ – Габова Ю. М., 1935 г. р., род. в д. Мелехина, жительница с. Пянтег; 2011 г.

ЛАА – Лашкова А. А., 1930 г. р., род. в д. Урол, жительница пос. Рябино; 2009 г.

ЛНП – Лопарёва Н. П., 1926 г. р., род. в д. Абог, жительница д. Усть-Уролка; 2011 г.

НАА – Няжильченко А. А., 1926 г. р., род. в д. Коэпты, уехала в Украину; зап. в Коэптах, где НАА гостила у сестры, в 2010 г.

ПАС – Пестерева А. С., 1932 г. р., род. в д. Аниковская, жительница пос. Рябино; 2010 г.

ПНВ – Порошина Н. В., 1928 г. р., жительница с. Редикор; 2011 г.

ШВИ – Шаламова В. И., 1956 г. р., старообрядка, жительница д. Усть-Уролка; 2011 г.

ШМК – Шишигина М. К., 1938 г. р., род. в д. Яранина, жительница с. Пянтег; 2011 г.

### Список литературы

Алексеевский М. Д. Сюжет оживления покойника в севернорусских поминальных причитаниях: текст и обрядовый контекст // Антропологический форум. 2007. № 6. С. 227–262.

Алексеевский М. Д. Похоронно-поминальные причитания Русского Севера: проблемы собирания и современное состояние традиции // Актуальные проблемы полевой фольклористики: сб. науч. тр. / отв. ред. А. А. Иванова. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского гос. университета, 2008. Вып. 4. С. 36–45.

Бахматов А. А. и др. Русские в Коми-Пермяцком округе: обрядность и фольклор: Материалы и исследования / А. А. Бахматов, Т. Г. Голева, И. А. Подюков, А. В. Черных. Пермь: От и до, 2008. 510 с.

Беломестнова А. С. «Ты прости-ко, прощай...»: об одном сложном случае определения жанра // Антропология. Фольклористика. Социоллингвистика: сб. тезисов конф. молодых ученых / Европейский университет в С.-Петербурге. СПб., 2014. С. 19–22. URL: [https://eu.spb.ru/images/et\\_dep/asf3/Tezisy\\_konferentsii\\_FA-EUSPB\\_mart\\_2014.pdf](https://eu.spb.ru/images/et_dep/asf3/Tezisy_konferentsii_FA-EUSPB_mart_2014.pdf) (дата обращения: 28.11.2016).

Будрин Е. Причитания по покойнику (В Кунгурском уезде) // Пермский сборник. Кн. 2, отд. 2. М., 1860. С. 128–131.

Вишерская старина: сб. фольк.-этнолингв. материалов по обрядовой традиции Красновишерского р-на Перм. обл. / сост. Н. В. Жданова, И. А. Подюков, С. В. Хоробрых. Пермь: Изд-во ПГПУ, 2002. 100 с.

Елтышев С. А., Королёва С. Ю. «Надя, поплачь...»: заметки о современном бытовании похоронно-поминальных причитаний в Чердынском районе Пермского края // Дергачевские чтения – 2011: Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы X Междунар. науч. конф.: в 3 т. / сост. А. В. Подчиненов. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. Т. 3. С. 70–80.

Ефименкова Б. Б. Севернорусская причеть: Междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшеньги (Вологодская обл.). М.: Сов. композитор, 1980. 392 с.

Зырянов И. В. Сюжетно-тематический указатель свадебной лирики Прикамья: учеб. пособие. Пермь, 1975. 183 с.

Зырянов И. В. О взаимосвязях похоронной и свадебной причети [Рукопись] // Рукописный отдел ИРЛИ РАН. Личный фонд И. В. Зырянова. Ф. 850. Оп 1. Ед. хр. 8. Л. 31–63.

Ильина Ю. И. Усть-цилемские похоронно-поминальные причитания: указатель основных

тем и мотивов // Усть-цилемская фольклорная традиция: справ.-библиогр. мультимедийное изд. / сост. Т. С. Канева. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкар. гос. ун-та, 2013.

*Коваль-Фучило І. М.* Українські голосіння: антропологія традиції, поетика тексту. Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, 2014. 360 с.

*Корнаухов Н.* Этнографические черты города Чердыни, Пермской губернии // Отечественные записки. Т. LVII. Отд. VIII. СПб., 1848. С. 49–58.

*Левкиевская Е. Е.* Письмо // Славянские древности: этнолингвистич. Словарь: в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого. М.: Междунар. отн., 2009. Т. 4. С. 52–55.

*Мальцев Г. И.* Традиционные формулы русской необрядовой лирики. Исследование по эстетике устно-поэтического канона. Л.: Наука, 1989. 172 с.

*Марченко Ю. И.* Из ранних записей групповой причеты на Русском Севере // Из истории русской фольклористики / отв. ред. А. А. Горелов. Л.: Наука, 1990. Вып. 3. С. 136–155.

*Микитенко О. О.* Балканослов'янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. Київ: Видавництво Інститута мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 2010. 424 с.

*Народные песни Пермского края:* сб. текстов: в 2 т. / отв. ред. Т. В. Пирожкова; Перм. гос. ун-т. Пермь, 1966. Т. 1. 274 с.

*Невская Л. Г.* Балто-славянское причитание. Реконструкция семантической структуры. М.: Наука, 1993. 240 с.

*Подюков И. А.* Карагайская сторона: Народная традиция в обрядности, фольклоре и языке. Кудымкар: Коми-Перм. кн. изд-во, 2004. 319 с.

*Подюков И. А.* и др. Усольские древности: сб. трудов и материалов по традиционной культуре русских Усольского района к XIX – XX вв. / И. А. Подюков, А. М. Белавин, Н. Б. Крыласова, С. В. Хоробрых, Д. А. Антипов. Усолье; Соликамск; Березники: Перм. кн. изд-во, 2004. 248 с.

*Подюков И. А., Хоробрых С. В.* Голуби на часовенке: Сказки и песни деревни Усть-Уролка. Пермь: Сота, 2009. 128 с.

*Похоронно-поминальные традиции на Южном Урале:* сб. материалов фольк. экспедиций Лаб. нар. культуры Магнитогор. гос. ун-та (1993–2007 гг.) / авт.-сост. Т. И. Рожкова, С. А. Моисеева. Магнитогорск: Изд-во Магитогор. гос. ун-та, 2008. 222 с.

*Предтеченский Я.* О свадебных обрядах города Чердыни // Пермский сборник. Кн. 1, отд. 2. М., 1859. С. 1–107.

*Причитанья Северного края,* собранные Е. В. Барсовым. Т. 1: Похоронные причитания / вступ. ст. К. В. Чистова; отв. ред. А. М. Астахова. СПб.: Наука, 1997. 501 с.

*Русские плачи Карелии* / под ред. М. К. Азодовского. Петрозаводск: Госиздат К.-Ф. ССР, 1940. 322 с.

*Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Свадебная поэзия. Похоронная причеть* / сост. Р. П. Потанина, Н. В. Леонова, Л. Е. Фетисова. Новосибирск: Наука, 2002. 551 с.

*Серебренников В. Н.* Похоронные обычаи и причитания по умершим у крестьян Стряпухинской волости Оханского уезда. Пермь: Тип. союза потреб. обществ С.-В. района, 1918. 6 с.

СРНГ 1992 – *Словарь русских народных говоров* / гл. ред. Ф. П. Сороколетов. СПб.: Наука, 1992. Вып. 27. 401 с.

СРНГ 1998 – *Словарь русских народных говоров* / гл. ред. Ф. П. Сороколетов. СПб.: Наука, 1998. Вып. 32. 272 с.

*Смоленский музыкально-этнографический сборник. Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи* / ред. О. А. Пашина, М. А. Енговатова. М.: Индрик, 2003. 552 с.

*Степанова Э.* Плачи Прасковьи Савельевой на свою смерть в контексте карельской традиции причеты // Memento Mori: похоронные традиции в современной культуре / сост. А. Д. Соколова, А. Б. Юдкина; отв. ред. Д. В. Громов. М.: ИЭА РАН, 2015. С. 182–196.

*Толстая С. М.* Обрядовое голошение: семантика, лексика, прагматика // Мир звучащий и молчащий: Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М.: Индрик, 1999. С. 135–148.

*Успенская Н. Н.* От составителя // Духовные стихи Пермского края / сост. Н. Н. Успенская. Екатеринбург: Изд-во Свердл. обл. Дома фольклора, 2009. С. 3–6.

*Чердынская свадьба* / зап. и сост. И. Зырянов. Пермь: Перм. кн. изд-во, 1969. 248 с.

*Четина Е. М., Роготнев И. Ю.* Символические реальности Пармы: Очерки традиционной культуры Пермского края. Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2010. 223 с.

*Чистов К. В.* Русская причеть // Причитания. Л.: Сов. писатель, 1960. С. 5–44.

*Щупак (Мехнецова) Г. Н.* Свадебные и похоронные причитания в записях и исследованиях И. В. Зырянова: по архивным материалам Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН // Народная традиционная культура в образовательных программах и научных исследова-

ниях: сб. материалов Всерос. конф. 2008–2010 гг. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2013. С. 290–308.

Югай Е. Ф. Ключевые образы плача (на материале похоронных и поминальных причитаний Вологодской области): дис. ... канд. филол. наук. М., 2011. 251 с.

Югай Е. Ф. «Я не причитаю, не покажу на голос». Какие строчки причитаний дольше всего сохраняются в памяти? // Механизмы культурной памяти: от фольклора до медиа: тезисы докл. Междунар. науч. конф. / сост. О. Б. Христофорова, Д. И. Антонов, М. В. Ахметова, Н. В. Петров. М., 2014. С. 142–146. URL: <https://yadi.sk/d/mixYРWубсokr8> (дата обращения: 11.11.2017).

Iugai E. “From This Place You Cannot Hear Speech. From This Place You Cannot Receive a Letter”: The Letter-Message in Russian Funeral Lamentations // The Ritual Year 11: Traditions and Transformation. The Yearbook of the SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore) Working Group on the Ritual Year / ed. by G. Stolyarova, I. Sedakova, N. Vlaskina. Kazan; Moscow: 2016. Vol. 8. P. 185–184.

## References

Alekseevskiy M. D. Syuzhet ozhivleniya pokoynika v severnorusskikh pominal’nykh prichitaniyakh: tekst i obryadovyy kontekst [The Motif of the Revival of a Dead Man in Northern Russian Funeral Lamentations: Text and Ceremonial Context]. *Antropologicheskii forum* [Forum for Anthropology and Culture], 2007, issue 6, pp. 227–262. (In Russ.)

Alekseevskiy M. D. Pokhoronno-pominal’nye prichitaniya Russkogo Severa: problemy sobiraniya i sovremennoe sostoyanie traditsii [Funeral and Memorial Laments of the Russian North: Problems of Collecting and the Current Status of the Tradition]. *Aktual’nye problemy polevoy fol’kloristiki: sbornik nauchnykh trudov. Vyp. 4.* [Current Problems of Folklore Field Research: collection of scientific papers. Issue 4]. Ed. by A. A. Ivanova. Syktyvkar, Syktyvkar State University Press, 2008, pp. 36–45. (In Russ.)

Bakhmatov A. A., Goleva T. G., Podyukov I. A., Chernykh A. V. *Russkie v Komi-Permyatskom okruge: obryadnost’ i fol’klor* [The Russians in Komi-Permyak Okrug: Rituals and Folklore]. Perm, Ot i Do Publ., 2008, 502 p. (In Russ.)

Belomestnova A. S. «Ty prosti-ko, proshchay...»: ob odnom slozhnom sluchae opredeleniya zhanra [“You, forgive me, and farewell...”: about one complicated case of defining a genre]. *Antropologiya. Fol’kloristika. Sotsiolingvistika: sb. tezisev konferentsii molodykh uchenykh* [Anthropology. Folklore. Sociolinguistics: Proceedings of

the Youth Scientific Conference]. St. Petersburg, European University at St. Petersburg Press, 2014, pp. 19–22. Available at: [https://eu.spb.ru/images/et\\_dep/asf3/Tezisy\\_konferentsii\\_FA-EUSPB\\_mart\\_2014.pdf](https://eu.spb.ru/images/et_dep/asf3/Tezisy_konferentsii_FA-EUSPB_mart_2014.pdf) (accessed 28.11.2016). (In Russ.)

Budrin E. Prichitaniya po pokoyniku (V Kungurskom uezde) [Funeral Laments for the Dead (In the Kungur County)]. *Permskiy sbornik* [Perm Collection]. Moscow, 1860, vol. 2, pt. 2, pp. 128–131. (In Russ.)

*Visherskaya starina: sb. fol’klorno-etnolingvistiicheskikh materialov po obryadovoy traditsii Krasnovisherskogo r-na Permskoy oblasti* [Vishersk Antiquity: Collection of Folklore and Ethnolinguistic Materials on the Ritual Tradition of Krasnovishersky District of the Perm Region]. Comp. by N. V. Zhdanova, I. A. Podyukov, S. V. Khorobrykh. Perm, Perm State Pedagogical University Press, 2002. 100 p. (In Russ.)

Elytshev S. A., Koroleva S. Yu. «Nadya, poplach...»: zametki o sovremennom bytovanii pokhoronno-pominal’nykh prichitaniy v Cherdynskom rayone Permskogo kraya [“Nadya, Cry...”: Notes on the Current State of Funeral and Memorial Laments in Cherdynsky District of the Perm Region]. *Dergachevskie chteniya – 2011: Russkaya literatura: natsional’noe razvitie i regional’nye osobennosti. Materialy X mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. V 3 t.* [Dergachevsky Readings – 2011. Russian Literature: National Development and Regional Features. Proceedings of X international scientific conference. In 3 vols.]. Comp. by A. V. Podchinnov. Ekaterinburg, Ural State University Press, 2012, vol. 3, pp. 70–80. (In Russ.)

Efimevkova B. B. *Severno russkaya prichet’: Mezhdurech’e Sukhony i Yuga i verkhov’ia Kokshen’gi (Vologodskaya obl.)* [Northern Russian Folk Laments: Sukhona and Yug’s Interfluvium and the Upper Kokshenga (the Vologda Region)]. Moscow, Sovetskiy Kompozitor Publ., 1980. 392 p. (In Russ.)

Zyryanov I. V. *Syuzhetno-tematicheskii ukazatel’ svadebnoy liriki Prikam’ya* [The Plot and Theme Index of Wedding Lyrics of Prikamye]. Perm, 1975. 183 p. (In Russ.)

Zyryanov I. V. *O vzaimosvyazakh pokhoronnoy i svadebnoy pricheti* [On Interrelations of Funeral and Wedding Laments (Manuscript)]. Manuscript Division of the Institute of Russian Literature of the Russian Academy of Sciences. Private Fund of I. V. Zyryanov. F. 850, register 1, storage object 8, pp. 31–63. (In Russ.)

Il’ina Yu. I. Ust’-tsilemskie pokhoronno-pominal’nye prichitaniya: ukazatel’ osnovnykh tem i motivov [Ust-Tsilma Funeral Laments: the Index of

Main Themes and Motifs]. *Ust'-tsilemskaya fol'klornaya traditsiya: Spravochno-bibliograficheskoe izdanie* [Ust-Tsilma Folklore Tradition: Reference and Bibliographic Multimedia Edition]. Comp. by T. S. Kaneva. Syktyvkar, Syktyvkar State University Press, 2013. (In Russ.)

Koval-Fuchilo I. M. *Ukrains'ki golosinnia: antropologiya traditsii, poetika tekstu* [Ukrainian Laments: the Anthropology of Tradition, the Poetics of Text]. Kiev, Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology of National Academy of Sciences of Ukraine Press, 2014, 360 p. (In Ukrain.)

Kornaukhov N. *Etnograficheskie cherty goroda Cherdyni, Permskoy gubernii* [Ethnographic Features of the town of Cherdyn, Perm Province]. *Otechestvennye zapiski* [Notes of the Fatherland], issue LVII, part VIII, 1848, pp. 49–58. (In Russ.)

Levkievskaya E. E. Pis'mo [Writing]. *Slavyanskije drevnosti: Etnolingvisticheskiy slovar'* [Slavic Antiquities: The Ethnolinguistic Dictionary]. Ed. by N. I. Tolstoy. Moscow, Mezhdunarodnye Otnosheniya Publ., 2009, vol. 4. pp. 52–55. (In Russ.)

Maltsev G. I. *Traditsionnye formuly russkoy nebrivadovoy liriki. Issledovanie po estetike ustno-poeticheskogo kanona* [Traditional Formulas of Russian Non-Ritual Lyrics. The Study of Aesthetics of the Oral-Poetic Canon]. Leningrad, Nauka Publ., 1989. 172 p. (In Russ.)

Marchenko Yu. I. *Iz rannikh zapisey gruppovoy pricheti na Russkom Severe* [From the Early Notes of the Group Laments in the Russian North]. *Iz istorii russkoy fol'kloristiki* [From the History of Russian Folklore Studies]. Ed. by A. A. Gorelov. Leningrad, Nauka Publ., 1990, issue 3, pp. 136–155. (In Russ.)

Mikitenko O. O. *Balkano-slov'ianskiy tekst pokhoyal'nogo oplakuvannia: pragmatika, semantika, etnopoetika* [Balkano-Slavic Text of the Funeral Lamentation: Pragmatics, Semantics, Ethnopoetics]. Kiev, Institute of Art Studies, Folklore Studies and Ethnology of National Academy of Sciences of Ukraine Press, 2010. 424 p. (In Ukrain.)

*Narodnye pesni Permskogo kraya. Sbornik tekstov v 2 t.* [Folk Songs of the Perm Region. Collection of Texts in 2 vols.]. Ed. by T. V. Pirozhkova. Perm, Perm State University Press, 1966, vol. 1. 274 p. (In Russ.)

Nevskaya L. G. *Balto-slavianskoe prichitanie. Rekonstruktsiya semanticheskoy struktury* [Balto-Slavic Laments. The Reconstruction of the Semantic Structure]. Moscow, Nauka Publ., 1993. 240 p. (In Russ.)

Podyukov I. A. *Karagayskaya storona: Narodnaya traditsiya v obryadnosti, fol'klоре i yazyke* [Karagay Territory: Ethnic Tradition in Rites, Folklore

and Language]. Kudymkar, Komi-permyatskoe knizhnoe izdatel'stvo Publ., 2004. 319 p. (In Russ.)

Podyukov I. A. et al. *Usol'skie drevnosti. Sbornik trudov i materialov po traditsionnoy kul'ture russkikh Usol'skogo rayona k. 19 – 20 vv.* [Usolsk antiquities. Collection of Articles and Materials on the Traditional Culture of the Russians in the Usolsky District in the 19<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> centuries]. Usolye, Solikamsk, Berezniki, Permskoe knizhnoe izdatel'stvo Publ., 2004. 248 p. (In Russ.)

Podyukov I. A., Khorobrykh S. V. *Golubi na chasovenke: Skazki i pesni derevni Ust'-Urolka* [Pigeons on the Chapel: Tales and Songs of Ust-Urolka Village]. Perm, Sota Publ., 2009. 128 p. (In Russ.)

*Pokhoronno-pominal'nye traditsii na Yuzhnom Urale: sbornik materialov fol'klornykh ekspeditsiy laboratorii narodnoy kul'tury Magnitogorskogo gosudarstvennogo universiteta* [Funeral and Commemorative Traditions in the Southern Urals: Collection of Materials of Folklore Expeditions of Folk Culture Laboratory of Magnitogorsk State University (1993–2007)]. Comp. by T. I. Rozhkova, S. A. Moiseeva. Magnitogorsk, Magnitogorsk State University Press, 2008. 222 p. (In Russ.)

Predtechensky Ya. *O svadebnykh obryadakh goroda Cherdyni* [On Wedding Ceremonies of the Town of Cherdyn]. *Permskiy sbornik* [Perm Collection]. Moscow, 1859, vol. 1, part 2, pp. 1–107. (In Russ.)

*Prichitaniya Severnogo Kraya, sobrannye E. V. Barsovm* [The North Region Laments collected by E. V. Barsov]. Preface by K. V. Chistov, ed. by A. M. Astakhov. St. Petersburg, Nauka Publ., 1997, vol. 1. Pokhoronnye Plachi [Funeral Laments]. 501 p. (In Russ.)

*Russkie plachi Karelii* [Russian Laments of Karelia]. Ed. by M. K. Azadovskiy. Petrozavodsk, Gosizdat K-F SSR Publ., 1940. 322 p. (In Russ.)

*Russkiy semejno-obryadovyy fol'klор Sibiri i Dalnego Vostoka: Svadebnaya poeziya. Pokhoronnaya prichet'* [Russian Family and Ritual Folklore of Siberia and the Far East: Poetry of Wedding Rituals. Funeral Laments]. Comp. by R. Potanina, N. Leonova, L. Fetisova. Novosibirsk, Nauka Publ., 2002. 551 p. (In Russ.)

Serebrennikov V. N. *Pokhoronnye obychai i prichitaniya po umershim u krestyan Striapukhinskoy volosti Okhanskogo uezda* [Funeral Rites and Laments for the Dead of the Peasants of Stryapuhinsky County of Okhansky District]. Perm, 1918. 6 p. (In Russ.)

*Slovar' russkikh narodnykh govorov* [The Dictionary of Russian Dialects]. Ed. by F. P. Sorokoletov. St. Petersburg, Nauka Publ., 1992, vol. 27. 401 p. (In Russ.)

*Slovar' russkikh narodnykh govorov* [The Dictionary of Russian Dialects]. Ed. by F. P. Sorokoletov. St. Petersburg, Nauka Publ., 1998, vol. 32. 272 p. (In Russ.)

*Smolenskiy muzykal'no-etnograficheskiy sbornik* [Smolensk Musical and Ethnographic Collection]. Ed. by O. A. Pashin, M. A. Yungovatov. Moscow, Indrik Publ., 2003, vol. 2. Pokhoronnyy obryad. Plachi i pominal'nye stikhi [Funeral Rite. Laments and Folk Memorial Poems]. 552 p. (In Russ.)

Stepanova E. Plachi Praskov'i Savel'evoy na svoyu smert' v kontekste karel'skoy traditsii pricheti [Praskovya Saveleva's Laments for Her Own Funerals in the Context of the Karelian Lament Tradition]. *Memento Mori: pokhoronnye traditsii v sovremennoy kul'ture* [Memento Mori: Burial Tradition in Contemporary Culture]. Ed. by D. V. Gromov. Moscow, Institute of Ethnology and Anthropology of the Russian Academy of Science Press, 2015, pp. 182–196. (In Russ.)

Tolstaya S. M. Obryadovoe goloshenie: leksika, semantika, pragmatika [The Ritual Lamentation: Vocabulary, Semantics, Pragmatics]. *Mir zvuchashchiy i molchashchiy. Semiotika zvuka i golosa v traditsionnoy culture slavyan* [The World of Sounds and Silence: Semiotics of Sound and Voice in Slavic Traditional Culture]. Ed. by S. M. Tolstaya. Moscow, Indrik Publ., 1999, pp. 135–148. (In Russ.)

Uspenskaya N. N. Ot sostavitelya [From the Compiler]. *Dukhovnye stikhi Permskogo kraya* [Spiritual Verses of the Perm Region]. Ekaterinburg, Sverdlovsk Regional House of Folklore Press, 2009, pp. 3–6. (In Russ.)

*Cherdynskaya svad'ba* [Cherdyn Wedding]. Comp. by I. V. Zyryanov. Perm, Permskoe knizhnoe izdatel'stvo Publ., 1969. 248 p. (In Russ.)

Chetina E. M., Rogotnev I. Yu. *Simvolicheskie real'nosti Parmy: Ocherki traditsionnoy kul'tury Permskogo kraya* [Symbolic Sealities of Parma: Essays on Traditional Culture of the Perm region]. Perm, Perm State University Press, 2010. 223 p. (In Russ.)

Chistov K. V. Russkaya prichet' [Russian Laments]. *Prichitaniya* [Lamentations]. Leningrad, Sovetskiy Pisatel' Publ., 1960, pp. 5–44. (In Russ.)

Shchupak (Mekhnetsova) G. N. Svadebnye i pokhoronnye prichitaniya v zapisyakh i issledovaniyakh I. V. Zyryanova: po arkhivnym materialam Instituta russkoy literatury (Pushkinskiy Dom) RAN [Wedding and Funeral Laments in I.V. Zyryanov's Notes and Research: Archival Materials of the Institute of Russian Literature (Pushkin House), RAS]. *Narodnaya traditsionnaya kul'tura v obrazovatel'nykh programmakh i nauchnykh issledovaniyakh: Sb. mat-lov vseross. konf. 2008–2010 gg.* [Traditional Culture in Educational Programs and Scientific Researches: Proceedings of Russian Scientific Conferences, 2008–2010]. St. Petersburg, Polytechnic University Press, 2013, pp. 290–308. (In Russ.)

Iugai E. F. *Klyuchevye obrazy placha: na material pohoronnykh i pominalnykh prichitaniy Vologodskoy oblasti*. Diss. kand. filol. nauk [Key Images of Laments: on the Material of Laments of the Vologda Region. Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 2011, 251 p. (In Russ.)

Iugai E. F. «Ya ne prichitayu, ne pokazhu na golos». Kakie strochki prichitaniy dol'she vsego sokhranyayutsya v pamyati? [“I Don't Sing the Laments, I Don't Show Them in the Voice”. Which Lines of Laments are Stored the Longest in Memory?]. *Mekhanizmy kul'turnoy pamiati: ot fol'klora do media: tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii* [Mechanisms of Cultural Memory: From Folklore to Media: Abstracts of International Scientific Conference]. Comp. by O. B. Khristoforova, D. I. Antonov, M. V. Akhmetova, N. V. Petrov. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 2014, pp. 142–146. Available at: <https://yadi.sk/d/mixYPWu6cokr8> (accessed 11.11.2017). (In Russ.)

Iugai E. F. “From This Place You Cannot Hear Speech. From This Place You Cannot Receive a Letter”: The Letter-Message in Russian Funeral Lamentations. The Ritual Year 11: Traditions and Transformation. The Yearbook of the SIEF (Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore) Working Group on the Ritual Year. Ed. by G. Stolyarova, I. Sedakova, N. Vlaskina. Kazan–Moscow, 2016, vol. 8, pp. 185–184. (In Eng.)

**TRADITIONAL FUNERAL LAMENTS OF CHERDYN AREA:  
CURRENT STATUS, RITUAL LEXIS, “LETTER-MESSAGE” MOTIF**

**Svetlana Yu. Korolyova**

**Associate Professor in the Department of Russian Literature**

**Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. petel@yandex.ru

SPIN-code: 4734-5735

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4246-907X>

ResearcherID: R-9645-2017

**Maria A. Brukhanova**

**Master's Student in the Department of Journalism and Mass Communications**

**Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. petel@yandex.ru

SPIN-code: 1950-4874

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-9489-5172>

ResearcherID: S-1044-2017

*Submitted 25.12.2017*

The article considers the current status of traditional funeral and commemorative laments in Northern Prikamye. The main objects under analysis are various forms of laments which were recorded in Cherdyn area in the 19<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> centuries and during a special field research in 2009–2011. The first part of the article includes a review of published texts of laments and discusses some ways to study them. It should be noted that the laments of Prikamye were recorded not systematically and not purposefully. The main gap is the lack of ethnographic details which show the functioning of this genre in the ritual life of villagers. The focus of this article shifts from the traditional point – texts and poetics – to the ritual and communicative context. The main material is the narratives of lament-singers and their listeners. The paper shows some mechanisms of improvisation and reveals some factors which inspire lament-singers to join the tradition. When the traditional “culture of crying” almost lost its relevance, lament-singers sing lamentations according to a previously given promise, or an oral “testament” which the person left during their lifetime. Another question resolved in the article is description of vernacular ritual terms and some expressions used by informants when they tell about funeral and commemorative lamentations. This terminology in Cherdyn area is differentiated; there are special words and collocations which are used for nomination of wedding lamentations and funeral laments. The last part of the article contains analysis of the particular traditional verbal formula – sending a letter-message (into the afterworld or back); this popular motif of laments is connected with mythological representations and ritual practices used by the inhabitants of Cherdyn area. Thus, the special collocation “vestku-gramotku peredat” (to pass on a letter-message) is not only a nomination of a lament motif but also a local ritual term.

**Key words:** ritual poetry; funeral and commemorative laments; motif; traditional formula; vernacular ritual terminology; Russian mythological and ritual tradition.

УДК 81-13  
doi 10.17072/2037-6681-2018-2-30-38

## О СПИСКАХ «РЕЧИ ТОНКОСЛОВИЯ ГРЕЧЕСКОГО»<sup>1</sup>

**Александр Николаевич Левичкин**

к. филол. н., старший научный сотрудник Словарного отдела

Институт лингвистических исследований РАН

199053, Россия, г. Санкт-Петербург, Тучков пер., 9. alevi66@gmail.com

SPIN-код: 2193-7283

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9508-1899>

ResearcherID: C-4742-2018

Статья поступила в редакцию 14.03.2018

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Левичкин А. Н. О списках «Речи тонкословия греческого» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 30–38. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-30-38

**Please cite this article in English as:**

Levichkin A. N. O spiskakh «Rechĭ tonkosloviya grecheskogo» [About Manuscripts of *Rechĭ Tonkosloviya Grecheskogo*]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 30–38. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-30-38 (In Russ.)

Рассматривается история открытия и публикации списков памятника древнерусской лексикографии «Речи тонкословия греческого». До настоящего времени было известно четыре списка данного памятника, открытых Н. К. Никольским, П. К. Симони и М. Фасмером. Наиболее полным изданием «Речи тонкословия греческого» до настоящего времени считается издание 1922 г. М. Фасмера по всем четырем спискам. Однако при исследовании оказалось, что одна из указанных М. Фасмером рукописей, а именно РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1655, не содержит исследуемого памятника. В то же время автор статьи обнаружил другую рукопись, содержащую «Речь тонкословия», список РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1648, при исследовании которой установлено, что именно она и привлекалась М. Фасмером для издания. Эта рукопись известна в научной литературе, она содержит особую редакцию «Речи тонкословия греческого» с другим расположением словарных статей. Нами дается описание сборника РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1648, а также приводится описание тематических групп лексики, представленных в данном списке. Таким образом, исправляется источниковедческая ошибка, которая повторяется в современных исследованиях по древнерусской лексикографии. Доказывается, что для изучения и публикации данного словаря необходимо привлекать не список РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1655, указанный М. Фасмером, а список РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1648. В статье приводятся указания и на другие рукописи, в которых содержатся отрывочные материалы из «Речи тонкословия», что также поможет в изучении памятников исторической лексикографии.

**Ключевые слова:** «Речь тонкословия греческого»; азбуковники; историческая лексикография.

### 1. История открытия и публикации списков «Речи тонкословия греческого»

История открытия, изучения и публикации списков памятника «Речь тонкословия греческого» (хотя, по-видимому, само название памятника имеет множественное число «Речи тонкословия», далее мы используем принятое с публикации Н. К. Никольского название – «Речь тонкословия») неоднократно освещалась в научной литературе. Об этом писали М. Фасмер [Vasmer 1922: 1–10], Л. С. Ковтун [Ковтун 1963: 318–

389], М. П. Алексеев [Алексеев 1968: 29–30]. Первая рукопись (А – по классификации М. Фасмера, которую мы будем использовать в дальнейшем; современный шифр рукописи – РНБ, Софийское собр., № 1474) была упомянута П. М. Строевым в «Библиологическом словаре» [Строев 1882: 313]. В 1896 г. Н. К. Никольский издал этот список с исследованием и примечаниями. «“Рѣчь тонкословія” есть древне-русское руководство к разговорам на греческом языке, заключающее в себе собрание наиболее употре-

бительных выражений, необходимых при сношении с греками» [Никольский 1896: I]. Он уточнил: «Очевидно, что "Рѣчь тонкословія" была как бы справочною книжкою для путешественника, имевшаго необходимость вести переговоры с греками» [там же: III]. Ученый датировал список словаря не позже начала XVI в. В рецензии на работу Н. К. Никольского И. В. Помяловский отметил, что «рукопись, изданная г. Никольским, должна быть отнесена к XV (конец) веку» [Помяловский 1896: 41].

Второй список (В – по классификации М. Фасмера; современный шифр – СПб ИИ РАН, собр. Археографической комиссии, оп. 1, № 247) был известен П. К. Симони и Н. К. Никольскому. С разрешения А. А. Шахматова этой рукописью пользовался М. Фасмер [Симони 1908: 20].

3 марта 1906 г. М. Фасмер сделал доклад на заседании Императорского Общества любителей древней письменности «Рѣчь тонкословія греческаго, памятникъ средне-греческаго языка» [Отчеты о заседаниях 1908: 15–16]. Из отчета о заседании видно, что речь в докладе шла о двух списках, А и В, хотя в позднейшем издании памятника М. Фасмер сообщил, что открыл третий список в 1906 г. [Vasmer 1922: 7].

В 1908 г. П. К. Симони опубликовал третий список (D – по классификации М. Фасмера; современный шифр – РНБ, Соловецкое собр., № 860/970), найденный им в энциклопедическом сборнике новгородского архимандрита Исидора. (Об этом сборнике см.: [Крушельницкая 2006].) Присутствие в составе сборника статьи с «Речью тонкословія» указывает на то, что при его составлении привлекались рукописи из Кирилло-Белозерского монастыря.

В 1908 г. в «Византийском временнике» была опубликована статья М. Фасмера, которая, по словам автора, представляла собой его «несколько переработанный доклад», о котором шла речь выше. В данной статье к трем известным спискам М. Фасмер добавил четвертый, который он нашел в составе сборника XVII в., содержащего Азбуковник (рукопись С; современный шифр – РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1655). Здесь впервые была представлена стемма четырех списков. Выводы, к которым пришел М. Фасмер, отличались от таковых предшественников: он считал, что памятник был создан в XIII в. на Афоне [Фасмер 1908].

В 1912 г. М. Фасмер сделал доклад на симпозиуме славистов, где отнес «Речь тонкословія» уже к концу XV в. и, как и раньше, утверждал, что она написана на Афоне [Vasmer 1912].

В 1922 г. М. Фасмер издал «Речь» по четырем указанным спискам. Во вступительной статье дается краткая характеристика списков, а также

повторена стемма, опубликованная в 1908 г. Время и место создания памятника – конец XV в. на Афоне.

В 1925 г. Г. А. Ильинский в рецензии на издание М. Фасмера высказал предположение, что «Речь» хотя и была написана на Афоне, но не выходцем из Северной Руси, а афонским монахом родом из Галицкой Руси, т. к. текст словаря совмещает в себе черты южнорусские с великорусскими. Это объясняется, по мнению Ильинского, тем, что уже первые списки были переписаны северно-великорусами [Ильинский 1925].

Интересен следующий факт, не упоминавшийся в научной литературе: в протоколах заседаний АН СССР 1926 г. опубликовано следующее сообщение: «Доложены (sic!) сообщение АНИ, что в типографии хранятся с 1908 г. напечатанные 8 листов неоконченной работы М. Р. Фасмера: "Речь тонкословія греческаго", и письмо М. Р. Фасмера, объясняющее причины такого замедления. Постановлено издание ликвидировать, предложив АНИ сброшировать 25 экземпляров и передать в Книгохранилище; письмо М. Р. Фасмера приложить к протокольным бумагам» [Известия 1928: 1786]. Из данного сообщения следует, что в Архиве РАН должны были сохраниться корректурные экземпляры для издания «Речи», готовившегося в 1908 г.

В книге «Русская лексикография эпохи Средневековья» 1963 г. Л. С. Ковтун рассматривала «Речь тонкословія», опираясь на исследования и публикацию списков Н. К. Никольским, П. К. Симони и М. Фасмером [Ковтун 1963: 318–389]. В работе подробно рассматривается состав лексики памятника и его связь с азбуковниками, публикации полного текста «Речи» не приводится.

Указанная история открытия списков «Речи» повторена затем в современных исследованиях по исторической лексикографии (см.: [Алексеев 1968: 28–35], а также [История лингвистических учений 1991: 205–207] и [История русской лексикографии 1998: 45–49]).

## **2. О списке РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1655**

Остановимся на списке С, который и является главным предметом нашего рассмотрения (в дальнейшем – Пог. 1655). В статье 1908 г. М. Фасмер указывает только датировку (XVII в.) и шифр – Погодинское собрание, № 1655. Материалы списка С приводятся в текстологических сопоставлениях для построения взаимоотношения списков. Список С – более поздний, но с другим порядком слов, чем в остальных списках.

Более подробная характеристика рукописи С дается М. Фасмером в издании [Vasmer 1922: 7]. Текст очень неполный, представлен в сборнике,

содержащем Азбуковник, рукопись относится к XVII в. «Речь тонкословия» занимает л. 159v–164 и 164v–192v (так отмечено у М. Фасмера). Л. С. Ковтун о списке С отмечает только следующее: «Список очень несовершенный. Вслед за этим словарем идет “Толкование языка половецкого”» [Ковтун 1963: 328]. Фотовоспроизведение списка РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1655, л. 153об.–154, представлено в: [Алексеев 1968: 32–33].

Рассмотрим состав Пог. 1655. Рукопись Пог. 1655 была куплена М. П. Погодиным в составе собрания П. М. Строева (это сборник № 231, «№ 231. Алфавить и разныя статьи грамматическія, числомъ 8, писанъ скорописью XVII в., въ 4, 209 л.», см.: [Барсуков 1878: 383]) и представляет собой типичный «строевский сборник», составленный из отрывков разных рукописей. Состав сборника следующий (здесь и далее учитывается карандашная нумерация в правом верхнем углу):

л. I. Содержание, сделанное, по-видимому, рукой П. М. Строева. Названия разделов повторяются на соответствующих листах рукописи.

л. 1–153об. Азбуковник (Первый Азбуковник по классификации Л. С. Ковтун, характеристику списка см.: [Ковтун 1989: 50–52, 107–109, 114, 122]).

л. 153об. Тайнопись, «сиа книга имя списавшаго имать».

л. 153об. Толкование слова «папа».

л. 154–163об. Заголовок Строева: «П. Латинско-Еллинская фразеологія». Здесь приводятся несколько небольших текстов, написанных в два столбца (латинский и греческий тексты даются транскрипцией): на латинском и русском «изложение правої вѣре афанасіа епскапа» (л. 154–156), на греческом и русском «за млтву стыхъ» (л. 156–156об.), «слава тебѣ бже» (л. 156об.), «црѣю нбснѣи» (л. 156об.–157), «свтѣи бже стѣи» (л. 157), «прѣтаѣ трѣца помилуй насъ» (л. 157), «ѡче нашъ» (л. 157об.), «гдѣ помилуй» (л. 157об.), «приидѣте поклонимса» (л. 157об.–158), «херувимскаѣ пѣснь» (л. 158–158об.) «бгѣ никто ж видѣ» (л. 158об.–159), «исповѣданіе православныя вѣры» (л. 159–159об.), на латинском и русском продолжение «исповедания» (л. 160–163об.).

л. 164. Словарь «толкованіе, половецкаго азыка, на русскіи» (см.: [Ковтун 1963: 318–326, 383–385]).

л. 164об.–166. «Сіа азбука истолкована вкратцѣ, ѡ бжѣственнаго писаніѣ, умъ влекуще к покаанію», молитвы в азбучном порядке.

л. 166об.–175об. «Стѣо иванна дамаскина ѡ осми частех слова».

л. 176–192об. Грамматика в вопросах и ответах.

л. 193–199об. «Рѣчи жидовскаго азыка» (см.: [Ковтун 1963: 10–154, 398–420]).

л. 200–201об. Послесловие, рассказывающее о составителе книги.

л. 202–206. «Сказаніе рѣчемъ недовѣдомымъ» (см.: [Ковтун 1989: 25]).

л. 206–207об. Толкование неудобъ познаваемым речам (см.: [Ковтун 1963: 216–268, 314–315, 421–431]).

л. 207об. «псалтырь, красен с гуслими» (см.: [Ковтун 1963: 155–215, 432–435]).

л. 207об.–209об. «Стѣо василіа великаго. тлкъ сщнническаг чина».

Итак, из состава рукописи видно, что рукопись содержит Азбуковник, а также на л. 164 находится словарь «толкованіе, половецкаго азыка, на русскіи», как это и указано Фасмером, однако тексты на 159об.–164 и 164об.–192об. не совпадают с «Речью тонкословия». Еще Никольский отмечал, что в составе «Речи тонкословия» по списку А имеется «несколько молитвословий и названий праздников и песнопений на греческом языке – без перевода» [Никольский 1896: II]. Эти небольшие отрывки, возможно, и не входили в основной состав «Речи тонкословия», а входили в конвой памятника, но и эти молитвы не совпадают с текстами из Пог. 1655. Иначе говоря, список Пог. 1655 не содержит «Речи тонкословия».

### 3. О списке РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1648

Рукопись РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1648 (далее – Пог. 1648) была рассмотрена в работе А. В. Пруссак, где указано, что в ее составе имеется «греческий словарик, почти дословно совпадающий с “Рѣчью тонкословія греческаго”, изданной Н. Никольским» [Пруссак 1915: 56–57]. Это указание осталось без внимания последующих исследователей, и в работе Л. С. Ковтун 1989 г., где характеризуется данная рукопись в связи с описанием старшего Азбуковника, «греческий словарик» не упоминается [Ковтун 1989: 51–52]. Но именно эта рукопись содержит текст «Речи тонкословия». Пог. 1648 – это рукопись в 8-ку (размер листа 11,2 × 17,5 см), 121+X л., полуустав разных почерков. Филигрانی бумаги: лилия на щите под короной, внизу буквы WR, близка к Дианова, Костюхина, № 951 (датировка – 1669, 1672 г.). По л. 82–109 имеется скрепа: м|о|н|а|х|к|а|л|и|с|т|р|а|т|ѣ|во|кс|е(?)|н|с|к|а|г|о|м|о|н|а|с|т|р|ѣ|р|а. Состав сборника Пог. 1648 следующий:

л. I. Приклеен к верхней крышке переплета. Запись: «№ 31 оца арсенія».

л. II–Vоб. Чистые.

л. 1–80. Первый Азбуковник (см.: [Ковтун 1989: 9, 39, 51–52, 114]).

л. 81–81об. Вруцелето. Лист меньшего размера, по-видимому, из другой рукописи.

л. 82–96. Вруцелета, по характеру изображения, скопированные с л. 81–81об.

л. 96об. Две фразы из «Речи тонкословия», написанные другим почерком:

«Не может ми сѧ уден ми боро  
чимъ немощиуешь. шлому то сома уденене-  
геро».

л. 97. Вруцелето.

л. 97об. Чистый.

л. X–Хоб. Чистый.

л. 98–119. «С бгѡмъ починаем языкь греческий блѣви отче; Запятая дѣлить греческия, а точки росииский».

л. 119–119об. Толкования названий букв еврейского языка.

л. 119об. «Во псалмѣх. ѡалтыр есть умь...» (см.: [Ковтун 1963: 155–215, 432–435]).

л. 119об. О мерах длины.

л. 119об.–120. «произволники црѣкых сановник» (такие же «произвольники» имеются в списке РНБ, Соловецкое собр. № 860/970, л. 52об.–53об.).

л. 120–121. «произволники црѣковных санох» (см.: Сол. 960/970 л. 51–52об.).

Список «Речи тонкословия» содержит 1531 словарную статью (не учитываются названия разделов). Для сравнения, в списке А – 3058 словарных статей. Порядок следования тематических групп лексики в Пог. 1648 отличается от такового группы списков АВД. Приведем последовательность некоторых тематических групп, отдельные группы имеют киноварные заглавия:

Имена Бога (л. 98).

Названия небесных чинов (л. 98).

Богородица, Креститель (л. 98–98об.).

Праведный-грешный (л. 98об.).

«о нѣли» (л. 98об.).

«праздни[к]ы.» (л. 99).

«о црѣвѣ.» (л. 99–99об.).

«w члѣвѣтцехъ» (л. 100–101).

«w болестѣ члѣвѣка» (л. 101).

«w родоу члѣско<sup>М</sup>» (л. 101–101об.).

«w свѣтилѣхъ нбснѣх.» (л. 101об.–102).

«w мори і о рѣках. и w рыбах» (л. 102–102об.).

«w земли і яж на ней» (л. 102об.–103об.).

«w градех и w домех і о селѣхъ» (л. 103).

Еда (л. 103–103об.).

«w риза<sup>Х</sup> ими же сѧ вблѣ<sup>Ч</sup>» (л. 103об.–104).

«w златѣ і о прочы<sup>Х</sup>» (л. 104–104об.).

«w волосте<sup>Х</sup>, і весе<sup>Х</sup>. і wоще<sup>Х</sup>.» (л. 105).

«w скотѣхъ.» (л. 105–105об.).

«w всякы<sup>Х</sup> птица<sup>Х</sup> чисты<sup>Х</sup> и нечѣи» (л. 105об.).

«w звѣрех чистыхъ и w нечѣистыхъ» (л. 106).

«w гадѣхъ.» (л. 106).

«w коупли.» (л. 106–106об.).

«о числех.» (л. 106об.).

«азбука греческа.» (л. 106об.).

«мсцы.» (л. 106об.–107).

«о мѣсяцех различными языки.» (л. 107).

«w варенїи» (л. 107–107об.).

«w сосоуде<sup>Х</sup>.» (л. 107об.).

«w печенїи» (л. 107об.).

О застолье (л. 107об.).

Различные слова и фразы (л. 107об.–109об.).

«w куплѣ» (л. 109об.–110).

Различные слова и фразы (л. 110–111).

«о писмѣ» (л. 111).

«w рукодѣли» (л. 111).

Различные слова и фразы (л. 111–112об.).

«w званїи» (л. 113).

«w слнїцѣ» (л. 113–113об.).

Различные слова и фразы (л. 113об.–114).

«w займѣхъ.» (л. 114).

О здоровье (л. 114).

Различные слова и фразы (л. 114–114об.).

О родственных связях и возрасте (л. 115).

Различные слова и фразы (л. 115–117об.).

«w стѣи литоргїи и проча.» (л. 117об.–119).

К Пог. 1648 подходит характеристика М. Фасмера: «более поздний С – полнее D, но совершенно нарушающий порядок слов других списков нашего текста» [Фасмер 1908: 448].

Если сравнить разночтения, относящиеся к списку С, которые сделаны Фасмером в издании, то оказывается, что они почти точно совпадают с материалами, представленными в Пог. 1648. Приведем примеры из начальной части издания Фасмера (указывается страница и строка):

С бгѡмъ починаем языкь греческий блѣви отче; Запятая дѣлить греческия, а точки росииский, (л. 98, Фасмер, 11–2).

Премлѣтивъ, переелиимонь. (л. 98, Фасмер, 11–3).

Учнкъ, мартистис. (л. 98об., Фасмер, 12–13).

Булат, енданикон. (л. 104, Фасмер, 13–3).

[Н]для, пирїакы. (л. 98об., Фасмер, 14–2).

Четверток, пѣтї. (л. 98об., Фасмер, 14–6).

Введенїе, та їсодѣл. (л. 99, Фасмер, 14–14).

Воскрснїе лазарево, и анастисис ту лазореву. (л. 99, Фасмер, 14–19).

Вхадъ во иерслмъ, и ваиофорос (л. 99, Фасмер, 14–21).

Вечерѧ таинаѧ, о дипнос о мистикос. (л. 99, Фасмер, 15–5).

[Поп] облачится, w иереус форени (л. 117об., Фасмер, 32–1).

Да ямы хлѣбъ, ни фамен псомин. (л. 118, Фасмер, 33–4).

Незваны пришли, акелести ильфон. (л. 118, Фасмер, 33–6).

Пришли, налфанъ. (л. 118, Фасмер, 33–16).

Адят, тругосї евсиуси (л. 118об., Фасмер, 34–10).

Ъли, ефан. (л. 118об., Фасмер, 34–11).

Тина, ласпи. (л. 103, Фасмер, 36–8).

Полунощница, мисанихтика (л. 99об., Фасмер, 46–17).

Заусренла, кулитиа. (л. 99об., Фасмер, 46–18).

Валы, слапидес. (л. 102, Фасмер, 47–3).

Колодяз копаньи, враска Пигади. (л. 102об., Фасмер, 47–7).

Белуга, морона. (л. 102об., Фасмер, 47–15).

Хребтина, хирахи (л. 102об., Фасмер, 47–17).

Шеврига, цигига. (л. 102об., Фасмер, 47–17).

Стерляд цигигиа (л. 102об., Фасмер, 47–17).

Сомъ, гланос. (л. 102об., Фасмер, 47–19).

Коропъ кипринари. (л. 102об., Фасмер, 48–1).

Оугоръ ахъли. (л. 102об., Фасмер, 48–4).

Персть, хама (л. 102об., Фасмер, 48–11).

Камень петра. (л. 102об., Фасмер, 48–14).

Лъс, гуня. (л. 102об., Фасмер, 48–14).

Горы, ория. (л. 102об., Фасмер, 48–16).

Липа, елура. (л. 103, Фасмер, 48–20).

Таким образом, можно считать, что в издании Фасмера использованы материалы именно списка Пог. 1648.

О причинах, объясняющих указанную путаницу, можно сказать следующее. Обе рукописи, Пог. 1655 и Пог. 1648, относятся к XVII в., обе содержат Азбуковник, что и привело к смешению. Вероятно, у Фасмера не было достаточно времени, чтобы проверить результаты своей работы и исправить корректуру готовящегося издания, а вскоре после Октябрьской революции он покинул Россию и больше не имел возможности обращаться к интересовавшей его рукописи. Поэтому ошибку, которая оказалась в его бумагах на каком-то этапе, ему было исправить затруднительно. Возможно, дополнительную информацию по этому вопросу могло бы дать письмо Фасмера, о котором шла речь выше и которое должно храниться в Архиве РАН.

#### 4. О других списках «Речи тонкословия»

Два списка «Речи тонкословия» имеются в копиях, которые были сделаны с рукописи РНБ, Соловецкое собр., № 860/970 (см. об этом: [Крушельницкая 2006]). Это рукопись РНБ, ОСРК, Q.XVII.305, где текст «рѣчи тонкословия греческагѡ» занимает л. 67об.–73, и рукопись РНБ, Соловецкое собр., № 924/1034, где «Речь» занимает л. 50–53. В обоих указанных списках текст «Речи» совпадает со списком РНБ, Соловецкое собр., № 860/970. Так же, как и там, в середину памятника вставлен другой лексикографический труд – словарь ономастики, начинающийся с толкований «Симионъ. послушание, иона. голубъ».

Еще один отрывок из «Речи тонкословия» приводит Х. М. Лопарев в «Описании рукописей Общества любителей древней письменности». В описании сборника, имеющего отрывок из Азбуковника, Лопарев дает следующую сноску: «На задней крышке Апостола XVI в., виденного мною у одного торговца, скорописью нач. XVII в. написано: бочка – впуци, гвоздь у бочки – тило, кадь – кадесъ, кочарга – кивари, помы – апопанейто, чистость – каваарионене, покры – скепато, постави – стисето, положи – еесто, испеци – џисете, печено – џимено, сыро – омо, тепло – зесто<sup>h</sup> хлиаси, тепло ли есть – зестоиепе, о вагили, ефезмата – ества, еегинъ – ядение, половина – имилосъ, зъло – анеросъ, ядите – еаете, пйте гости – пинете еили, ели – еваганъ, пили – епионъ, чело<sup>m</sup> бью<sup>t</sup> – проскынуси, сыти – хортаземени, подавайте пити – дидете на пинунъ, когда будетъ время..., тесла – слева, каминный топоръ – оскордъ, замокъ – клидора, желъзный замокъ – сидорико клидора, ключъ – аниктари, чъпъ – аписида, пробой – ма<sup>3</sup>тоники, гвоздь желъзный – краи, огниво – пировуло, кремьнь – халики, трудъ (чит. тругъ) – иска, сѣра горячая – таои, сырныи свѣчи – тя еокѣри, высѣчи огонь – пире воли се истя, огонь – истия, головня – ауло, углие – каргуна, пламень – лавра..., мельница – мила, мельникъ – милона, жерновы – литари, токарни – торна, трезубъ – тредонди, рѣзцы – глиотя, швецъ портный – раотись, игла – вело-ни» [Лопарев 1893: 352]. Данный отрывок делится на две части, которые точно (отсутствует только статья «железный замок») совпадают в материалах и порядке следования со статьями из Пог. 1648. Статьи «бочка» – «когда будетъ время» см. л. 107об., статьи «тесла» – «игла» см. л. 104об.

В конвое Азбуковников (т. е. статьях постоянного состава, окружающих словарный свод) также присутствуют материалы, сходные с «Речью тонкословия». Это статьи, озаглавленные: «Вопрос и противу ответ по гречески», «Счет по гречески», «Имена днем по гречески», которые обычно идут после словарного свода в числе других статей.

Приведем статьи «Вопрос и противу ответ по гречески» с разбивкой на отдельные строки по списку РГБ, ф. 173.I, № 230, л. 327об.–328об.:

Вопросъ и противу ѡвѣт по гречески.

Войсонъ. гдѣ еси былъ.

Ты. что.

Манда. вѣстеи.

Тонъ икусень. слышал еси.

Икуса калонъ. слышал есмь добру.

Мандатонъ. вѣсть.

Едокеинъ. дал.

Сѡ феосъ. бгъ.

Пандаху. всюды.

Ирининъ. мирно.  
 Ката гинъ по землѣ.  
 Ке ката фаласанъ. || и по морю.  
 Ги. землѣ.  
 Иринуи. мирна.  
 Фаласаръ. море.  
 Галини. тихо.  
 Каравѣ. корабли.  
 Гатаси. пришло.  
 Пола. много.  
 Ке пандокъ. и всего.  
 Иферанъ. принесли.  
 Пола. много.  
 Иврѣн фусъ анемось полись. тѣжко имъ было  
 на море.  
 Епирастисанъ. блудили.  
 Ис тинъ фаласанъ по морю.  
 То псомин до. хлѣба.  
 Еплиросе. не стало.  
 Топось. землѣ.  
 Макрїисъ. далече.  
 То пу н агораси. купити.  
 Оуден ехи. нѣгде.  
 Фовось. страхъ.  
 Гтонъ. былъ.  
 Мегасъ. великъ.  
 Сперимнисанъ. вѣчались. ||  
 Ке тинъ зоин до. и живота.  
 Ефовифисанъ. болгиса.  
 Ке тонъ фанайтонъ  
 ло февъ. но бѣ.  
 Е париде. не презрѣ.  
 Ке ериханъ. и возрадовалиса.  
 Скумпїса. дошли.  
 Из лименан. пристанища.  
 То прагланъ тонъ. товар свои.  
 Епулисан то. испродали.  
 Ке алонъ. а инои.  
 Егороасанъ. купили.  
 Едивисанъ ис ос тан допои тонъ. пошли паки  
 во свою землю.  
 Харумѣни. радуещеса.  
 Еоухарїстонъ. благодаръ.  
 Тои февнъ. бѣа.  
 По изданию М. Фасмера это статьи 438, 413–425, 218–226, 228–231, 239, 247, 249–258, которые разделены в списке А, здесь составляют единый отрывок. Эти же статьи присутствуют и в других списках азбуковников, иногда с другим заглавием («греческия рѣчи»), например: РГБ, ф. 256, собр. Н. П. Румянцева, № 1; РГБ, ф. 37, собр. Т. Ф. Большакова, № 292; РНБ, Основное собр., Q. XVI.4; РНБ, Основное собр., Q. XVI.20; РНБ, Соловецкое собр., № 13/13; РНБ, Соловецкое собр., № 14/14; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1145.

Статьи «Счет по гречески» и «Имена днем по гречески», аналогичные разделам в «Речи тонкословия», встречаются, например, в азбуковниках: РГБ, ф. 256, собр. Н. П. Румянцева, № 1; РГБ, ф. 37, собр. Т. Ф. Большакова, № 292; РГБ, ф. 173.1, собр. МДА, № 230; РГБ, ф. 299, собр. Н. С. Тихонравова, № 1; РНБ, Основное собр., Q. XVI.2; РНБ, Основное собр., Q. XVI.6; РНБ, Основное собр., Q. XVI.12; РНБ, Соловецкое собр., № 15/15; РНБ, Соловецкое собр., № 19/19; РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1081. Однако в настоящее время нельзя сказать, были ли они заимствованы из «Речи тонкословия» или имели собственную текстологическую историю.

### Выводы

Для исследования и возможного издания «Речи тонкословия греческого» необходимо привлечь не список Пог. 1655, а список Пог. 1648. Список Пог. 1648, вероятно, и является списком С, описанным Фасмером, но по случайности его материалы были отнесены к Пог. 1655. Материалы «Речи тонкословия», представленные также в рукописях РНБ, ОСПК, Q. XVII.305 и РНБ, Соловецкое собр., № 924/1034, в отрывке, опубликованном Лопаревым, и в конвое азбуковников, помогут также в уточнении текстологической истории памятника.

### Примечание

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00774а.

### Список источников

Пог. 1648 – РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1648.  
 Пог. 1655 – РНБ, собр. М. П. Погодина, № 1655.

### Список литературы

*Алексеев М. П.* Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века: Исследование, тексты, комментарии. Л.: Наука, 1968. 156 с.  
*Барсуков Н. П.* Жизнь и труды П. М. Строева. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1878. 668 с.  
*Дианова Т. В., Костюхина Л. М.* Филиграния XVII века: По рукописным источникам ГИМ. Каталог. М.: ГИМ, 1988. 246 с.  
*Извлечения* из протоколов заседаний Академии наук СССР // Известия Академии наук СССР. Л.: Изд-во АН СССР, 1926. Сер. VI. Т. 20, вып. 18. 1848 с.  
*Ильинский Г. А.* [Рец. на кн.:] Vasmer M. Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch. Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexicographie. – Leipzig, 1922 // Известия Отделения русского языка и словесности Российской Академии Наук.

1924. Л.: Изд-во Российской Академии Наук, 1925. Т. XXIX, II. С. 395–396.

*История лингвистических учений: Позднее средневековье.* СПб.: Наука, 1991. 365 с.

*История русской лексикографии / отв. ред. Ф. П. Сороколетов.* СПб.: Наука, 1998. 610 с.

Ковтун Л. С. Русская лексикография эпохи Средневековья. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1963. 446 с.

Ковтун Л. С. Азбуковники XVI–XVII вв.: Старшая разновидность. Л.: Наука, 1989. 296 с.

Крушельницкая Е. В. Келейный сборник новгородского митрополита Исидора Соловецкой библиотеки № 860/970: Опыт изучения одной энциклопедической компиляции конца XVI века // История в рукописях и рукописи в истории: сб. науч. трудов к 200-летию Отдела рукописей Российской национальной библиотеки. СПб.: Российская национальная библиотека, 2006. С. 379–398.

Лопарев Х. М. Описание рукописей Императорского Общества любителей древней письменности. Ч. II. Рукописи в четверку. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1893. 409 с.

Никольский Н. Речь тонкословия греческого. Русско-греческие разговоры XV–XVI века // Памятники древней письменности. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1896. Т. CXIV. XXVIII + 86 с.

Отчеты о заседаниях Императорского Общества любителей древней письменности в 1905–1907 году. С приложениями // Памятники древней письменности и искусства. СПб.: Тип. М. А. Александрова, 1908. Т. CLXX. С. 15–16.

Помяловский И. В. Отзыв о книге: Памятники Древней Письменности. CXIV. Речь тонкословия греческого. Русско-греческие разговоры XV–XVI века. Сообщение Николая Никольского. 1896 // Памятники древней письменности. СПб.: Тип. И. Н. Скороходова, 1897. Т. CXXIV. С. 41–42.

Пруссак А. В. Описание азбуковников, хранящихся в рукописном отделении Императорской Публичной библиотеки. Пг.: Тип. М. А. Александрова, 1915. 57 с.

Симони П. Памятники старинной русской лексикографии: По русским рукописям XV–XVII стол. Вып. 3. Половецкий и Татарский словарики. Речи тонкословия греческого / Отд. оттиск из Известий Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1908. Т. XIII, кн. 1. 38 с.

Строев П. М. Библиологический словарь и черновые к нему материалы П. М. Строева. Издан под ред. А. Ф. Бычкова // Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб.: Тип. Императорской Академии Наук, 1882. Т. XXIX, № 4. С. 1–532.

Фасмер М. «Рѣчь тонкословія греческаго» – памятник среднегреческого языка XIII в. // Византийский временник. СПб.: [б. и.], 1908. Т. XIV, вып. 1. С. 446–462.

Vasmer M. Über den Wert der altrussischen Azbukovniki für die mittelgriechische Wortforschung // Actes du seizième Congrès international des orientalistes. Session d'Athènes (6–14 avril 1912). Athènes: Hestia, 1912. P. 161–163.

Vasmer M. Ein russisch-byzantinisches Gesprächbuch: Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexikographie. Leipzig: [In Kommission bei Markert & Petters], 1922. 180 p.

## References

Alekseev M. P. *Slovari inostrannykh yazykov v russkom azbukovnike 17 veka: issledovanie, teksty, kommentarii* [Foreign Language Dictionaries in the Russian alphabet book of the 17th century: research, texts, comments]. Leningrad, Nauka Publ., 1968. 156 p. (In Russ.)

Barsukov N. P. *Zhizn' i trudy P. M. Stroeve* [P. M. Stroeve's Life and Works]. St. Petersburg, Tipografiya V. S. Balasheva Publ., 1878. 668 p. (In Russ.)

Dianova T. V., Kostyukhina L. M. *Filigrani 17 veka: po rukopisnym istochnikam GIM. Katalog* [Watermarks of the 17th century: on handwritten sources of the State Historical Museum. Catalog]. Moscow, State Historical Museum Publ., 1988. 246 p. (In Russ.)

*Izvlecheniya iz protokolov zasedaniy Akademii nauk SSSR. Izvestiya Akademii nauk SSSR* [Extracts from the protocols of the sessions of the USSR Academy of Sciences. Proceedings of the USSR Academy of Sciences]. Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1926, series 6, vol. 20, issue 18. 1848 p. (In Russ.)

Il'inskiy G. A. Book review on Vasmer M. Ein Russisch-byzantinisches Gesprächbuch. Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexikographie. Leipzig, 1922. *Izvestiya Otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Rossiyskoy Akademii Nauk. 1924* [Bulletin of the Department of Russian Language and Literature of the Russian Academy of Sciences. 1924]. Leningrad, Russian Academy of Sciences Publ., 1925, vol. 29, II, pp. 395–396. (In Russ.)

*Istoriya lingvisticheskikh ucheniy: Pozdnee srednevekov'e* [History of Linguistic Studies: Late Middle Ages]. St. Petersburg, Nauka Publ., 1991. 365 p. (In Russ.)

*Istoriya russkoy leksikografii* [History of Russian lexicography]. Ed. by F. P. Sorokoletov. St. Petersburg, Nauka Publ., 1998. 610 p. (In Russ.)

Kovtun L. S. *Russkaya leksikografiya epokhi Srednevekov'ya* [Russian lexicography of the Middle

Ages]. Moscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publ., 1963. 446 p. (In Russ.)

Kovtun L. S. *Azbukovniki 16–17 vv.: starshaya raznovidnost'* [Alphabet books of the 16<sup>th</sup>–17<sup>th</sup> centuries: the Oldest Version]. Leningrad, Nauka Publ., 1989. 296 p. (In Russ.)

Krushel'nitskaya E. V. Keleynnyy sbornik novgorodskogo mitropolita Isidora Solovetskoj biblioteki № 860/970: opyt izucheniya odnoy entsiklopedicheskoj kompilyatsii kontsa 16 veka [The collection of the Novgorod Metropolitan Isidor from the Solovki Library No. 860/970: The experience of studying one encyclopedic compilation of the late 16th century]. *Istoriya v rukopisyakh i rukopisi v istorii: sb. nauch. trudov k 200-letiyu Otdela rukopisey Rossiyskoj natsional'noy biblioteki* [History in manuscripts and manuscripts in history: collection of scientific papers for the bicentennial of the Department of Manuscripts of the Russian National Library]. St. Petersburg, National Library of Russia Publ., 2006, pp. 379–398. (In Russ.)

Loparev Kh. M. *Opisanie rukopisey Imperatorskogo Obshchestva lyubiteley drevney pis'mennosti. Ch. II. Rukopisi v chetverku* [The Description of the manuscripts of the Imperial Society of Ancient Literature Lovers. Part II. Manuscripts in quatr]. St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences, 1893. 409 p. (In Russ.)

Nikol'skiy N. Rech' tonkosloviya grecheskogo. Russko-grecheskie razgovory 15–16 veka [Rech' tonkosloviya grecheskogo. Russian-Greek conversations of the 15<sup>th</sup>–16<sup>th</sup> century]. *Pamyatniki drevney pis'mennosti* [Monuments of ancient writing]. St. Petersburg, *Imperial Academy of Sciences Publ.*, 1896, vol. 114, XXVIII + 86 p. (In Russ.)

Otchety o zasedaniyakh Imperatorskogo Obshchestva lyubiteley drevney pis'mennosti v 1905–1907 godu. S prilozheniyami [Reports on the meetings of the Imperial Society of Ancient Literature Lovers in 1905–1907]. *Pamyatniki drevney pis'mennosti i iskusstva* [Monuments of ancient writing and art]. St. Petersburg, Publishing House of M. A. Aleksandrov, 1908, vol. CLXX, pp. 15–16. (In Russ.)

Pomyalovskiy I. V. Otzyv o knige: pamyatniki drevney pis'mennosti. CXIV. Rech' tonkosloviya grecheskogo. Russko-grecheskie razgovory 15–16 veka. Soobshchenie Nikolaya Nikol'skogo. 1896 [Book review: monuments of ancient writing. CXIV.

Rech' tonkosloviya grecheskogo. Russian-Greek conversations of the 15–16<sup>th</sup> centuries. A message from Nikolai Nikolsky. 1896] *Pamyatniki drevney pis'mennosti* [Monuments of ancient writing]. St. Petersburg. Publishing House of I. N. Skorokhodov, 1897, vol. 124, pp. 41–42. (In Russ.)

Prussak A. V. *Opisanie azbukovnikov, khranyashchikhsya v rukopisnom otdelenii Imperatorskoj Publichnoy biblioteki* [Description of the alphabet books stored in the manuscript department of the Imperial Public Library]. Petrograd, Publishing House of M. A. Aleksandrov, 1915. 57 p. (In Russ.)

Simoni P. *Pamyatniki starinnoy russkoj leksikografii: po russkim rukopisyam 15–17 stol. Vyp. 3. Polovetskiy i Tatarskiy slovariki. Rechi tonkosloviya grecheskogo* [Monuments of ancient Russian lexicography: on Russian manuscripts of the 15–17 centuries. Issue. 3. Cuman and Tatar dictionaries. Rechi tonkosloviya grecheskogo]. Copy from the Bulletin of the Department of Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences. St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences Publ., 1908, vol. 13, book 1. 38 p. (In Russ.)

Stroev P. M. Bibliologicheskiy slovar' i chernovye k nemu materialy P. M. Stroeva [The Bibliographic dictionary and rough materials for it of P. M. Stroev]. Ed. by A. F. Bychkov. *Sbornik otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii nauk*. [The Collection of the Department of Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences] St. Petersburg, Imperial Academy of Sciences Publ., 1882, vol. 29, issue 4, pp. 1–532. (In Russ.)

Fasmer M. "Rech' tonkosloviya grecheskago" – pamyatnik srednegrecheskogo yazyka 13 v. ["Rech' tonkosloviya grecheskago" – a monument of the Middle Greek language of the 13 century]. *Vizantiyskiy vremennik*. St. Petersburg, 1908. vol. 14, issue 1, pp. 446–462. (In Russ.)

Vasmer M. Über den Wert der altrussischen Azbukovniki für die mittelgriechische Wortforschung. *Actes du seizième Congrès international des orientalistes. Session d'Athènes (6–14 avril 1912)*. Athènes, Hestia, 1912, pp. 161–163. (In Germ.)

Vasmer Max. *Ein Russisch-byzantinisches Gesprächsbuch: Beiträge zur Erforschung der älteren russischen Lexikographie*. Leipzig, [In Kommission bei Markert & Petters], 1922. 180 p. (In Germ.)

## ABOUT MANUSCRIPTS OF *RECH TONKOSLOVIYA GRECHESKOGO*

**Alexander N. Levichkin**

Senior Researcher in the Department of Dictionaries

Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sciences

9, Tuchkov pereulok, Saint Petersburg, 199053, Russian Federation. alevi66@gmail.com

SPIN-code: 2193-7283

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9508-1899>

ResearcherID: C-4742-2018

Submitted 14.03.2018

The article reviews the history of the discovery and publication of the manuscripts of Greek-Old Slavonic dictionary *Rech tonkosloviya grecheskogo*. At the present time, four manuscripts of this monument are known, these discovered by N. K. Nikolsky, P. K. Simoni and M. Vasmer. Today the publication by M. Fasmer in 1922 with the study of the four manuscripts is considered to be the most complete edition of *Rech tonkosloviya grecheskogo*. However, one of the manuscripts mentioned by M. Vasmer, that is No. 1655 in the National Library of Russia, coll. of Pogodin, does not contain the monument under study. At the same time, the author of the article discovered another manuscript containing *Rech tonkosloviya grecheskogo* (No. 1648 in the National Library of Russia, coll. of Pogodin), in the course of studying which it turned out that exactly this manuscript was taken by M. Vasmer for publication. This manuscript has been known in scientific literature, it contains a special edition of *Rech tonkosloviya grecheskogo* with a different arrangement of dictionary entries. The article describes the manuscript of the National Library of Russia, coll. of M. P. Pogodin, No. 1648, and thematic groups of vocabulary represented in it. Thus, a mistake repeated in modern studies on Old Russian lexicography has been corrected. The author of the article proves that to study and publish this dictionary it is necessary to involve not the manuscript of the National Library of Russia, coll. of M. P. Pogodin, No. 1655, indicated by M. Fasmer, but the manuscript of the National Library of Russia, coll. of M. P. Pogodin, No. 1648. Moreover, the article contains references to other manuscripts, which include fragmentary materials from *Rech tonkosloviya grecheskogo*. These new vocabulary materials containing the dictionary in question will also help in studying the monuments of historical lexicography.

**Key words:** *Rech tonkosloviya grecheskogo*; azbukovnik dictionary; historical lexicography.

УДК 81'38:81'37

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-39-46

## ДИСКУРСИВНЫЕ ФУНКЦИИ ЧАСТИЦЫ «И» В ГАЗЕТНЫХ СТАТЬЯХ

**Барбора Млинарова**

аспирант кафедры русского языка и стилистики

**Пермский государственный национальный исследовательский университет**

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. barboramlynarova@gmail.com

SPIN-код: 6682-5092

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1566-3689>

ResearcherID: F-8709-2018

*Статья поступила в редакцию 06.03.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Млинарова Б. Дискурсивные функции частицы «и» в газетных статьях // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 39–46. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-39-46***Please cite this article in English as:***Mlynarova B. Diskursivnye funktsii chastsitsy «i» v gazetnykh stat'yakh [The Discourse Functions of the Particle “i” in Newspaper Articles]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 39–46. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-39-46 (In Russ.)*

Исследование посвящено семантическому аспекту дискурсива «и», функционирующего в качестве частицы, в текстах статей на политические, экономические темы и темы по культуре в федеральных и местных газетах. Установлено, что в отличие от данных толковых словарей и «Русской грамматики – 80» (где отражены результаты анализа художественных текстов) в газетном дискурсе используются не все зафиксированные ранее значения, вместе с тем появляются новые функции частицы «и». В рассмотренных контекстах реализуется введение оценки (наличие факта и его оценки), актуализируются такие функции, как усиление уступительного, присоединительного, выделительного значений, а также ограничение и уточнение высказывания. Кроме того, дискурсив «и» в качестве частицы использован в комплексе с другими дискурсивами для большего усиления значимости условно-следственных отношений, ограничения и усиления уточнения, а также уступительного, присоединительного, выделительного значений и усиления результативности и оценки. Значит, можно считать, что в газетных текстах частица «и» широко употребляется для выражения различных дополнительных смыслов. Реализуется оценочная функция, актуализируется усиление уступительного, присоединительного, выделительного и других значений. Подчеркивается, что частица «и» способствует функционально-семантическому расширению за счет выражения дополнительных смыслов. Тем самым подтверждается предположение о том, что частица «и», занимая во вспомогательной системе дискурсивов *периферийную* позицию, играет важную функционально-семантическую роль.

**Ключевые слова:** дискурсивы; частица «и»; газетный дискурс; семантика; функции частиц.

В последние десятилетия одной из актуальных и активно разрабатываемых проблем лингвистики является интерпретация дискурсивов, под которыми понимаются действительно «вспомогательные коммуникативные единицы – особые единицы коммуникации» [Викторова 2015: 10]. Эти единицы противопоставлены основным, самостоятельным единицам разных уровней языка, передающим в речи фактуальную информа-

цию. На основе изучения обширной литературы, посвященной данным коммуникативным единицам, и в результате рассмотрения дискурсивов в русском и английском языках Е. Ю. Викторова интерпретирует совокупность этих единиц как особую – *вспомогательную систему* дискурса. Ядро этой системы составляют «лексические способы выражения вспомогательности – слова и устойчивые речевые обороты (иногда предложе-

ния), функция которых заключается в помощи коммуникантам в процессе создания дискурса, его реализации и восприятия» [Викторова 2015: 13]. Отсюда можно предположить, что рассматриваемый нами дискурсив, а именно частица «и», занимает во вспомогательной системе дискурсивов *периферийную* (однако, на наш взгляд, важную) позицию.

Естественно, что разнообразные функции дискурсивов в тексте, уникальность и сложность определения этих функций в контексте привлекают все больше внимания современных ученых. И сегодня несомненно: семантика дискурсивов разнопланова и трудноуловима. Еще акад. В. В. Виноградов писал, что «знание правил сложения смыслов, отчасти опирающегося на исследование законов взаимодействия грамматических и семантических уровней слова, с одной стороны, и законов сочетаний слова, а также сцепления сочетаний и фраз – с другой, помогло бы яснее и точнее воспроизводить систему функционирования и соотношения всех этих единиц в структуре языка и в речевой коммуникации» [Виноградов 1969: 5].

В связи с такой перспективой представляется актуальной цель статьи – получить данные о функционировании частицы «и» в текстах газетно-публицистического дискурса. Известно, что частицы – «слова с емкой, многоплановой семантикой» [Токарчук 2010: 66], которая проявляется на разных смысловых уровнях и обуславливает функциональный, т. е. синтагматический потенциал каждой такой единицы в высказывании, тексте, а также парадигматические отношения, в которые она вступает с синонимами, омонимами, функционально близкими словами.

Интересна и поучительна для исследования функционального аспекта языковых единиц история формирования концепции таких языковых единиц, как дискурсивы, в частности частицы. Учитывая различные подходы к изучению этих языковых единиц, в специальном исследовании русских частиц Е. А. Стародумова подчеркивает, что «частицы – в отличие от предлогов и союзов – это служебные слова, которые невозможно охарактеризовать как грамматические средства... Они служат главным образом для выражения значений коммуникативного плана, а именно для обозначения *различных отношений говорящего* (субъекта оценки) к содержанию высказывания в целом или к какой-то его части, а также к другому субъекту – адресату, собеседнику (курсив наш. – Б. М.)» [Стародумова 1997: 3].

Сфера употребления этой частицы весьма широка, без ограничений письменной или устной формами русской речи, а также тем или иным функциональным стилем. Таким образом,

частица «и» имеет широкоупотребительный характер.

Данная статья содержит материалы наблюдений над функционированием частицы «и» в текстах современных федеральных и местных газет. При этом возникают вопросы, как у слова «и» могут использоваться его коммуникативные свойства, как реализуется его семантико-прагматический потенциал в публицистических текстах на разные темы, наконец, насколько семантико-функциональные возможности этого слова отвечают потребностям публицистического стиля речи.

В русском языке единица «и» является полифункциональной и представляет собой звуковой и графический омоккомплекс (термин В. В. Бабайцевой, см.: [Бабайцева 2000: 198]). Значит, эта единица может выступать в роли не только одной части речи, но и нескольких, тем самым создает омонимы, которые могут иметь свои синонимы. Как отмечается в «Словаре служебных слов», это «двойники» частицы, функционально отличные от нее [Стародумова 2001: 10]. Такими «двойниками» могут выступать союзы, наречия, местоимения, междометия и даже некоторые глаголы.

В русском языке известно незначительное количество таких единиц, которые не имеют никакого отношения ни к какому другому классу, значит, образуют автономную группу слов, называемую собственно частицами. Это, например, такие слова, как *бы, -ка, не, разве, неужели, эж* и др. Эти слова не функционируют как словоомонимы других классов слов, т. е. ни как союзы, ни как наречия, местоимения и т. д. В толковых словарях они всегда выступают в качестве частиц. По словам Е. А. Стародумовой, «к собственно частицам следует отнести и многие другие единицы, которые проявляют свойства других частей речи, но существуют прежде всего как частицы и именно так квалифицируются в первую очередь в специальных исследованиях и в словарях» [Стародумова 2002: 7]. К таким частицам Е. А. Стародумова относит, например, *даже, лишь, только, же, ведь, именно, ли, ни, ну* и др. Но большинство частиц вступает в отношения с другими классами слов, в основном с наречиями, союзами, междометиями, модальными словами.

В традиционных исследованиях слово «и» относится к союзам и частицам. Однако, если говорить о функционировании языковой единицы, надо учитывать функциональные и семантические условия, которые приводят к использованию «и» как языковой единицы в качестве союза-частицы. «Характерной чертой многих частиц является то, что по своему строению и функциям

они сближаются с наречиями, союзами или междометиями и не всегда могут быть им строго противопоставлены» [РГ – 80: 722]. В «Русской грамматике – 80» говорится, что иногда в одной и той же единице, т. е. слове, близость этих значений – частицы и других частей речи – настолько тесна, что «противопоставление друг другу таких значений как принадлежащих словам разных классов оказывается неправомерным и слово должно классифицироваться как «частица-союз», «частица-наречие», «частица-междометие» и т. д.» [РГ – 80: 723]. Это значит, что данные слова совмещают в себе не только качества и признаки частицы, но и признаки другого слова из этих классов. Кажется, что «и» ближе к союзу, но в некоторых случаях «влияет не на общую грамматическую правильность высказывания, а лишь на его смысл» [Николаева 1985: 37].

Так, авторы словарей XX в. (Д. Н. Ушаков, С. И. Ожегов и др.) рассматривают «и» в группе частиц, которые выражают одновременно присоединение и усиление, при этом соединяют в себе значения слов «еще» и «даже» (*Так оно и случилось. Он и вышел*). Вместе с тем в «Словаре современного русского литературного языка» В. И. Чернышева (1956) отмечается, что частица «и» усиливает, подчеркивает и выделяет значение слова, перед которым она стоит, причем одновременно соответствует не только частице «даже», но и «также», «уж», «хоть» или «же» (или в вопросительных предложениях ближе к «неужели») [ССРЛЯ 1956: 9–10].

«Русская грамматика» 1980 г. рассматривает «и» в качестве модальной многозначной частицы, которая вносит значения: следственной обусловленности (*и* здесь равно *поэтому; возникают* отношения условия – следствия); соответствия, своевременности; выделения, акцентирования; несоответствия должному, ожидаемому; высокой степени признака; противопоставленности и уступки (*и* здесь равно *хотя*); соответствия обычному; принятия решения, согласия [РГ – 80: 728–729].

Дискурсив «и» в каждом отдельном случае проявляется семантически лишь в том синтаксическом окружении, в высказывании или в контексте (тексте), где находится. Благодаря связи с другими словами или самостоятельным предложением эта единица выделяется в качестве союза или частицы. Дискурсив «и» выражает отношения этих единиц с другими. Такое функционально-семантическое расхождение в употреблении «и» в качестве союза или частицы позволяет говорящему использовать его в разных контекстах и выражать разные отношения и смыслы. Функции союза и частицы заметно меняют значение передаваемой информации. Приведем примеры:

- 1) *Я пригласила в гости Олю и Наташу.* В этом предложении можно говорить о союзе «и», поскольку «и» логически соединяет однородные члены, выступая в присоединительном/сочинительном отношении с другим словом предыдущего предложения. Сочинение – это «синтаксическая связь грамматически равноценных единиц языка, из которых ни одна не может быть сведена на положение компонента другой, располагающей своей системой средств выражения – сочинительными союзами» [ЛЭС 1990: 484].
- 2) *Я пригласила в гости Олю. И Наташу.* – Парцелляция (синтаксическая связь), при которой, на наш взгляд, семантика союза не изменилась.
- 3) *Все пришли. И Петя пришел.* – «Все» и «Петя» соотносятся как общее и частное, т. е. 'в том числе', – появляется новый, дополнительный оттенок смысла, новая сема уточнения; в этом случае можно говорить о выделительном значении частицы «и», когда из общего выделяется или уточняется именно один компонент. Выделенный объект становится центральным для данного высказывания, и таким образом частица «и» выступает здесь и как показатель определенности.
- 4) *Погода изменилась. И выпал снег.* – «Собственно соединительное значение, т. е. нейтральная информация, соединение в чистом виде, целиком опирается на союз» [РГ – 80: 617].
- 5) *Погода изменилась. И снег выпал.* – Здесь высказывания соотносятся как «сообщения о фактах», причем во втором высказывании добавляется сема 'долгожданный снег'.

Результатом нашего исследования является прежде всего количество частиц «и», зафиксированных в газетных текстах на политические, экономические темы и темы, связанные с вопросами культуры, в федеральных и местных газетах. Так, в текстах (объемом в 54 тысячи словоупотреблений) федеральных газет («Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и «Российская газета») частица «и» употреблена 216 раз, а в текстах местных газет – 171. Как представляется, для исследованных публицистических текстов разной проблематики это довольно высокий показатель. Наши наблюдения говорят о том, что наиболее широкий контекстуальный репертуар употреблений частицы «и» представлен в газетном дискурсе по культуре (164). Хотя нельзя не отметить, что частица «и» широко употребляется во всех текстах газетного дискурса – в текстах на политические темы выявлено 102 контекста с частицей «и», на экономические – 121.

Тонкая грань между дискурсивами – союзом и частицей «и» – наблюдается при функциониро-

вании частицы в усилительном значении. Невозможно не удивляться «языковой чуткости» акад. А. М. Пешковского, обратившего внимание на то, что «самая усилительность частиц, по существу дела, сближает их с союзами: всякое усиление выступает всегда на фоне чего-то неусилительного, и этот фон дается (или предполагается) в предыдущей речи» [Пешковский 1956: 167]. Не случайно и В. В. Виноградов отмечает, что «повидимому, усилительные функции легче совмещаются с союзными значениями, чем ограничительные» [Виноградов 1947: 667].

Как было нами замечено, переход слова «и» в позицию союза-частицы обычно наблюдается в сложных предложениях. В таких случаях частица «и» вносит в предложение дополнительный экспрессивно-эмоциональный оттенок, обусловленный маркировкой усилительного значения:

1. *Это не кинотеатр, а концертный зал – по этому может кто-то и огорчиться, но кино мы показывать не будем* (Искра, 14.12.2017). В данном случае дискурсив «и» можно заменить синонимичной частицей «хоть / хотя» с уступительным значением.
2. В другом случае частицу «и» в усилительном значении можно заменить частицей «тоже»: *Он уже давно стал праздником деревни, по этому как мы могли не провести его и в этом году?* (ПН, 07.08.2017).
3. Дискурсив «и» по своему значению «синонимизируется» с частицей «даже»: *В пёрышки Меньшикова, равно белые или чёрные, зритель бы поверил (на время спектакля). Он бы и молчал так, чтобы на него все смотрели не отрываясь* (АН, 14.06.2017).
4. Близость функции частицы «и» к ее союзным значениям наблюдается, когда частица указывает на то, что пишущий на основании сходства объединяет элементы одного и того же множества: *Героями пьесы выступают не только люди, но и домашние животные, которые следят за своими хозяевами и решают предотвратить совершаемый ими грех. Есть в спектакле и ангелы* (ПН, 03.05.2017).

В данном случае, с одной стороны, «и» присоединяет предмет или лицо к группе аналогичных ему объектов, с другой – одновременно выполняет выделительную и присоединительную функции, причем выделенный автором объект является центральным в коммуникативном отношении. Можно сказать, что здесь частица «и» выступает и как показатель определенности, причем в высказываниях этого типа дискурсив «и» легко соотносится с дискурсивами «тоже» или «также», поскольку благодаря употреблению слова «и» расширяется семантика подобных предложений за счет множества объектов, ситуа-

ций и т. п.: *Над этой шуткой долго смеялись все присутствующие на встрече. Не удержался и глава Юсьвинского района Михаил Евсин* (ПН, 28.08.2017).

Дискурсив «и» может выполнять одновременно соединительную и усилительную функции, причем в этом случае вносится значение совместности действия или признака, типичного для субъекта высказывания или объекта сравнения. Например: *Как и любых родителей, меня глубоко волнует, в каких условиях они будут жить, когда вырастут* (АН, 01.06. 2017). Ср.: *Как любых родителей, меня глубоко волнует, в каких условиях они будут жить, когда вырастут*. Если опустить дискурсив «и», то возникнет значение собственно сравнения двух субъектов. Тогда значение совместности исчезает. Следовательно, дискурсив «и» здесь выступает и как элемент отношений, и как частица со сравнительно-сопоставительной функцией.

Причинно-следственные отношения наблюдаются в предложениях типа: *Почти все участники хора влюблены в песни. Клавдия Мозгалёва, начиная разговор, напомнила знакомые слова: «Легко на сердце от песни веселой, она, как друг, нас ведёт и зовёт. И тот, кто с песней по жизни шагает, нигде и никогда не пропадет»* (Искра, 01.12.2017).

Кроме того, в предложении дискурсив «и» в сочетании с «если» может уточнять значение союза «если», иметь значение ограничительной частицы, причем ограничивается второй компонент: *На улице сейчас не очень чисто, где-то грязно, где-то пыльно. Перерывы между сеансами небольшие, мы физически не успеем пропылесосить весь зал. И если не надевать бахилы, то к последним сеансам в зале тоже будет грязно и пыльно* (Искра, 30.11.2017).

Но частица «и» в соединении с союзом «если» может придать союзу уступительное значение: *Я хочу «сложных снов» – слова из эссе Татьяны Толстой «Чужие сны». Это, конечно, поэтическое преувеличение, но в нём заключён очевидный «закон Петербурга»: без воли к культуре («сложных снов») в этом городе делать нечего. Для простой человеческой жизни на свете много иных городов. И если читатель, обычный любопытствующий читатель, всерьёз погрузится в книгу «В Питере жить», он может попасться на крючок и шагнуть из «простой человеческой жизни» к «сложным снам»* (АН, 01.06.2017).

Особого внимания заслуживает частица в предложениях типа: *Художественному барабанному бою учатся школьники из села Моховое Кунгурского района. И у них это неплохо получается* (Искра, 23.11.2017). Или другой пример: *Так фантазируют дети. И нет этой фантазии*

никаких преград, она фонтанирует, брызжет невероятными идеями (Искра, 21.11.2017). Как видим, дискурсив «и» находится в начале второго предложения, устанавливая смысловое соотношение двух предложений. Итак, можно сказать, что в таких случаях к сообщению о факте присоединяется особое – оценочное – высказывание.

Сосредоточивая внимание на семантических и функциональных особенностях дискурсива «и» в качестве частицы, нельзя не подчеркнуть, что в рассмотренных текстах частицы, как уже было установлено В. Н. Ярцевой, «легко входят в комплексные сочетания друг с другом или с единицами других частей речи» [ЛЭС 1990: 579]. Мы подтверждаем также и обобщение Т. М. Николаевой, что наиболее часто эта частица употребляется в комплексе с другими дискурсивными словами: «Русское «и» обладает способностью активно вступать в соединение с другими частицами, образуя комплексы, которые одни авторы считают соединением частиц, а другие – единой сложной частицей. Но «и» может быть расположено как справа, так и слева от другой частицы – «так и», «вот и», «даже и», «и то», «и тот» и т. д.» [Николаева 1985: 37].

По нашим наблюдениям, частица «и» вносит в предложение самые различные значения и оттенки, выступает в комплексных употреблениях в качестве разных дискурсивов: «да и», «вот и», «и вот», «еще и», «хоть и», «так и», «пусть и», «да хоть бы и», «еще и не», «ведь и», «и то не», «так и нет», «даже и», «же еще и», «даже и не», «так и не», «и еще не», «пусть даже и» и т. д.

Важно отметить, что частица «и» нередко используется в комплексном употреблении с другими дискурсивными словами, причем наиболее типично для частицы оформление градационных отношений с дискурсивом «да»: *По мнению Габриэля, саммит был лишь «сигналом, что соотношение сил на международной арене изменилось». Да и вообще «США при президенте Трампе стали несостоятельны в качестве ведущей западной державы»* (АН, 01.06.2017). Или другой пример: *Промышленная, родом с громадных плантаций, на вкус больше напоминает не то пенопласт, не то поролон. Да и полезных свойств в ней не многим больше, чем в куске резины* (АН, 14.06.2017). Роль «да» состоит в маркировке компонента как «сильного» члена в предложении, который понимается в данных случаях как усиленный компонент уверенности в сообщении. Дискурсив «да и» всегда в этих случаях начинает новое предложение, которым подчеркивается (усиливается, акцентируется) сообщение или его часть и выражается уверенность.

Частица «и» в газетных текстах встречается довольно часто и в комплексном употреблении

«так и». По РГ – 80, «частица «так и» в сочетании с глаголом оформляет значение напряженности, интенсивности и полноты действия» [РГ – 1980: 726]. То есть можно сказать, что комплексный дискурсив функционирует в предложениях для усиления уточнения: *Если в названии сборника вам слышится парафраз известной песни Шнура («В Питере – пить!»), то это так и задумывалось: книгу предваряют два эпиграфа – из И. Анненского и из песни Шнурова* (АН, 01.06.2017). Или другой пример: *Предполагалось сделать Крым китайской житницей и перевалочным пунктом своих товаров в Европу – то, что они сегодня сделали под Минском. Те 15 млрд долларов так и лежат на счетах в китайском банке* (АН, 01.06.2017).

С частицей «и» формируются также комплексы «вот и» и «и вот»:

*В ноябре КРК уже получил своё название – «Премьер зал» (его придумала кунгурячка Любовь Кырнаева), а теперь вот и принял на своей сцене первое большое мероприятие* (Искра, 14.12.2017). Частица «вот» в этом случае усиливает противопоставление, выраженное наречиями «в ноябре» и «теперь»; союз «и» соединяет два предиката – «получил название» и «принял»; соединение этих дискурсивов дает комплексный дискурсив «вот и», расширяющий контекст, передающий смысл ‘долгожданный’, ‘желаемый результат’ – *вот и принял*.

В ином случае дискурсив «вот и» выступает в значении усиления отношения общего и частного, связи с известным: *Писатель давно твердит о необходимости мечты, сказки, да хоть бы и иллюзии (но величественной) в жизни человека. Вот и авторы сборника «В Питере жить» так или иначе заморожены иллюзиями и мечтами* (АН, 01.06.2017).

Еще один пример, когда дискурсив «вот и» выполняет функцию усиления уточнения (или следствия): *Сажать – моя работа, ничего личного. Вот и знакомым «с той стороны» закона всегда прямо говорю: если будет за что – посажу* (АН, 06.07.2017).

В текстах газетных статей нередко фиксируем дискурсивную конструкцию «и вот»: *11 октября ребята от 10 до 13 лет снимали свой первый мультфильм. Весь предыдущий месяц они писали сценарий, рисовали актёров и фон, и вот дошли, наконец, до самой важной части – съёмки* (Искра, 02.11.2017). Конструкция «и вот» здесь указывает на усиление результативности и оценки. Кроме того, дискурсив «и» в сочетании с частицей «вот» присоединяет высказывание, связанное по смыслу с предшествующим изложением, т. е. уточняет его посредством присоединения: *Да, я сыграла редкостную особу, которая по ма-*

лейшему поводу вышвыривает людей на улицу. **И вот** она решила уволить очередную, попавшую под руку жертву (АН, 01.06.2017).

Акцентирование причинно-следственных отношений достигается не только самостоятельной частицей «и», как мы видели выше, но и сочетанием частицы «и» с частицей «вот»: *Кочевский район – это охотничий район. Раньше, когда молодой человек приносил первую свою дичь, его посвящали в охотники. Поэтому я сразу понял, что соревнования должны быть охотничьи. **И вот** так я связал в одно мероприятие и фольклор, и соревнования, и охоту* (ПН, 11.06.2017).

Интересно и комплексное употребление дискурсива «еще и» со значением усиления: *Также Максим Решетников отметил, что «задача краевых властей – «вытащить» людей из «четырех стен», создать условия для развлечений и просвещения, доказать, что досуг – это не только телевизоры и гаджеты, а **еще и** искусство, творчество и общение»* (Искра, 12.11.2017). Этот усилительный комплекс синонимичен союзу «не только, но и». В другом случае он усиливает функцию присоединения: *В этом году будут разыгрываться три кубка – Большой, Средний и Малый, за каждый из которых будет **еще и** денежное вознаграждение: 6000, 4000 и 2000 рублей соответственно* (ПН, 07.09.2017).

В усилительном значении частица «и» употребляется и в соединении с дискурсивом «просто»: *И западные спортивные функционеры далеко не идеальны и не безгрешны, а порой **и просто** циничны в принятии решений, касающихся сборной России* (Искра, 24.10.2017).

Частица «и» может сочетаться с частицей «хоть» и придавать усилительное значение: *Лучшие результаты в СМС-голосовании были у четырех артистов – Вера Шадрин в великолепном народном костюме прекрасным сильным голосом спела «В роще калина», Евгений Климов душевно исполнил под гитару «Гаджын я шогын», Екатерина Гордеева проникновенно спела «Летний дождь», а Людмила Сыстерова, **хоть и** выступала последней, покорила сердца зрителей песней «Окаянный»* (ПН, 23.09.2017). Комплекс с частицей «хоть» объединяется усилительным значением при выражении уступительной экспрессии.

В заключение можно сказать, что в газетных статьях дискурсив «и» употребляется довольно широко, причем в качестве не только союза, но и частицы – как в простых, так и сложных предложениях. Как показал анализ материала, вне зависимости от конкретных контекстуальных – синтаксических, сочетаемых – условий функционирования единицы «и» в текстах газетного

дискурса можно говорить об определенных вариантах общего значения данного дискурсива. По сравнению с толковыми словарями и «Русской грамматикой – 80», в которых исследование осуществлено прежде всего на материале художественной речи, в газетных текстах выявлены не все значения, но в то же время зафиксированы и новые функции частиц. В рассмотренных контекстах реализована оценочная функция (наличие факта и его оценки), представлена актуализация усилительного, уступительного, присоединительного, выделительного значений, ограничения, уточнения и причинно-следственных отношений. Кроме того, дискурсив «и» использован в комплексе с другими дискурсивами с разными установками: для усиления значимости условий, ограничения и усиления уточнения; уступительного, присоединительного, выделительного значений; кроме того, для усиления результативности и оценки. Таким образом, можно считать, что газетным текстам присуще употребление частицы «и» для выражения различных дополнительных смыслов, что способствует ее функционально-семантическому расширению. Тем самым подтверждается наше предположение о том, что частица «и», занимая во вспомогательной системе дискурсивов периферийную позицию, соответствует важному функционально-семантическому назначению.

#### Список источников

Статьи в федеральных газетах: «Российская газета» (РГ), «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» (2015–2018 гг.); в местных газетах (Пермского края) – «Аргументы недели» (АН), «Искра», «Пармановости» (ПН) (2017–2018 гг.).

#### Список литературы

- Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка. М.: Дрофа, 2000. 640 с.
- Викторова Е. Ю. Вспомогательная система дискурса. Саратов: Изд. центр «Наука», 2015. 404 с.
- Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М.; Л.: Учпедгиз, 1947. 785 с.
- Виноградов В. В. О взаимодействии лексико-семантических уровней с грамматическими в структуре языка // Мысли о современном русском языке. М., 1969. С. 5–24.
- Ерещенко М. В. Конструкции со служебным словом «и» и их разновидности в современном русском языке: дис. ... канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2001. 150 с.
- Николаева Т. М. Функции частиц в высказывании (на материале славянских языков). М.: Наука, 1985. 168 с.

*Лингвистический энциклопедический словарь (ЛЭС) / под ред. В. Н. Ярцевой; Ин-т языкознания АН СССР. М.: Сов. энцикл., 1990. 682 с.*

*Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-е. М.: Гос. учеб.-пед. изд-во, 1956. 512 с.*

*Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой: в 2 т. М.: Наука, 1980. Т. 1. 784 с. (РГ – 80).*

*Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой: в 2 т. М.: Наука, 1980. 710 с.*

*Словарь служебных слов русского языка (СССРЯ) / А. Ф. Прияткина, Е. А. Стародумова, Г. Н. Сергеева [и др.]. Владивосток, 2001. 363 с.*

*Стародумова Е. А. Русские частицы: учеб. пособие. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. 68 с.*

*Стародумова Е. А. Частицы русского языка (разноаспектное описание). Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2002. 292 с.*

*Токарчук И. Н. Функционирование частиц в художественном тексте (к вопросу о стилистическом приеме и идиостиле) // Мир русского слова. СПб., 2010. № 4. С. 66–71.*

*Чернышев В. И. (ред.). Словарь современного русского литературного языка: в 17 т. Т. 5. И–К. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1956. 1918 с.*

*Шимчук Э. Г., Щур М. Г. Словарь русских частиц / под ред. В. Гладрова. Берлин, 1999. 147 с.*

## References

Babaytseva V. V. *Yavleniya perekhodnosti v grammatike russkogo yazyka* [The Phenomena of Transitivity in the Russian Language Grammar]. Moscow, Drofa Publ., 2000. 640 p. (In Russ.)

Viktorova E. Yu. *Vspomogatel'naya sistema diskursa* [The Auxiliary System of Discourse]. Saratov, Nauka Publ., 2015. 404 p. (In Russ.)

Vinogradov V. V. *Russkiy yazyk. Grammaticheskoe uchenie o slove* [The Russian Language. Grammatical Studies of the Word]. Moscow, Leningrad, Uchpedgiz Publ., 1947. 785 p. (In Russ.)

Vinogradov V. V. *O vzaimodeystvii leksiko-semanticeskikh urovney s grammaticheskimi v strukture yazyka* [On the Interaction of Lexico-Semantic Levels with Grammatical Levels in the Structure of a Language]. *Mysli o sovremennom russkom yazyke* [Thoughts about the modern Russian language]. Moscow, 1969, pp. 5–24. (In Russ.)

Ereshchenko M. V. *Konstruktsii so sluzhebnyim slovom «i» i ikh raznovidnosti v sovremennom russkom yazyke*. Diss. kand. filol. nauk [Construc-

tions with the Structural Word “i” and Their Varieties in Modern Russian. Cand. philol. sci. diss.]. Rostov-on-Don, Rostov State Pedagogical University Press, 2001. 150 p. (In Russ.)

Nikolaeva T. M. *Funktsii chastits v vyskazyvanii (na materiale slavyanskikh yazykov)* [The Functions of Particles in the Utterance. On the Material of Slavic Languages]. Moscow, Nauka Publ., 1985. 168 p. (In Russ.)

*Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar'* [Linguistic Encyclopedic Dictionary]. Ed. by V. N. Yartseva: *Institute of Linguistics of Academy of Sciences of USSR*. Moscow, Sovetskaya Entsiklopedia Publ., 1990. 682 p. (In Russ.)

Peshkovskiy A. M. *Russkiy sintaksis v nauchnom osveshchenii* [Russian Syntax in Scientific Coverage]. 7<sup>th</sup> edition. Moscow, State Pedagogical Publishing House of the Ministry of Education of the RSFSR, 1956. 512 p. (In Russ.)

*Russkaya grammatika: v 2 t.* [Russian Grammar: in 2 vols.]. Ed. by N. Yu. Shvedova. Moscow, Nauka Publ., 1980, vol. 1. 784 p. (In Russ.)

*Russkaya grammatika: v 2 t.* [Russian Grammar: in 2 vols.]. Ed. by N. Yu. Shvedova. Moscow, Nauka Publ., 1980. 710 p. (In Russ.)

*Slovar' sluzhebnykh slov russkogo yazyka* [The Dictionary of Functional Words of the Russian Language]. Ed. by A. F. Priyatkina, E. A. Starodumova, G. N. Sergeeva et al. Vladivostok, 2001. 363 p. (In Russ.)

Starodumova E. A. *Russkie Chastitsy: uchebnoe posobie* [Russian Particles: textbook]. Vladivostok, FEFU Press, 1997. 68 p. (In Russ.)

Starodumova E. A. *Chastitsy russkogo yazyka (raznoaspektnoe opisanie)* [Particles of the Russian Language (Multi-Aspect Description)]. Vladivostok, FEFU Press, 2002. 292 p. (In Russ.)

Tokarchuk I. N. *Funktsionirovanie chastits v khudozhestvennom tekste (k voprosu o stilisticheskome prieme i idiostile)* [Functioning of Particles in Literary Text (to the Question of a Stylistic Device and Individual Style)]. *Mir russkogo slova* [The World of Russian Word], 2010, issue 4, pp. 66–71. (In Russ.)

*Slovar' sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: v 17 t.* [The Dictionary of Contemporary Literary Russian: in 17 vols.]. Ed. by V. I. Chernyshev. Moscow, Leningrad, USSR Academy of Sciences Publishing House, 1956, vol. 5. I–K. 1918 p. (In Russ.)

Shimchuk E. G., Shchur M. G. *Slovar' russkikh chastits* [The Dictionary of Russian Particles]. Ed. by V. Gladrova. Berlin, 1999. 147 p. (In Russ.)

## THE DISCOURSE FUNCTIONS OF THE PARTICLE “I” IN NEWSPAPER ARTICLES

**Barbora Mlynarova**

Postgraduate Student in the Department of Russian Language and Stylistics

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. barboramlynarova@gmail.com

SPIN-code: 6682-5092

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1566-3689>

ResearcherID: F-8709-2018

*Submitted 06.03.2018*

The article considers the functional-semantic aspect of the particle “i” as a discourse marker. It is a supplementary communicative unit and it functions in spoken and written language. The paper analyzes its functioning in political, economic, culture articles in federal and local newspapers of Perm Krai. By means of the functional-stylistic analysis, it has been established that only some meanings given in dictionaries and *Russian Grammar – 80* (based on the analysis of literary texts) are used in the newspaper discourse. At the same time, the paper reveals some new functions of the particle “i”. This particle signals the introduction of evaluation (fact and its evaluation) and actualizes increasing meanings of concession, conjunction, highlighting, as well as limiting and clarification. In addition, as a particle used in combination with other discourse markers, “i” also has a functional-semantic aspect. Examples of this kind of combinations show properties of semantic-pragmatic realization in the newspaper discourse. As a discourse marker, the particle “i” in combination with other units is used to emphasize the conditional-consequential relationships, limiting and to increase clarification. Such combinations also have the meanings of concession, conjunction, highlighting, and they increase the performance and evaluation. Thus, we can assume that in newspaper texts the particle “i” is widely used to express various additional meanings, which contributes to the functional-semantic extension. Use of this particle provides implementation of the evaluation function (fact and its evaluation), actualizes increasing concession, linking, highlighting meanings and others. Thus, in the newspaper discourse the particle “i” is widely used as a conjunction and also as a particle in simple and complex sentences. In spite of the peripheral position of the particle “i” in the auxiliary discursive system, it performs an important communicative and discursive function due to its functional and semantic significance.

**Key words:** discourse markers; particle “i”; newspaper discourse; semantics; functions of particles.

УДК 811.161.1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-47-54

## ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОБЫТИЯ В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ СО СТРУКТУРОЙ ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

**Елена Ивановна Селиверстова**

д. филол. н., профессор кафедры русского языка

для гуманитарных и естественных факультетов

**Санкт-Петербургский государственный университет**

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9. selena754@inbox.ru

SPIN-код: 2032-2115

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2020-0061>

ResearcherID: N-2892-2013

**Сунь Шуян**

аспирант кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания

**Санкт-Петербургский государственный университет**

199034, Россия, г. Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9. ssy198812@gmail.com

SPIN-код: 5479-5951

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3322-8162>

ResearcherID: U-4614-2017

*Статья поступила в редакцию 06.02.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

*Селиверстова Е. И., Сунь Шуян. Особенности представления события в русских пословицах со структурой простого предложения // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 47–54. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-47-54*

**Please cite this article in English as:**

Seliverstova E. I., Sun Shuyang. Osobennosti predstavleniya sobytiya v russkikh poslovitsakh so strukturoy prostogo predlozheniya. [Characteristics of Representation of Events in Russian Proverbs with the Structure of a Simple Sentence]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 47–54. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-47-54 (In Russ.)

К анализу понятий «событие», «событийность», «ситуация» и других и выделению признаков, приписываемых событиям, обращаются при интерпретации текста многие ученые.

Пословица, будучи знаком ситуации и принадлежа к текстам особого типа и жанра, в сфере представления событий проявляет специфику. Она ощущается в номенклатуре самих событий, включающей, среди прочих, события, имеющие двойной смысловой план (*Масленица, солнышко* и др.), и в способах их прямого или косвенного выражения – событийными именами, причастными формами глагола, видовременной и лексической семантикой глагола и др. (*пуганый, мука*), а также в характере расположения событий относительно друг друга. При этом, как показывает анализ паремий со структурой простого предложения – единиц предельно сжатых, значительная часть информации в них представлена в свернутом виде и потому пословица нуждается в домысливании и комментариях. Для подобной процедуры часто необходимы сведения экстралингвистического, лингвокультурологического характера, которыми не всегда располагает и носитель языка.

Пословицы существенно различаются и по степени эксплицитности / имплицитности вербализуемой информации, и по месту расположения, присутствия или отсутствия в паремии фрагментов событийной цепи, и по их семантической значимости для формирования значения единицы как целого.

Статья, посвященная изучению паремий со структурой простого предложения с точки зрения событийности, проливает свет и на характер формирования их содержания и его кодирования. Обнаруженные закономерности не являются национально маркированными, они присущи паремиям как единицам фольклорного жанра.

**Ключевые слова:** пословица; событие; ситуация; событийное имя; простое предложение; временные и причинные связи; эксплицитность; имплицитность.

Будучи чрезвычайно ёмкими и обладая сложной внутренней структурой, пословицы и поговорки вызывают большой интерес лингвистов, паремиологов и фольклористов, поскольку «при своей видимой простоте представляют собой весьма непростые образования» [Пермяков 1970: 8]. В данной статье мы обратимся к пословичным единицам (ПЕ) в форме простого предложения, поскольку, во-первых, пословицы с такой структурой являются, согласно данным З. К. Тарланова, самыми частотными [Тарланов 1970: 10] и, во-вторых, важной представляется следующая отмеченная им зависимость: «Чем меньше объем пословицы, тем больше вероятность использования ее в большем количестве ситуаций» [там же: 6], т. е. и простая синтаксическая структура ПЕ предполагает весьма сложные и разнообразные семантические особенности ее применения.

В ПЕ, хотя в них часто видят лишь единицы «назидательного жанра», отражаются основные черты и связи происходящего в действительном мире. Референтами пословиц и поговорок являются события и ситуации реальной действительности. При этом ситуации «отражаются в сознании языкового коллектива не целиком, а выделяются лишь отдельные черты, связи, присущие ситуациям». Они и составляют денотат ПЕ [Кипсабит 2002: 49].

*Событием* считается некое изменение исходной ситуации: внешней ситуации в повествуемом мире (естественные, акциональные и интеракциональные события) или внутренней ситуации того или другого персонажа (ментальные события). В художественном (нарративном) произведении представление о событийности связано с рядом признаков – с релевантностью происходящего изменения, необратимостью, неповторяемостью, переменной взглядов героя и др. (см. подробнее: [Шмид 2003: 10–13]).

В широком смысле к событиям относят все, что происходит, случается в мире. В более узком смысле событие есть «разновидность (наряду с процессами и состояниями) событий в широком смысле» [Булыгина, Шмелев 1997: 108]. Наиболее активно категория событийности – в разных ее аспектах – исследуется на материале языка СМИ [Демьянков 2004].

Сопоставляя события с категорией факта и понятиями «ситуация», «процесс», «действие»,

М. А. Степанова определяет событие как «динамическое явление, представляющее собой лично или социально значимое изменение состояния через проявление объектом некоторого своего свойства во времени и пространстве, либо через изменение количества или качества объектов, их свойств и отношений» [Степанова 2003: 5].

На происходящие события, занимающие особое место на оси жизни человека, можно взглянуть с трех точек зрения. Событие, во-первых, часто указывает на происшедшее; во-вторых, имевшие место события могут представляться точечными или развернутыми; в-третьих, маркированное событие не только уже произошло, оно может повторяться, т. е. опыт и оценки, накопленные за счет происходящих событий, могут маркировать и будущие сходные ситуации (см. подробнее: [Радзиевская 1981]).

Философский подход позволяет трактовать «событие» и «ситуацию» в качестве разных терминов, обозначающих одно или то же явление, осмысляемое по-разному. «О ситуации говорят, когда указывают на континуальность настоящего, о событии – когда указывают на происшедшее». Тогда «всякое событие является завершенной ситуацией, а всякая ситуация после завершения станет событием» [Тихонова 2002: 63].

В рамках гуманитарного подхода к постижению событийности и ситуационности бытия событие признается личностным, обладающим именем и смыслом. Эта триада «делает событие событием, а не моментом существования среди других моментов» [Липатова, Агапова 2014: 9]. Ученые видят в событийности «социально-антропологический феномен, конституирующий определенную форму истории, тип культуры». Ситуационность же видится в процессуальности событийности [там же]. В лингвистике «ситуация используется в качестве инструмента лингвистического анализа при описании события» [Жемчужникова 2016: 69].

Разработка теории событийности стала основанием для выделения категории непредметных объектов (НО), с помощью которых описывается событие. По мнению Н. Ю. Арутюновой, больше оснований говорить о событии тогда, когда непредметные объекты – процесс, действие, состояние, ситуация и др. – «налагаются друг на друга, частично пересекаются, следуя друг за

другом. Событийная сущность непредметных объектов входит в иную последовательность и в иные отношения с другими объектами на оси времени» [Арутюнова 1988: 198].

Помимо связей между НО в рамках события (событий), явленных в динамике на оси времени и познаваемых через изменения, следует помнить и о важных компонентах восприятия события – причинных признаках, прочно связанных с изменениями. Как пишет Б. В. Томашевский, «чем слабее причинная связь, тем сильнее выступает связь чисто временная» [Томашевский 1999: 109]. Данную точку зрения можно сформулировать иначе: чем слабее временная связь в событиях, тем сильнее выступает связь причинная.

Способность человека к осмыслению событий ведет к формированию концептуального представления о событии, появлению событий-идей (см. подробнее: [Демьянков 1983, 2004]). Так, в шутливой ПЕ *Один переезд равняется двум пожарам* присутствуют два событийных имени, позволяющих представить и соотнести масштаб наносимого человеку урона.

Возможность опустить конкретику в описании действий, относящихся к некоей ситуации и формирующих ее, обеспечивается наличием в сознании индивида «абстрактного структурированного концепта – фрейма событийной ситуации» [Тихонова 2002: 99]. Событийное имя (СИ) номинирует прототипическую модель события, формируемую на основе личного и коллективно обобщенного опыта. СИ объединяют именные и глагольные категории и способны «представлять фрагмент действительности, именуемый событием, со всеми его разнообразными характеристиками, как целостный факт» (см. подробнее: [Степанова 2003, 2014]).

Событийные имена – такие как *пожар*, *дождь*, *война*, *женитьба* и др. – представлены в значительном количестве и в ПЕ: *Экая пасха – шире рождества; Маслена широко разлилась: затопила великий пост; После драки кулаками не машут; После бани, хоть займи, но выпей; Торг без глаз, а деньги слепы: за что отдаешь, не видят; Долгие проводы – лишние слезы* и др.

Помимо СИ, сообщающих о событиях и связях между ними, к показу динамических фрагментов мира призваны глаголы. По мнению Н. Б. Лебедевой, «план содержания, соотносимый с глагольной формой, представляет собой полиситуативный, полисобытийный комплекс» [Лебедева 2012: 224].

Исключая ПЕ из фольклорных жанров, в которых на первое место выступает информационная функция, – былин, сказок и др., Д. Н. Мед-

риш относит ее к паремиологическим жанрам, отмеченным «наибольшей словесной характерностью и устойчивостью», где на первый план выступает слово (см. подробнее: [Медриш 1980]). ПЕ, обращаясь к реальности, к лицам и событиям, трансформирует их, «выворачивает» – для включения их в свой фольклорный мир [Путилов 2003: 36]. К паремиям в большой степени относятся такие особенности фольклорного отражения события, как уплотнение, сокращение, минимальная продолжительность событийного времени, т. е. дистанция между первым и последним по времени событием (фазами одного события), изображенным в тексте, и его дискретность: оно может быть представлено «в определенные, разделенные промежутками моменты» (см. подробнее: [Медриш 1980]).

Недостающее (пропущенное) в ПЕ легко восстанавливается, поскольку в человеческом сознании структура реального события концептуализируется такой, какой интерпретатор ее себе представляет – в том или ином аспекте, с полным или неполным набором участников и т. д. [Колесов 2007: 5].

Выбор предмета исследования в данной статье объясняется спецификой выражения событийности в ПЕ, построенных по модели простого предложения: они ёмки и сжаты; в отличие от сложных предложений, для них в большой степени характерно точечное (*От огня и камень треснет*), а не развернутое изображение события; эти структуры содержат лишь одну предикативную основу, с помощью которой, как правило, выражаются непредметные объекты.

Общепринятым является положение, признающее вслед за Г. Л. Пермяковым в пословице «знак ситуации» [см. подробнее: Пермяков 1988]. Важно, однако, заметить, что во многих случаях правильнее говорить о **смене ситуаций**, об известной **динамике** происходящего, пусть и не в полной мере выраженного в ПЕ вербально, об **изменении в некоторых пространственно-временных рамках**. Поскольку речь идет преимущественно о последовательности в развертывании события на оси времени, мы заострим внимание на временном аспекте и обратимся к ПЕ, содержащим динамические признаки события. При этом в композиционной структуре ПЕ временной маркер может быть вербально выражен или не выражен.

**Первый способ** представления события отмечен нами в ПЕ, где **признак последовательности в развертывании события представлен имплицитно**: паремия рисует лишь одну ситуацию – начальную или конечную, а вторая отсут-

ствуется, но может быть выведена логически – при наличии некоторого опыта декодирования подобных текстов. ПЕ *Цыплят по осени считают* – «О чем-либо судят лишь по конечным итогам. Говорится тому, кто преждевременно судит о результатах чего-либо» (Жук., 347) – была бы совершенно непонятной при отсутствии фоновой информации, содержащей сведения о процессе выращивания цыплят и возможных при этом потерях. В ПЕ образно представлена лишь фаза финального (*по осени*) подсчета уцелевших цыплят, символизирующих степень успешности некоего задуманного предприятия, а фазы появления цыплят на свет весной и частичное их «исчезновение» остаются скрытыми. Таким образом, из всех ситуаций в рамках события образно представлена лишь последняя из них, материализующая основание для суждения о важности отсроченных выводов о степени успешности дела. Элементы толкования почти идеально апплицируются – по В. П. Жукову – на компоненты ПЕ: *цыплят* ('итоги') *считают* ('подводят') *по осени* ('по окончании дела'). Несовершенный вид глагола *считают*, акцентирующий типичность показанной ситуации, реализует и семантику завершенности – 'посчитаем', поддерживаемую лексическим показателем *по осени*. Ср. также ПЕ, непонятные без подробного указания условий их использования, – «говорится, когда...», поскольку ситуация сменяемая новым событием (*праздник, солнышко* – в их переносном значении) остается имплицитной: *И к нам солнышко взойдет на двор; Будет и на нашей улице праздник* и др.

Представление события в ПЕ *Капля и камень долбит (точит)* видится весьма особенным, поскольку основным выразителем динамики выступает видовое значение глагола. Осмысление ПЕ вытекает из образного представления ситуации: методично падающие одна за другой одиночные капли, способные пробить (продолбить) твердую породу. Благодаря семантике предельности, присущей глаголу, допустимо мысленно увидеть камень продолбленным (финальная ситуация), о чем свидетельствует и толкование ПЕ, хотя на лексическом уровне этот результат не вербализован. В данном случае поговорка имплицитно выражает последовательность развертывания события в его движении к конечной фазе. В ПЕ отсутствует конкретная временная направленность (привязка); здесь активизируются «мыслительные процессы абстрагирования времени» [Бондарко 2011: 210].

Чаще, однако, поговорка содержит **вербально выраженный намек** на наличие некоей ситуа-

ции, логически сменяемой другой (**второй тип**). В ПЕ *Отольются волку овечьи слезки* вербально представлена полностью лишь последняя фаза – выраженное глаголом *отольются* указание на возмездие, неминуемо ожидающее волка, ранее причинившего «вред» овце / овцам. Причины наказания выражены частично (*овечьи слезки*), а сама же сцена «овечьего плача» – первая из ситуаций – остается «за кадром», хотя она, безусловно, очевидна для тех, кто понимает суть отношений, вербализуемых элементами паремийного бинама «волк–овца» (ср.: «корова – медведь», «мышь – кошка» и др.): 'хищник – жертва', 'обижаемый – наказуемый' (о паремийных бинамах см. подробнее: [Селиверстова 2017]).

Близка по характеру представления события – отсутствию конкретности в первой из двух ситуаций – безобразная поговорка *По делам вору и мука*. *Мука* – состояние, вызываемое не конкретизируемым в ПЕ наказанием, – неминуемо следует за совершенные злодеяния (*дела*). Характер поступков, которые числятся за провинившимся, лишь прогнозируется – в связи с семантическим содержанием слова *вор*: здесь включается как экстралингвистическое представление о людях этой «профессии», так и реализуемая в поговорке идея порочности любой деятельности, подпадающей под воровство (ср.: *Злое ремесло на рель занесло* – 'повесили').

Если в предшествующих ПЕ мысль о возмездии увязывается с совершением определенного поступка, то в поговорке *Кот скребет на свой хребет* идея проступка, влекущего неприятности, предельно обобщена – выражается глаголом *скребет*, а семантический фрагмент *наказание* вербально представлен фразеологизмом *на свой хребет* – 'себе во вред'.

По характеру представления последней фазы события сюда можно отнести и ПЕ *Отошла ко ту масленица*. Событийное пословичное имя *Масленица* позволяет связать предшествующую ситуацию (процесс) вольготной сытной жизни и сменившие ее ощутимые ограничения (глагол *отошла*), подробности которых в ПЕ отсутствуют. Именно отсутствие детального представления обеих ситуаций делает ПЕ обобщенной, применимой ко множеству различных жизненных коллизий.

Таким образом, в ПЕ данной подгруппы лишь частично представлено выражение последовательности в развертывании события.

**Третий тип** составляют ПЕ, в которых причастия и прилагательные называют нынешнее **свойство, качество субъекта** (*боязливый, опасливый*), **являющееся результатом предше-**

ствующих событий, скрытых от говорящих, но прогнозируемых: *Пуганая ворона и куста боится; Битому коту лишь лозу покажи*. Более позднее на оси времени состояние / действие является следствием по отношению к первому.

В ПЕ *Старый конь борозды не испортит* в качестве первой из ситуаций выступает вся долгая предшествующая рабочая жизнь (*старый*), а вторую представляет картина безупречной борозды – любой достойно выполненной работы. В сущности, в паремии скрыты многократные повторения одной и той же ситуации (прокладывания борозды), позволившие наработать в качестве результата бесценный опыт.

В ПЕ *Утопающий за соломинку хватается* – «В безвыходном положении как к последней надежде на спасение прибегают даже к средству, которое вряд ли может помочь» (Жук., 337) – факт падения в воду вербально не представлен: мы видим тонущего (*человека в безвыходном положении* – как результат первой ситуации, нам не известной), который ищет возможность спасения (*выхода*) и *готов прибегнуть к любому средству – соломинке* как образу последней, пусть призрачной, надежды. В данной ПЕ событийная ситуация представлена более развернуто.

К **четвертому типу** мы относим ПЕ, в которых структура предложения усложнена за счет однородных членов: *Прошёл трёхдневный путь за день и слёг на десять дней; Поп пьяной книги продал да карты купил* и др. Однородные сказуемые, выраженные глаголами, **эксплицитно представляют последовательно осуществляемые действия**, очерчивая две ситуации, в которых оказывается один и тот же субъект: *Вздуря пузырь, да и лопнул*. Нельзя, однако, не заметить, что характер причинно-следственных связей, если они очевидны, будет между ними в разных ПЕ различным, как отличается и степень дискретности представленного в ПЕ событийного времени. В ПЕ *Помнит свекровь свою молодость и снохе не верит* две ситуации – молодость свекрови и вызывающая недоверие молодость снохи – разделены весьма значительным интервалом.

К **эксплицитно представленным** относятся события и в ПЕ, объединенных в **пятый тип**. В них первая ситуация (начальная фаза события) является условием, выполнение которого ведет ко второй ситуации – результату: *От жару и камень треснет, От малой искры да большой пожар*. Такое условие может быть выражено событийным именем: *От работы кони дохнут*. Назидательность ПЕ во многом основана именно на их способности показать результаты «правиль-

ного» или «неверного» поведения, ведущего к некой результирующей ситуации: *Без труда не вынешь рыбку из пруда*.

В ПЕ *На кнуте далеко не уедешь* выражена зависимость между двумя ситуациями – воздействием на коня только кнутом и малой его способностью перевозить что-либо, кого-либо, которая может обернуться неприятным событием в виде «недостижения» цели и даже падения коня. Смысл ПЕ раскрывается во многом за счет иных единиц паремиологического пространства – ср. выражение близкого содержания в пословице *Не корми коня кнутом, а корми его овсом*.

Проделанный анализ паремий со структурой простого предложения позволил нам прийти к следующим **выводам**.

Пословицы как особый тип текста демонстрируют большое разнообразие вариантов представления событий – как четко показывающих значимое изменение объекта, его свойства, состояния и проч., так и намекающих на него.

В отличие от иных поэтических и фольклорных произведений – басни, сказки и др., ПЕ в форме простого предложения моделируют событийные ситуации, в которых – в силу свернутости и предельной краткости текста – полная картина развития события, как правило, вербально не выражена. Будучи знаком ситуации, паремия в образной форме представляет фрагмент (имеющий определенное место в развертываемом событии), осмысление которого в качестве начальной или конечной ситуации предполагает домысливание предшествующего или последующего этапа. Сами эти фрагменты могут содержать фоновую информацию, важную для интерпретации смысла всей пословицы.

Последовательность в развертывании события является комплексным семантическим признаком – в него входят временные и причинные связи, понимание которых в происходящем (благодаря фреймам) помогает коммуникантам восстанавливать отсутствующие звенья события.

Если первый тип представления последовательности событий в ПЕ определяется нами как имплицитный, наиболее нуждающийся для выведения смысла в логических операциях, то второй, содержащий некоторые намеки (*По делам вору и мука*), – скорее промежуточный. Относительно развернутой последовательностью в рамках события – при общей сжатости ПЕ – следует считать смену двух разных действий (ситуаций), выраженных видовременными и лексическими значениями глаголов и их форм (*Пуганая ворона и куста боится*) и лексическими значениями событийных имен (*От работы кони дохнут*) – тре-

тий–пятый типы. При этом событийные имена – часто символические – в ПЕ весьма специфичны, вряд ли они могут быть отнесены к таковым в текстах иных жанров (*слёзки, работа, солнышко*).

Таким образом, анализ способов развертывания паремийного события позволяет получить представление о специфике кодирования достаточно объемного семантического содержания в сравнительно небольшом тексте пословицы. Последовательность и связь событий в ПЕ интерпретируется во многом на уровне логического смысла, определяемого жизненным опытом говорящих. Для человека, не знакомого с паремией – тем более инофона, расшифровка значения ПЕ представляет особые трудности и требует комментариев.

#### Список источников

Жук. – Жуков В. П. Словарь русских пословиц и поговорок: около 1200 пословиц и поговорок. 4-е изд., испр. и доп. М.: Рус. язык, 1991. 534 с.

#### Список литературы

Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 347 с.

Бондарко А. В. Временная локализованность // Теория функциональной семантики / под ред. А. В. Бондарко. Изд. 6-е. М.: Кн. дом «ЛИБРОКОМ», 2011. С. 210–233.

Булыгина Т. В., Шмелев А. Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М.: Языки рус. культуры, 1997. 576 с.

Демьянков В. З. Семиотика событийности в СМИ // Язык средств массовой информации / под ред. М. Н. Володиной. М.: Академ. проект, Альма матер, 2008. С. 71–75.

Жемчужникова А. К. Функционирование и трансформации событийной ситуации // Вестник ЮУрГУ. Серия «Лингвистика». 2016. Т. 13, № 1. С. 69–72.

Кипсабит К. Н. Структурно-семантические особенности русских пословиц и поговорок с пространственно-временными характеристиками: дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 160 с.

Колесов И. Ю. О связи между ментальной презентацией, концептуализацией референтной ситуации и пропозиций как формами представления знания // Вопросы когнитивной лингвистики. 2007. № 2(011). С. 5–10.

Лебедева Н. Б. Ситуатема как динамическая, полиситуативная и полисобытийная структура глагольной семантики // Вестник КемГУ. 2012. № 4(52), т. 1. С. 224–227.

Лунатова О. А., Агапова О. Д. Событийность и ситуационность в гуманитарной перспективе // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 4. С. 9–12.

Медриш Д. Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1980. 296 с.

Пермяков Г. Л. Основы структурной паремологии. М., 1998. 236 с.

Пермяков Г. Л. От поговорки до сказки. М.: Наука, 1970. 244 с.

Путилов Б. Н. Фольклор и народная культура. М.: Наука, 2003. 464 с.

Радзиевская Т. В. Функционально-семантические закономерности соединения слов в предложении: дис. ... канд. филол. наук. М., 1981. 201 с.

Селиверстова Е. И. Пространство русской пословицы: постоянство и изменчивость / науч. ред. В. М. Мокиенко. 2-е изд., испр. и доп. М.: ФЛИНТА: Наука, 2017. 296 с.

Степанова М. А. Когнитивные аспекты перевода: структурная модель события // Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, социокультурные аспекты прошлого и настоящего: сб. ст. и материалов Междунар. науч.-практ. конф. (г. Нижневартовск, 24–26 окт. 2013 г.) / отв. ред. Н. М. Перельгут. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2014. С. 48–51.

Степанова М. А. Событийные имена и их роль в организации дискурса: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2003. 21 с.

Тарланов З. К. Синтаксис русских пословиц: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1970. 34 с.

Тихонова В. В. Актуализация темпоральных отношений в событийной ситуации: дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2002. 135 с.

Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика: учеб. пособие. М.: Аспект-Пресс, 1999. 334 с.

Шмид В. Нарратология. М.: Языки слав. культуры, 2003. 312 с.

#### References

Arutyunova N. D. *Tipy yazykovykh znacheniy. Otsenka. Sobytie. Fakt* [Types of language meanings. Evaluation. Event. Fact]. Moscow, Nauka Publ., 1988. 347 p. (In Russ.)

Bondarko A. V. *Vremennaya lokalizovannost' [Time localization]. Teoriya funktsional'noy semantiki* [The theory of functional semantics]. Ed. by A. V. Bondarko. 6<sup>th</sup> edition. Moscow, Knizhnyy dom «LIBROKOM» Publ., 2011, pp. 210–233. (In Russ.)

Bulygina T. V., Shmelev A. D. *Yazykovaya konseptualizatsiya mira (na materiale russkoy gram-*

*matiki*) [The language conceptualization of the world (a case study of Russian grammar)]. Moscow, LRC Publishing House, 1997. 576 p. (In Russ.)

Dem'yankov V. Z. Semiotika sobytiynosti v SMI [Semiotics of eventivity in the mass media]. *Yazyk sredstv massovoy informatsii* [The language of the mass media]. Ed. by M. N. Volodina. Moscow, Akademicheskii Proekt Publ., Alma Mater Publ., 2008, pp. 71–85. (In Russ.)

Zhemchuzhnikova A. K. Funktsionirovanie i transformatsii sobytiynoy situatsii [Functions and Transformations of the Event Situation] *Vestnik YUUrGU. Seriya «Lingvistika»* [Series “Linguistics” of South Ural State University Bulletin], 2016, vol. 13, issue 1, pp. 69–72. (In Russ.)

Kipsabit K. N. *Strukturno-semanticheskie osobennosti russkikh poslovits i pogovorok s prostanstvenno-vremennymi kharakteristikami*. Diss. kand. filol. nauk. [Structural-semantic features in Russian proverbs and sayings with spatial-temporal characteristics. Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 2002. 160 p. (In Russ.)

Kolesov I. Yu. O svyazi mezhdru mental'noy reprezentatsiey, kontseptualizatsiey referentnoy situatsii i propozitsiey kak formami predstavleniya znaniya [Mental representation, conceptualization of the referent scene and proposition as coordinated forms of knowledge representation] *Voprosy kognitivnoy lingvistiki* [Issues of Cognitive Linguistics], 2007, issue 2(011), pp. 5–14. (In Russ.)

Lebedeva N. B. Situatema kak dinamicheskaya, polisituativnaya i polisobytiynaya struktura glagol'noy semantiki [Situate as a dynamic, polysituational and polyeventive verbal semantics structure]. *Vestnik KemGU* [Bulletin of Kemerovo State University], 2012, vol. 1, issue 4(52), pp. 224–227. (In Russ.)

Lipatova O. A., Agapova O. D. Sobytiynost' i situatsionnost' v gumanitarnoy perspektive [Event-based and situational humanitarian perspective]. *Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts], 2014, issue 4, pp. 9–12. (In Russ.)

Medrish D. N. *Literatura i fol'klornaya traditsiya. Voprosy poetiki* [Literature and folklore tradition. Poetics issues]. Saratov, Saratov State University Press, 1980. 296 p. (In Russ.)

Permyakov G. L. *Osnovy strukturnoy paremiologii* [Basics of structural paremiology]. Moscow, 1998. 236 p. (In Russ.)

Permyakov G. L. *Ot pogovorki do skazki* [From a saying to a fairy tale]. Moscow, Nauka Publ., 1970. 244 p. (In Russ.)

Putilov B. N. Fol'klor i narodnaya kul'tura [Folklore and folk culture]. Moscow, Nauka Publ., 2003. 464 p. (In Russ.)

Radzievskaya T. B. *Funktsional'no-semanticheskie zakonomernosti soedineniya slov v predlozhenii*. Diss. kand. filol. nauk [Functional-semantic rules of word connection in sentence. Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 1981. 201 p. (In Russ.)

Seliverstova E. I. *Prostranstvo russkoy poslovitsy: postoyanstvo i izmenchivost'*. Monografiya [Space of a Russian proverb: constancy and variability. Monograph]. Ed. by V. M. Mokienko. 2<sup>nd</sup> edition, revised and updated. Moscow, FLINTA Publ., Nauka Publ., 2017. 296 p. (In Russ.)

Stepanova M. A. Kognitivnye aspekty perevoda: strukturnaya model' sobytiya [Cognitive aspects of translation: structural models of the event] *Yugra, Sibir', Rossiya: politicheskie, ekonomicheskie, sotsiokul'turnye aspekty proshlogo i nastoyashchego: sbornik statey i materialov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (g. Nizhnevartovsk, 24–26 oktyabrya 2013 goda)* [Yugra, Siberia, Russia: political, economic, sociocultural aspects of the past and present: proceedings of the International Sci. and Pract. Conf. Nizhnevartovsk, 24–26 October, 2013]. Ed. by N. M. Perelgut. Nizhnevartovsk, Nizhnevartovsk State University Press, 2014, pp. 48–51. (In Russ.)

Stepanova M. A. *Sobytiynye imena i ikh rol' v organizatsii diskursa*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Eventive names and their role in the organization of discourse. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Barnaul, 2003. 21 p. (In Russ.)

Tarlanov Z. K. *Sintaksis russkikh poslovits*. Avtoreferat diss. dokt. filol. nauk [The syntax of Russian proverbs. Abstract of Dr. philol. sci. diss.]. Leningrad, 1970. 34 p. (In Russ.)

Tikhonova V. V. *Aktualizatsiya temporal'nykh otnosheniy v sobytiynoy situatsii*. Diss. kand. filol. nauk [Actualization of temporal relations in the eventive situation. Cand. philol. sci. diss.]. Barnaul, 2002. 135 p. (In Russ.)

Tomashevsky B. V. *Teoriya literatury. Poetika* [Theory of literature. Poetics]. Moscow, Aspect Press, 1999. 334 p. (In Russ.)

Schmid V. *Narratologiya* [Narratology]. Moscow, LRC Publishing House, 2003. 312 p. (In Russ.)

## CHARACTERISTICS OF REPRESENTATION OF EVENTS IN RUSSIAN PROVERBS WITH THE STRUCTURE OF A SIMPLE SENTENCE

**Elena I. Seliverstova**

**Professor in the Department of Russian Language  
for the Faculties Teaching Humanities and Natural Science**

**Saint Petersburg State University**

7/9, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg,  
199034, Russian Federation. selen754@inbox.ru

SPIN-code: 2032-2115

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2020-0061>

ResearcherID: N-2892-2013

**Sun Shuyang**

**Postgraduate Student in the Department of Russian  
as a Foreign Language and Methods of Its Teaching**

**Saint Petersburg State University**

7/9, Universitetskaya naberezhnaya, St. Petersburg,  
199034, Russian Federation. ssy198812@gmail.com

SPIN-code: 5479-5951

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3322-8162>

ResearcherID: U-4614-2017

*Submitted 06.02.2018*

In many researches dealing with interpretation of text, scholars (linguists, cognitivists, folklorists and others) often pay much attention to the concepts “event”, “eventfulness”, “situation” etc. and their characteristics.

Proverbs, which belong to texts of a special type and genre, have specific characteristics of the representation of events. They become apparent in the nomenclature of the events themselves, including, e. g. those having a double semantic plan (*Pancake week, sunshine*, etc.), in the ways of their direct or indirect expression – by means of event names, participial verb forms, aspectual and lexical verb semantics and others (frightened, anguish), as well as in the nature of the arrangement of events in relation to each other. At the same time, as the analysis of proverbs with the structure of a simple sentence (units, which are extremely compressed) shows, a significant part of the information is presented in them in the compressed form, and therefore the proverb needs to be thought out and commented. For such a procedure, one needs extralinguistic and linguocultural information, which the native speaker does not always possess.

Proverbs differ substantially in the degree of explicitness / implicitness of the verbalized information, and in the location, presence or absence of fragments of the event chain in the paremia, and in their semantic significance for forming the meaning of a unit as a whole.

This article is devoted to the study of paremias with the structure of a simple sentence in terms of events, sheds light on the nature of the formation of their content and its coding. The observed patterns are not nationally marked, they are inherent in paremias as units of the folklore genre.

**Key words:** proverb; event; situation; event name; simple sentence; temporal and causal relationships; explicitness; implicitness.

**ЛИТЕРАТУРА В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ**

УДК 821.161.1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-55-63

**ПОЭТИКА АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО  
И МЕМУАРНОГО НАЧАЛ В ПРОЗЕ О. ВОЛКОНСКОЙ  
(на материале сборника рассказов «Фиалки и волки»)****Светлана Викторовна Бурдина**

д. филол. н., профессор кафедры русской литературы

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. swburdina@rambler.ru

SPIN-код: 3865-3401

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2926-9463>

ResearcherID: Q-7810-2017

**Светлана Владимировна Мельничукова**

аспирант кафедры русской литературы

Пермский государственный национальный исследовательский университет

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. svetlana.melnicukova@gmail.com

SPIN-код: 8493-2896

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7923-1343>

ResearcherID: S-2331-2017

*Статья поступила в редакцию 10.11.2017***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Бурдина С. В., Мельничукова С. В. Поэтика автобиографического и мемуарного начал в прозе О. Волконской (на материале сборника рассказов «Фиалки и волки») // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 55–63. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-55-63***Please cite this article in English as:***Burdina S. V., Melnicukova S. V. Poetika avtobiograficheskogo i memuarного nachal v proze O. Volkonskoy (na materiale sbornika rasskazov «Fialki i volki») [The Poetics of the Autobiographical and Memoir Features in O. Volkonskaya's Prose (Based on the Collection of Short Stories *Violets and Wolves*)]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 55–63. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-55-63 (In Russ.)*

Анализируются особенности малоисследованной прозы русской писательницы О. А. Волконской. Показывается художественное своеобразие сборника рассказов «Фиалки и волки», состоящего из двух циклов: «Парижские фиалки» и «Аргентинское предместье». Часть рассказов была написана Волконской в Чехословакии, в Праге, часть – в Советском Союзе, на родине. На материале рассказов выявляется специфика репрезентации автобиографического и мемуарного, объективного и субъективного, национального и универсального начал в творчестве автора. Осуществляется разграничение мемуарного и автобиографического начал, наблюдаемое в прозе Волконской. Рассмотрена галерея созданных автором женских образов. Показано, что, в отличие от «парижского», в «аргентинском» цикле более глубоко раскрываются характеры героев.

Доказывается, что литературные опыты Волконской, касаясь различных актуальных проблем (философских, этико-философских, духовно-нравственных), представляют собой сочетание индивидуально-личного, биографического, исторического и социального. Рассказы Волконской – своеобразный отклик на различные аспекты действительности; это эмоционально окрашенные произведения о людях и событиях, о чувствах и мыслях писательницы, связанных с духовно-религиозной, социально-политической, культурной, литературной жизнью общества.

Делается вывод, что уникальность, самобытность прозы Волконской как литературного феномена создается за счет синтеза документального, автобиографического, мемуарного и художественного начал. Такое жанровое своеобразие анализируемых произведений обеспечило воссоздание максимально полной картины социокультурной ситуации, способствовало осмыслению индивидуально-личностного жизненного пути человека в контексте переживаемого им исторического времени, судьбы целого поколения.

**Ключевые слова:** О. А. Волконская; мемуарное начало; автобиографическое начало; синтез; проза; сборник; рассказ.

Обращение к творчеству самобытной русской писательницы О. А. Волконской продиктовано необходимостью детального изучения литературных произведений, которые, синтезируя в себе специфику эмигрантской прозы и национальной русской традиции, стали отражением особенностей мировосприятия, мироощущения целой плеяды выдающихся писателей, поэтов, деятелей культуры. Оригинальный талант Волконской, синтетический характер ее творчества, в котором нашли свое выражение перипетии многосложной и драматичной судьбы писательницы, в последние годы привлекают внимание исследователей. Однако, несмотря на появление немногочисленных работ, посвященных отдельным аспектам прозы писательницы, на сегодняшний день творчество Волконской изучено фрагментарно. Особенности конструирования дискурсивного пространства, проблемы соотношения автобиографического и мемуарного, субъективного и объективного, универсального и национального в творчестве этого автора практически не рассматривались литературоведами. Между тем выделение указанных аспектов позволит лучше понять специфику индивидуально-авторского метода Волконской, осознать степень влияния драматизма ее судьбы на моделирование пространства и времени, а также выявить особенности соотношения автобиографического и мемуарного в художественных текстах автора.

Уникальность творчества Волконской обусловлена как необычностью личной судьбы писательницы, так и ее блестящим литературным даром. Как отмечает современный исследователь, «социальный статус Волконской можно определить двумя характеристиками – “представительница эмиграции” и “репатриантка”» [Лапаева 2008: 216]. Вынудив Волконскую покинуть родину, судьба впоследствии вернула ее обратно; именно этим фактом во многом оказались продиктованы особенности ее миропонимания, восприятия действительности, в полной мере отразившиеся в индивидуально-авторском стиле, специфике творчества, автобиографичности повествования.

Жизненная история Волконской похожа на судьбы многих русских эмигрантов. Родившаяся в глубине России в семье дворянина, будущая

писательница в 1920 г. в четырехлетнем возрасте была увезена за границу из пылающей гражданской войной страны: «И вот – три года жизни в Турции, тринадцать лет во Франции, тринадцать лет в Аргентине» [Гинц 1963: 5]. Проза Волконской – это качественные тексты, своеобразные документы и памятники эпохи. В них запечатлелся социальный и духовный опыт русского интеллигента, не по своей воле меняющего страны и континенты, живущего в сфере разных культур, говорящего и пишущего на разных языках, трудно возвращающегося и непросто живущего на обретенной родине.

Вторая половина жизни писательницы, по словам Н. Б. Лапаевой, «оказалась пронизанной сюжетом возвращения» [Лапаева 2008: 216]. Репатриация писательницы началась с получением советского гражданства в 1960 г. и переездом в СССР. Несмотря на многообразие иностранных языков, постоянно окружавших ее, усвоенных западных стереотипов и поведенческих моделей, Волконская всегда оставалась поистине русской. Как отмечает Л. Мишланова, «она могла стать турчанкой, француженкой, аргентинкой, человеком без родины и без родного языка – так складывались обстоятельства. Но, унаследовав от отца страстную любовь к России, к русскому языку, она поставила цель – вернуться на родину. И с потрясающим упорством многие-многие годы добивалась этой цели. Она вернулась на родину. Она стала русской писательницей» [Мишланова 2006: 42].

Сложная, полная драматизма судьба Волконской определяет уникальность, самобытность, неповторимость ее прозы, синтезирующей в себе не только опыт жизни в эмиграции, но и опыт борьбы за возвращение на родину, адаптацию к условиям советского общежития. Увиденное, пережитое, прочувствованное формирует мировоззренческую парадигму писательницы, отражаясь в ее произведениях.

В то же время, несмотря на эксплицитное присутствие автора в пространстве художественного дискурса, повествование Волконской не ограничивается отображением только личностных перипетий, оно стремится к объективации, что и придает своеобразие мемуарной составляющей этих текстов.

Необходимо отметить, что, несмотря на рост научного интереса к автобиографическому и мемуарному началу в литературе, определение границ между указанными категориями весьма затруднительно. Проблема разграничения данных жанровых начал обусловлена тем фактом, что и автобиография, и мемуары обращены в прошлое, ориентированы на внетекстовую реальность, существуют в двух измерениях: прошлые события («тогда») и нынешнее их осмысление («теперь») [Таймазова 2007: 239]; носят ярко выраженный исповедальный характер, непосредственно связаны с личностью автора. Обязательными элементами автобиографического и мемуарного выступает опора на события, которые действительно имели место, документально подтверждены официальными или неофициальными источниками, при этом в их отражении возможна минимальная степень вымысла.

Мемуарное начало в прозе предполагает репрезентацию повествователя в качестве свидетеля, «описывающего увиденное и высказывающего по этому поводу свое мнение» [Павлова 2008: 61]. Субъективные переживания, эмоциональные состояния, психологические характеристики нарратора подчиняются задачам воспроизведения внешнего мира, объективной действительности.

Мемуарная составляющая, как правило, проявляется в репрезентации сведений о людях, которых знал автор, за которыми он наблюдал либо слышал о них от других людей, в репрезентации сведений о событиях неприватной жизни автора, включая исторические, культурные. Другими словами, мемуарное начало включает в себя совокупность всех компонентов, «из которых складывается внешняя жизнь автора и которые являются общими для определенной группы людей либо для поколения в целом» [Черкашина 2014: 189].

Очевидно, что автобиография носит более интимный характер, причем, «в отличие от мемуаров, автобиография – рассказ не столько об исторических событиях, сколько о собственном жизненном пути» [Елизаветина 1982: 243]. Другими словами, в центре автобиографии – личность самого автора, его судьба, его чувства. По своей сути автобиография представляет собой «не просто повествование о себе и о своей жизни, это именно психологическое исследование своего характера» [Левицкий 1974: 115].

Автобиографическая составляющая представлена событиями, фактами, различной информацией, которая отражает личную жизнь автора. Автобиографическое начало может быть проявлено через сухие биографические данные, через описание различных видов деятельности автора, представлено информацией о семейной, повсе-

дневной жизни рассказчика, о круге его знакомств и личных интересов. К автобиографическим сведениям относится информация о внутренней, глубоко интимной, психологической жизни автора, его эмоционально-психологических реакциях на те или иные события.

Автобиографическое начало в прозе – это не только мир прошлого нарратора, но и свое «прошлое осознание и понимание этого мира»: «Это прошлое сознание – такой же предмет изображения, как и объективный мир прошлого. Оба эти сознания, разделенные десятилетиями, глядящие на один и тот же мир, не расчленены грубо и не отделены от объективного предмета изображения, они оживляют этот предмет, вносят в него своеобразную динамику, временное движение, окрашивают мир становящейся человечностью» [Бахтин 1979: 398]. Другими словами, автобиографическое в прозе не ограничивается исключительно субъектом наррации, отображением его опыта восприятия действительности, но и органично дополняет объективное, реально существующее, «опредмечивая» и «человечивая» его.

Как отмечает Т. Ю. Черкашина, «в отдельных случаях в качестве опоры для памяти мемуариста либо для подтверждения правдивости его слов могут использоваться реально существующие документальные источники, различные материалы личного архива, свидетельства других людей документального либо мемуарного характера» [Черкашина 2014: 188]. Но приоритет всегда отводится памяти автора, соответственно, речь идет о личностном видении, субъективном оценивании описываемых событий, процессов, которые имели место в его прошлом.

Рассмотрим своеобразие выражения автобиографического начала в прозе Волконской, обратившись к ее рассказу «Парижские фиалки» из сборника «Фиалки и волки».

В центре повествования – отдельный «боевой эпизод», который хранится в памяти старой Виолетты, – самовольное заселение бедняками «Гостиницы надежды». Эпизод этот произошел в 1955 г. во Франции. Обращение к прошлому, к памяти, к воспоминаниям свидетельствует о присутствии в ткани повествования и автобиографического, и мемуарного начал.

Рассказ ведется от третьего лица, от лица анонимного повествователя, что отражает установку автора на создание максимально объективной картины, свидетельствует о нацеленности писательницы не столько на воспроизведение *собственных* эмоций, *собственной* жизни, *собственной* «я-концепции», сколько на воссоздание переживаний *других* людей, картины их прошлого.

«Есть во Франции такие женщины с сухими глазами.

Старая Виолетт пережила на своем веку две войны, вдовство, смерть всех, кроме одного, сыновей, безработицу, голод» [Волконская 1975: 27].

В рамках небольшого фрагмента писательница упоминает о катастрофах и бедствиях, с которыми пришлось столкнуться женщине: две войны, вдовство, смерть, голод. Отдельно следует отметить, что, описывая жизнь главной героини, Волконская не разделяет глобальные и личностно-индивидуальные катастрофы: глобальная трагедия двух мировых войн приводит к многочисленным личностным трагедиям – вдовству, смерти детей. Индивидуальное и глобальное, государственное и частное, таким образом, сливаются, взаимообуславливая друг друга, друг в друга переходят, отражая особенности авторского мировосприятия.

А упоминание того факта, что Франция, как и Россия, пострадала в результате двух мировых войн, способствует слиянию национального и универсального в рассказе. Жизнь старой Виолетт вбирает в себя судьбы и русских женщин, пострадавших от военных событий, потерявших близких на фронтах сражений. В результате метафорического переосмысления выражение «женщины с сухими глазами» формирует образ целого поколения матерей, жен, разучившихся плакать, научившихся выживать в нечеловеческих условиях, на лице которых можно увидеть «капельки пота, но никто не похвастает тем, что видел... слезы» [там же]. В рамках небольшого фрагмента отражается особый, «женский», взгляд на трагедию войны, на мир и литературу, проявляется гендерный аспект авторского мировосприятия – глубокое понимание трагедии женщины, пережившей войну и смерть близких.

Повествование ведется от третьего лица, от лица как бы обезличенного автора; перед читателем возникают картины послевоенной Франции: нищета, давление государственной машины, бездеятельность властей, бесчеловечное поведение журналистов, которые сбежались, «как шакалы». Заметим, что именно мемуарное начало помогает здесь реконструировать объективную картину всей совокупности прошлых событий, а также воссоздать образы людей, запечатленных в памяти автора.

В процессе повествования авторское «Я» не проявляется открыто, однако в подтексте рассказа отчетливо читается непростая судьба автора. Важно отметить и тот факт, что он, автор, представлен здесь одновременно и как *один из многих* – тех, кому пришлось побывать в аналогичных исторических ситуациях, пережить общие с народом радости и горести. И не случайно в дан-

ной части повествования «Я» заменяется на «Мы», и это «мы» произносится, казалось бы, от имени целого поколения.

Стараясь усилить достоверность повествования, стремясь к максимальной объективности, писательница использует интересный прием: Волконская отсылает читателя к документальному свидетельству 1955 г., фактам, которые использует в качестве подтверждения собственных мыслей, правдивости рассказа. «Тот, кто интересуется перипетиями борьбы, пусть посмотрит французские газеты за лето 1955 года» [там же: 30–31].

В рассказе «Парижские фиалки», как и в ряде других, основной формой повествования выступает рассказ от лица «всезнающего» автора, который стремится к максимально отстраненному представлению событий. Безличное субъектное повествование способствует максимальной объективированности наррации. Вместе с тем такое повествование всегда отмечено печатью времени, авторского мировосприятия, что приводит к дополнению мемуарного начала автобиографическим: «Мне в заключение хочется рассказать о своем посещении “Гостиницы надежды”... И, глядя на них, я вдруг ощутила, какой неистовый вихрь ненависти, любви, страха, стойкости и силы взвился вокруг этого дома, этой гостиницы, на минутку приютившей воспрещенную в буржуазном мире гостью – надежду» [там же: 31]. Здесь характер наррации меняется: если изначально повествование велось от третьего лица (от лица безличного, всезнающего автора), то в конце произведения появляется форма первого лица. В структуру повествования эксплицитно вводится собственно автор, который становится не только пассивным наблюдателем, но и активным участником событий и процессов, превращаясь в героя-рассказчика, выступающего одновременно и повествователем, и второстепенным героем произведения. В результате преобразования типа повествования осуществляется репрезентация эмоциональных состояний, охвативших автора (неистовый вихрь ненависти, любви, страха, стойкости, силы). Буря противоречивых чувств дает возможность выразить состояние смятения повествователя, подчеркнуть его вовлеченность в события прошлого, придать повествованию определенную интимность. Использование метафоры «неистовый вихрь ненависти» [там же] позволяет подчеркнуть неконтролируемый характер эмоций, интенсивность и стремительность их смены, апеллируя к иррациональному восприятию потенциального реципиента.

Как отмечает В. Нуркова, «специфика материала, включаемого в автобиографическую па-

мать, такова, что он допускает вариативность интерпретации», поскольку «значение и смысл события могут изменяться с течением времени в связи с его последствиями или вновь сложившимися обстоятельствами» [Нуркова 2008: 88]. Другими словами, в отдельных случаях мы можем иметь дело с сознательным или неосознанным искажением фактов, смещением смысловых акцентов, деформацией либо неправдивой интерпретацией описываемых событий. В рамках данного фрагмента определенная деформация оценивания событий, смещение смыслового акцента происходит посредством использования словосочетания «буржуазный мир». В период создания произведения, когда вопрос о противостоянии СССР и западного мира стоял особенно остро, прилагательное «буржуазный» для представителя русской лингвокультуры приобрело негативную коннотацию, закрепленную и в словарях. Под данным прилагательным в русском языке может пониматься: 1. «касающийся, относящийся к буржуазии»; 2. «обнаруживающий особенную любовь к грубым и материальным благам в ущерб умственным и духовным наслаждениям, вообще – неутонченный, грубоватый» [Словарь иностр. слов рус. яз.].

В рамках приведенного фрагмента повествователь обращается ко второму значению лексической единицы, что призвано подчеркнуть негативную характеристику послевоенного французского общества, лишенного, по мнению писательницы, надежды. Так осуществляется репрезентация авторского мировосприятия, оценивания социально-политических реалий.

Таким образом, в произведении выявляется органический синтез *мемуарного*, направленного на воссоздание максимально полной картины общества и происходящих в нем событий, и *автобиографического*, отражающего индивидуально-авторское восприятие этих событий, репрезентацию места личности в этом прошлом, индивидуально-авторское оценивание общества и своего места в нем.

Еще более заметно слияние мемуарного и автобиографического прослеживается в рассказе «Рядовой случай». В нем повествование ведется от первого лица, от лица рассказчика: «Оглядываясь на свою жизнь, я всегда напеваю этот мотив и смеюсь, хотя хочется-то мне плакать, кричать, проклинать...» [Волконская 1975: 35].

В результате повествования от лица главной героини, с одной стороны, исчезает иллюзия эпической объективности, всеведения автора, акцент смещается на личность нарратора, кругозор которого, казалось бы, ограничивается весь художественный мир. Повествование, приобретая характер интимности, открывает перед

читателем мир эмоциональных состояний главной героини.

Повествование от первого лица подчеркивает автобиографический характер произведения, позволяет совместить два времени – время совершения событий и время воспоминания, осуществить репрезентацию того, что было тогда, и того, что есть сегодня. Отмеченное совмещение приводит к множественному использованию сигналов воспоминаний – «помню», «вспоминаю», «бывало» и пр.: «Помню время, я была добра, жалела бедных и в воскресное утро с удовольствием наряжалась, чтобы идти с матерью в церковь на мессу» [там же].

В результате совмещения прошлого и настоящего главная героиня предстает перед нами одновременно и в образе маленькой девочки, которая по воскресеньям ходила с матерью в церковь, и взрослой писательницы. Героиня не только отделяет себя от того образа, который представлен в воспоминаниях, но и противопоставляет себя ему. Две ипостаси лирического «Я» существенно отличаются друг от друга по своему мироощущению, миропониманию, житейскому и культурному опыту.

Лирический нарратор («Я» взрослой писательницы) отстраняет себя от девочки, судьба которой прошла перед читателем в картинах воспоминания. Сознание рассказчицы намного шире, сложнее: оно вбирает народный взгляд на мир (многочисленное использование прецедентных дискурсов), национальную культуру, кроме того, оно художественно неповторимо.

Другими словами, в процессе использования различных форм субъективного повествования (от лица повествователя, от лица героя-рассказчика) меняются ракурсы и акценты: описываемые явления представляются с различных позиций, повышается степень объективности рассказанного. В то же время все формы субъектного повествования выступают как порождение субъектного сознания, соответственно они неизменно несут отпечаток авторского мировосприятия.

Отдельно следует сказать об упоминании в рассказе мессы – основной литургической службы в латинском обряде. Оно, с одной стороны, выступает репрезентацией автобиографического в художественном пространстве произведения, отражает опыт проживания писательницы во Франции, выражает ее отношение к религии (что, принимая во внимание период написания рассказа в стране «победившего атеизма», представляется достаточно смелым). С другой – позволяет воссоздать особенности социокультурной обстановки, представить существующие во Франции обычаи и традиции, в том числе религиозного характера. То есть посредством описания автобиографическо-

го, индивидуального, личностного формируется целостный образ объективного, целостного и места автора в нем.

Стремление выразить мысль, что «жизнь протекает не в безлюдном пространстве» [Шайтанов 1981: 43], что былое оживает в памяти повествователя во всем своем многообразии, приводит в произведении к уплотнению мемуарного начала, многочисленным мемуарным вкраплениям:

«Вы коммунистка?» – спросило начальство.

Я только рот раскрыла: ну не бабья это логика, скажите?

Через месяц я была уволена, “по сокращению штатов”» [Волконская 1975: 39].

Описание разговора с начальством и последующего увольнения главной героини позволяет автору воссоздать целостную систему социокультурных представлений о французском обществе, об идеях, системе аксиологических модулей, ценностных представлений социума. Мы узнаем о том, что идеи коммунизма не разделялись французами, что в послевоенной Франции был довольно высокий уровень безработицы, инфляции, в тяжелом состоянии находилась большая часть населения. Другими словами, в данном фрагменте автобиографическое органично вписывается в мемуарный контекст.

Отдельно следует отметить использование автором обращения к читателю, направленного на его вовлечение в процесс диалога с целью выявления подтекста произведения и создания собственного «надтекста». Кроме того, данный фрагмент помогает обнаружить гендерный аспект мировосприятия писательницы. Он демонстрирует глубокое понимание женских проблем (например, возникающих при трудоустройстве, в социально-бытовой, производственной сферах, семье).

Просторечное прилагательное «бабий» («бабья логика») позволяет придать повествованию характер живой, разговорной, «звучащей» речи, усиливает экспрессивность произведения. В результате использования данной лексической единицы моделируется сказовое повествование – «имитация устной, разговорной, нередко простонародной речи» [Барковская 2004: 23].

В то же время употребление канцеляризма «по сокращению штатов» отражает реалии, существующие в социально-экономической, производственной сфере послевоенной Франции, что позволяет реконструировать целостный образ послевоенной жизни в стране, усиливая тем самым мемуарное начало в произведении. Кроме того, обращение к данному канцеляризму позволяет добиться стилизации.

Под стилизацией в современной научной литературе понимается «намеренная и явная ими-

тация того или иного стиля... Стилизация предполагает некоторое отчуждение от собственного стиля автора, в результате чего воспроизводимый стиль сам становится объектом художественного изображения» [Долинин 1987: 419]. В данном случае повествование стилизуется под официально-деловой функциональный стиль речи.

Помимо приемов стилизации, моделирования сказового повествования достаточно часто писательница прибегает к поэтологическому приему включения психологических характеристик героев, состояний, показанных через автобиографический контекст рассказа:

«На беду, на горе бедным женщинам гуляет по свету особый тип мужчины – мужчина-победитель. Он не всегда красив, но есть в нем что-то, от чего бабы тают, как конфетки на солнце; покорить женское сердце ему – что иному разбить орешек. В молодости он обычно беззаботно резвится и идет, оставляя след из скорлупок вышелушенных сердец. Годам к тридцати он, как правило, ...превращается в аиста, дает поймать себя первой встречной аистихе, свивает гнездо, таскает червяков – словом, становится добродетельнейшим отцом и супругом. Но бывает, что в этом-то возрасте он принимается особенно язвительно издеваться над самыми незыблемыми канонами адата, над тем, например, что женщина замужем добродетельна, а не замужем, если она не дева, порочна.

С Аихелом Пересом случилось одновременно и то, и другое. Устав порхать по цветочкам, он надумал жениться» [Волконская 1975: 92].

Авторское оценивание осуществляется посредством вводной синтаксической конструкции, выражающей огорчение, сожаление, возможно, отражающей личный опыт писательницы («на беду, на горе»), причем употребление лексем с аналогичным семантическим значением моделирует своеобразную тавтологию, семантическую амплификацию, усиливающую отражение личностью восприятия мужчин определённого типа – «мужчин-победителей».

Таким образом, посредством эмоционально насыщенного автобиографического рассказочерка формируется репрезентация мемуарного контекста, происходит характеристика героя произведения, осуществляется моделирование внешней стороны жизни писательницы. Вновь отмечается слияние объективного и субъективного, автобиографического и мемуарного, формируются особенности авторской позиции.

В процессе моделирования художественного пространства писательница пользуется вариативными приемами описания авторской позиции: посредством обезличенной формы повествования формируется высокая степень обезличенно-

сти рассказа, позиция автора представляется через интерпретацию подтекста; прибегает Волконская и к прямому оцениванию описываемых событий. В процессе описания при помощи прямой номинации писательница применяет многочисленные лексические, стилистические, синтаксические средства, включая использование семантически, стилистически окрашенных единиц, синтез лексических единиц различных функциональных стилей, обращение к средствам экспрессивного синтаксиса, риторическим вопросам и пр. Кроме того, зачастую отражение авторской позиции достигается посредством включения ассоциативного ряда лексем-референтов определенных социокультурных реалий, в результате чего создается характеристика тех или иных персонажей, событий, явлений и пр.

Характерное для Волконской стремление к целостности прослеживается и в сюжетной организации ее произведений: сюжет большинства рассказов сборника «Фиалки и волки» строится вокруг определенного события, конфликта, отражению которого подчиняются все другие сюжетные компоненты (заселение в разрушенный дом, «рядовой случай» и пр.), что позволяет охарактеризовать сюжеты как концентрические. Нередко события рассказов разворачиваются в хронологической последовательности, прошлое и настоящее сопоставляются, противопоставляются, смешиваются, в результате чего формируется уникальное временное пространство, в котором автор, персонажи представлены одновременно «тогда» и «сейчас».

В то же время в процессе выделения конфликта, событий, предшествующих ему и следующих за ним, писательница прибегает к детальному описанию отдельных эпизодических моментов, превращающих частный эпизод в собственную событийную линию, что позволяет привнести в сюжетную организацию определенную многолинейность. В качестве примера подобного фрагмента может выступать проанализированный ранее диалог между работодателем и главной героиней, принятой на работу и уволенной через месяц «по сокращению штатов». Как уже отмечалось, данный фрагмент отражает особенности социально-политической обстановки того времени. В рамках короткого фрагмента автору удается показать важное: судьба героини оказывается тесно связанной с судьбой страны, переплетается с ней.

Иначе говоря, сюжетная организация произведений Волконской характеризуется вариативностью, использованием различных форм организации событий, что позволяет выявить глубинную идейную структуру текста.

Подобный синтез в художественных произведениях иллюстрирует особенности авторского мировосприятия, в котором национальное и универсальное сливаются, служит проявлением глубокого понимания онтологических трансформаций личности, роли и места женщины в постсоветском обществе. В качестве одной из существенных особенностей авторского мировосприятия, воплощенного в рассказах сборника, следует назвать тот факт, что дискурсы Волконской представляют собой отражение «женского» взгляда на жизнь и литературу.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в сборнике рассказов «Фиалки и волки» мы имеем дело не только с синтезом документального (публикации в газетах, цитаты из официальных документов и пр.) и личного (индивидуально-авторское восприятие), но и с совмещением автобиографического и мемуарного начал. В фокусе рассказов Волконской находится изображение индивидуально-личностного жизненного пути в социальном контексте, что и формирует самобытность прозы писательницы.

По своей сути литературные дискурсы Волконской представляют собой сочетание индивидуально-личного, биографического, исторического и социального. Это художественные произведения, освещающие различные актуальные проблемы (философские, духовно-нравственные). Рассказы Волконской – повествование о людях и событиях, о чувствах, связанных с духовно-религиозной, социально-политической, культурной, литературной жизнью общества и собственным бытием самого автора.

### **Список литературы**

*Барковская Н. В.* Типы повествования и их анализ // Филологический класс. 2004. № 11. С. 16–25.

*Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М.: Худож. лит., 1979. 341 с.

*Бикеева Е. Г.* Поэтика мемуарной прозы Б. К. Зайцева: дис. ... канд. филол. наук. Саранск, 2014. 205 с.

*Волконская О. А.* Фиалки и волки. Рассказы. Пермь: Кн. изд-во, 1975. 246 с.

*Гинц С. М.* Об авторе этой книги // Волконская О. А. Фиалки и волки. Пермь, 1963. С. 5–9.

*Долинин К. А.* Стилизация // Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. М.: Сов. энциклопедия, 1987. С. 419.

*Елизаветина Г. Г.* Становление жанров автобиографии и мемуаров // Русский и западноевропейский классицизм. Проза. М., 1982. С. 240–247.

*Кознова Н. Н.* Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: осмысление истори-

ческого пути России. Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. 168 с.

Лапаева Н. Б. Пермь как дом в эмигрантской судьбе и творчестве Ольги Волконской: попытка обретения // Пермский дом в истории и культуре края: материалы науч.-практ. конф. 19 дек. 2008 г. / МУК ОМБ Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина; сост. и ред. Т. И. Быстрых. Пермь, 2008. С. 216–220.

Левицкий Л. А. Где предел субъективности? // Вопросы литературы. 1974. № 4. С. 101–115.

Мишланова Л. В. Ранимая и гордая душа // Мишланова Л. В. Самостоянье: Очерки о людях науки и культуры Пермского края. Пермь, 2006. С. 41–45.

Нуркова В. В. Доверчивая память // Когнитивные исследования / под ред. В. Д. Соловьева, Т. В. Черниговской. М., 2008. С. 87–102.

Павлова С. Ю. Мемуарно-автобиографические жанры: к проблеме границ // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Филология. Журналистика. 2008. Вып. 1. С. 59–62.

Таймазова Л. Л. Литературоведческие аспекты мемуарного жанра // Вестник Луганского национального педагогического университета им. Т. Шевченко. 2007. № 11(128). С. 237–245.

Черкашина Т. Ю. Мемуарная литература: синтез мемуарного и автобиографического начал // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 1(134). С. 187–191.

Шайтанов И. О. Как было и как вспомнилось (современная автобиографическая и мемуарная проза). М.: Знание, 1981. 64 с.

Словарь иностранных слов русского языка. URL: [http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/8454/БУРЖУАЗНЫЙ](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/8454/БУРЖУАЗНЫЙ) (дата обращения: 20.08.2017).

## References

Barkovskaya N. V. Tipy povestvovaniya i ikh analiz [Types of narration and their analysis]. *Filologicheskii klass* [Philological Class], 2004, issue 11, pp. 16–25. (In Russ.)

Bakhtin M. M. *Estetika slovesnogo tvorchestva* [The aesthetics of verbal creativity]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1979. 341 p. (In Russ.)

Bikeeva E. G. *Poetika memuarnoy prozy B. K. Zaitseva*. Diss. kand. filol. nauk [The Poetics of Memoir Prose by B. K. Zaitsev. Cand. philol. sci. diss.]. Saransk, 2014. 205 p. (In Russ.)

Volkonskaya O. A. *Fialki i volki. Rasskazy* [Violets and Wolves. Short Stories]. Perm, Knizhnoe Izdatel'stvo, 1975. 246 p. (In Russ.)

Gints S. M. Ob avtore etoi knigi [About The Author of this Book]. Volkonskaya O. A. *Fialki i volki* [Violets and Wolves] Perm, 1963, pp. 5–9. (In Russ.)

Dolinin K. A. *Stilizatsiya* [Stylization]. *Literaturnyy entsiklopedicheskiy slovar'* [The Literary Encyclopedic Dictionary]. Ed. by V. M. Kozhevnikov, P. A. Nikolaev. Moscow, Sovetskaya Entsiklopediya Publ., 1987. 752 p. (In Russ.)

Elizavetina G. G. Stanovlenie zhanrov avtobiografii i memuarov [Formation of the genres of autobiography and memoirs]. *Russkii i zapadnoevropeiskii klassitsizm. Proza* [Russian and West European classicism. Prose]. Moscow, 1982, pp. 240–247. (In Russ.)

Koznova N. N. *Memuary russkikh pisateley-emigrantov pervoi volny: osmyslenie istoricheskogo puti Rossii: monografiya* [Memoirs of Russian writers-emigrants of the first wave: understanding of Russia's historical way: monograph]. Belgorod, Belgorod State University Press, 2010. 168 p. (In Russ.)

Lapaeva N. B. Perm' kak dom v emigrantskoi sud'be i tvorchestve Ol'gi Volkonskoy: popytka obretneniya [Perm as a home in the emigrant's fate and prose of Olga Volkonskaya: attempt at finding]. *Permskiy dom v istorii i kul'ture kraja: Materialy nauch.-prakt.konf. 19 dekabrya 2008* [Perm house in the history and culture of the region: Proceedings of scientific and practical conference. 19 December, 2008]. Central City Library named after A. S. Pushkin. Ed. by T. I. Bystrykh. Perm, 2008, pp. 216–220. (In Russ.)

Levitsky L. A. Gde predel sub'ektivnosti? [Where are the limits of subjectivity?]. *Voprosy literatury*, 1974, issue 4, pp. 101–115. (In Russ.)

Mishlanova L. V. Ranimaya i gordaya dusha [Vulnerable and proud soul]. Mishlanova L. V. *Samostoyan'e: ocherki o lyudyakh nauki i kul'tury Permskogo kraja* [Self-identity: essays on people of science and culture of the Perm region]. Perm, 2006, pp. 41–45. (In Russ.)

Nurkova V. V. Doverchivaya pamyat' [Trusting memory]. *Kognitivnye issledovaniya* [Cognitive research]. Ed. by V. D. Solov'ev, T. V. Chernigovskaya. Moscow, 2008, pp. 87–102. (In Russ.)

Pavlova S. Yu. Memuarno-avtobiograficheskie zhanry: k probleme granits [Memoirs and Autobiography: to the Problem of the Genre Boundary]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta. Novaya seriya. Seriya Filologiya. Zhurnalistika*. [Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Philology. Journalism], 2008, issue 1, pp. 59–62. (In Russ.)

Taimazova L. L. Literaturovedcheskie aspekty memuarnogo zhanra [Literary aspects of memoir genre]. *Vestnik Luganskogo natsional'nogo pedagogicheskogo universiteta im. T. Shevchenko* [Bulletin of the Lugansk National Pedagogical University named after Taras Shevchenko: Philology], 2007, issue 11(128), pp. 237–245. (In Russ.)

Cherkashina T. Yu. Memuarnaya literatura: sintez memuarnogo i avtobiograficheskogo nachal [The

memoirs literature: synthesis of memoirs and autobiographical constituents]. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie* [Bulletin of the Adygeya State University. Series 2: Literature and Art Criticism], 2014, issue 1(134), pp. 187–191. (In Russ.)

Shaitanov I. O. *Kak bylo i kak vspomnilos' (sovremennaya avtobiograficheskaya i memuar'naya*

*proza)* [How it was and how it was recalled (contemporary autobiographical and memoir prose)]. Moscow, Znanie Publ., 1981. 64 p. (In Russ.)

*Slovar' inostrannykh slov russkogo yazyka* [The Russian dictionary of foreign words]. Available at: [http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/8454/БУРЖУАЗНЫЙ](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/8454/БУРЖУАЗНЫЙ) (accessed 28.08.2017). (In Russ.)

## THE POETICS OF THE AUTOBIOGRAPHICAL AND MEMOIR FEATURES IN O. VOLKONSKAYA'S PROSE (Based on the Collection of Short Stories *Violets and Wolves*)

**Svetlana V. Burdina**

Professor in the Department of Russian Literature

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614000, Russian Federation. [swburdina@rambler.ru](mailto:swburdina@rambler.ru)

SPIN-code: 3865-3401

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2926-9463>

ResearcherID: Q-7810-2017

**Svetlana V. Melnichukova**

Postgraduate Student in the Department of Russian Literature

Perm State University

15, Bukireva st., Perm, 614000, Russian Federation. [svetlana.melnichukova@gmail.com](mailto:svetlana.melnichukova@gmail.com)

SPIN-code: 8493-2896

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7923-1343>

ResearcherID: S-2331-2017

*Submitted 10.11.2017*

This paper deals with the uniqueness of short stories by the Russian writer O. Volkonskaya, whose oeuvre has been poorly studied by scholars. The paper considers the book of short stories *Violets and Wolves* and shows the distinctive features of the author's creative writing. The book consists of two parts: *Paris Violets* and *Argentinean Outskirts*. Some of the stories were written in Prague, Czechoslovakia at that time, and the rest were written in the Soviet Union, the author's homeland. The stories have autobiographical features and characteristics of memoirs. Furthermore, the paper reveals the impartial and subjective features of O. Volkonskaya's writings, as well as the author's national and universal views presented in the stories. The paper draws a clear distinction between memoir and autobiographical features of the prose. It studies different female characters created by the writer and shows that the Argentinian cycle presents characters in more detail than the Paris one. The paper also provides a description of O. Volkonskaya's unpublished short stories, plays, and poetry.

In her book, Volkonskaya touches upon the most topical philosophical, ethical, and moral issues. Her short stories show the reality in a very individual way. She describes people and their feelings, events strongly influencing their lives. In the stories, she expresses her own feelings and reflects her personal experience concerning religion, society, politics and culture.

It is concluded that the unique and distinctive prose of Volkonskaya is a literary phenomenon, creating a synthesis of documentary, autobiographical, memoir, and art of literature features. Such a unique literary genre creates a full picture of the modern society and helps to understand the life of a person and the destiny of the whole generation.

**Key words:** O. Volkonskaya; memoir features; autobiographical features; synthesis; prose; collection; story.

УДК 070:821.161.1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-64-71

## УРАЛ ИЗ ОКНА ВАГОНА: СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ И ТРАВЕЛОГ<sup>1</sup>

**Елена Георгиевна Власова****к. филол. н., доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций****Пермский государственный национальный исследовательский университет**

614990, Россия, г. Пермь, ул. Букирева, 15. elena\_vlasova@list.ru

SPIN-код: 1454-8997

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-9309-0417>

ResearcherID: Q-2048-2016

Статья поступила в редакцию 09.01.2018

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Власова Е. Г. Урал из окна вагона: средства коммуникации и тревелог // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 64–71. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-64-71***Please cite this article in English as:***Vlasova E. G. Ural iz okna vagona: sredstva kommunikatsii i travelog [The Urals from a Railway Carriage Window: Means of Communication and Travelogues]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 64–71. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-64-71 (In Russ.)*

Статья посвящена характеристике железнодорожного дискурса уральских тревелогов конца XIX – начала XX в. Основным теоретико-методологическим обоснованием данного феномена послужило понимание средства коммуникации, в данном случае железной дороги, как сообщения, основным содержанием которого является «изменение масштаба, скорости или формы» (М. Маклюэн) деятельности человека. Одним из важнейших социокультурных изменений, вызванных железной дорогой, оказалась новая визуальность, опосредованная высокой скоростью движения. Поезд позволил современникам увидеть мир по-новому, став своего рода «взглядом». Под этим взглядом происходит новая конфигурация пространства, в котором разворачивается движение. В частности, быстрая смена визуальных впечатлений запускает механизмы семиотизации, которые позволяют упорядочить калейдоскопичность зрительного потока. В результате усиливается роль ассоциативного мышления, связанного с обращением к общепозитическому контексту, с одной стороны, и к литературной традиции описания Урала – с другой. Еще одним фактором, повлиявшим на восприятие уральского пространства в железнодорожном путешествии, становятся интенсивные кинестетические ощущения, связанные с динамикой механического движения. Можно сказать, что железнодорожные тревелогисты сформировали органичный для Урала стиль описания, соответствующий динамичному характеру горного рельефа. Кроме того, железнодорожные тревелогисты по-новому структурировали уральский ландшафт. Фокусными точками путешествия становятся крупные горнозаводские центры Урала, соединение которых и являлось главной «миссией» уральской железной дороги. Железнодорожный маршрут, предполагавший движение от одного города-завода к другому, вернул Уралу заметно потускневшие к середине XIX в. черты горнозаводской державы.

**Ключевые слова:** тревелог; железная дорога; средство коммуникации; образ Урала; восприятие пространства; маршрут.

Понимание средств коммуникации как движущей силы общественного развития со всей очевидностью проявляется в информационную эпоху. Занимаясь изучением влияния электронных технологий на массовую культуру, М. Маклюэн сформулировал революционный

тезис о том, что «средства коммуникации являются сообщением» [Маклюэн 2003: 9]. По мнению М. Маклюэна, «человеческие чувства, расширениями которых становятся все без исключения средства коммуникации, конфигурируют сознание и опыт каждого из нас» [там же: 26].

Так, колесо послужило человеку «отделительным падежом», благодаря которому он смог расширить возможности своего физического перемещения и поменять «синтаксис общественно-го устройства»: колесо привело к развитию городов и централизованных государств.

Сообщением любого средства коммуникации, по М. Маклюэну, является «изменение масштаба, скорости или формы, которое приносится им в человеческие дела» [Маклюэн 2003: 10]. Железная дорога в этом отношении привела к резкому изменению скорости и масштабов деятельности человека: «Железная дорога ... ускорила прежние человеческие функции, укрупнила их масштабы, создав совершенно новые типы городов и новые виды труда и досуга» [там же].

Значение железной дороги как важнейшего явления культуры становится предметом интенсивной рефлексии с момента ее появления. Железная дорога меняла ощущение пространства, которое поглощалось скоростью. Г. Гейне, присутствовавший в 1843 г. на открытии железной дороги Орлеан – Руан, писал: «Какие изменения должны теперь наступить в наших представлениях, в наших воззрениях! Поколебались даже элементарнейшие представления о времени и пространстве. Железная дорога убила пространство, осталось лишь одно время... Мне кажется, будто горы и леса приближаются к Парижу. Я слышу запах немецких лип, и у моей двери бушует Северное море» [Гейне 1958: 218–219].

Образ «приближающихся к Парижу гор и лесов» фиксирует принципиально важную для определения пространственного модуса человека опцию – особенность видения. Во время движения на поезде зрение человека сталкивается с ускоренной сменой наблюдаемого, что приводит к перцептивному шоку. В. Гюго в попытке описать увиденное из окна поезда обращается к образу сумасшедшего танца: «Цветы по обочинам дороги скорее не цветы, а пятна, или даже полосы, красные и белые; больше нет точек, все становится полосой; зерновые поля как огромные копны золотистых волос; поля люцерны – длинные зеленые косы; города, колокольни и деревья исполняют сумасшедший, беспорядочный танец» [цит. по: Schivelbusch 1986: 55–56]. Постепенно человек привыкает к новому визуальному потоку, однако новое зрение меняет парадигму восприятия.

Актуальное искусство особенно колоритно отражает эту трансформацию – так появляется динамический пейзаж футуристов. Поезд становится важнейшим объектом футуристических экспериментов. Достаточно вспомнить картины К. Малевича «Станция без остановки. Кунцево» и И. Клыона «Пробегающий пейзаж». И. Клыон называл свои картины «кинетическим кубиз-

мом», определяя его как «расчленение предмета и развертывание его на плоскости» при сохранении «множественности точек зрения» [Малевич 2004: 76].

Анализируя изменения визуального восприятия пространства в связи с изобретением поезда, автор фундаментального культурологического исследования о железной дороге В. Шивельбуш говорит о том, что пейзаж за окном вагона превращается в панораму [Schivelbusch 1986]. Панорамность видения предполагает активность восприятия: для того чтобы собрать растянутое и разрозненное пространство, необходимо творческое усилие наблюдателя.

Поезд заставил современников увидеть мир по-новому, он сам стал «взглядом». Это качество поезда, по мнению Г. Амелина, выразительно запечатлелось в ранней прозе Б. Пастернака. Исследователь обращается к известному фрагменту, в котором героиня повести «Детство Люверс», припав к вагонному окну, с интересом разглядывает открывшуюся перед ней панораму Уральских гор:

«Горная панорама раздалась и все растет и ширится. Одни стали черны, другие освежены, те помрачены, эти помрачают. Они сходятся и расходятся, спускаются и совершают восхождения. Все это производится по какому-то медлительному кругу, как вращенье звезд, с бережной сдержанностью гигантов, на волосок от катастрофы, с заботой о целостности земли. Этими сложными передвижениями заправляет ровный, великий гул, недоступный человеческому уху и всевидящий. Он окидывает их орлиным оком, немой и темный, он делает им смотр. Так строится, строится и перестраивается Урал» [Пастернак 1991: 47].

В этом фрагменте нашли отражение такие черты новой визуальности, как круговое движение взгляда и особые, обоюдонаправленные, отношения между путешественником и ландшафтом. Комментируя фрагмент, Г. Амелин подчеркивает интенсивность переживания пространства, которое освобождается от привычного, подчиненного человеку, положения: «Это не просто взгляд, а само рождение взгляда. ... Девочка смотрит так, как будто никто никогда Урала еще не видел. ... Ландшафт – открытие Люверс. Лишняя пара глаз этому ландшафту не нужна, он сам – всевидящий и, как говорит автор, – делает смотр» [Амелин 2009:74]. Таким образом, исчезновение пространства оборачивается его открытием. Движение поезда открывает внутреннюю динамику горного массива и его сущность в имени, которое в многократных повторах-раскатах сонорного *p* и акустическом образе пробужденного «великого гула» как бы «вырастает само собой из ландшафта» [Абашев 2008: 144].

Общее изменение визуального впечатления не могло не сказаться на рецепции конкретных ландшафтов и, как следствие, на традиции их литературного описания. Новое средство коммуникации преобразовало не только ландшафт, но и локальный текст. В этом отношении травелог, которые мы вслед за Е. Г. Милюгиной, М. В. Строгановым [Милюгина, Строганов 2013] и Е. Р. Пономаревым [Пономарев 2014] будем понимать как тексты, появившиеся по итогам реальных путешествий (т. е. тексты, написанные по следам конкретной поездки), представляют собой наиболее органичный для изучения дорожных дискурсов материал. Кроме того, на протяжении достаточно длительного времени, в том числе в XIX в., травелог оставался основным жанром литературного описания Урала. В целом уральский травелог XVIII – начала XX в. может служить репрезентативным примером того, как последовательная смена транспортных коммуникаций находит отражение в изменениях литературного образа пространства.

Западная наука уже давно начала разработку экстралитературных подходов к изучению травелога. Среди них имеются исследования, посвященные транспортным особенностям путешествия. В частности, С. Смит в книге «Жизнь в движении» называет средство передвижения окуляром, поставленным между сознанием путешественника и посещаемыми странами [Smith 2001: 23].

В современной отечественной науке подобная проблематика пока только заявляется в перечне возможных подходов к анализу травелога, как это произошло в монографии Е. Г. Милюгиной и М. В. Строганова «Русская культура в зеркале путешествий». В любом случае ни в западной, ни в отечественной науке проблема влияния способа передвижения на образ создаваемого в травелоге пространства предметом специального рассмотрения не стала.

На наш взгляд, каждый из способов путешествия формирует особую традицию описания пространства, которую следом за Е. А. Ковалевой мы определяем, опираясь на понятие дискурса. Железнодорожный дискурс, послуживший предметом рассмотрения Е. А. Ковалевой, характеризуется как «совокупность интерпретационно-тематически и культурологически связанных текстов, представляющих в своем “лексиконе” один из “возможных миров” (Ю. С. Степанов), центральным концептом которого выступает “железная дорога”» [Ковалева 2009: 3]. В соответствии с общим развитием транспортных коммуникаций в уральском травелоге XVIII – начала XX в. сложилось несколько крупных дорожных дискурсов: гужевой, пароходный, железно-

рожный [Власова 2010: 116]. Каждый из них представил специфический образ уральского ландшафта, в котором по-разному расставлялись географические, социально-экономические и историко-культурные доминанты.

Уральская горнозаводская железная дорога (УГЖД) была открыта в 1878 г. Это была острорельсовая железнодорожная система, главной целью которой послужило транспортное обеспечение горнозаводской экономики Урала, пребывающей в состоянии затяжного кризиса, в том числе из-за отсутствия удобного сообщения. Кроме того, новая дорога должна была решить проблему возрастающих грузового и пассажирского потоков между центральной Россией и Сибирью.

Среди авторов железнодорожных травелогов были ученые (Э. П. Янышевский «Уральская горнозаводская железная дорога и Верхотурский край: путевые впечатления». Пермь, 1887), писатели (Д. Н. Мамин-Сибиряк «От Урала до Москвы». Русские ведомости. 1881–1882; Н. Д. Телешов «За Урал». М., 1897), журналисты (С. А. Кельцев «Из поездки на Урал». М., 1888; Н. Н. Рейхельт «По северу и югу». Исторический вестник. 1909), краеведы (А. А. Кольчев «От Томска до Яренска». Дорожник по Сибири и Азиатской России. 1901) и др. Все эти травелог были написаны в жанре популярного в периодике того времени путевого очерка, представлявшего собой соединение научного (экономического, географического, этнографического) и очеркового повествований. Благодаря своим документальным установкам травелог подробно фиксировали последовательность маршрута, выстраивая пространство в соответствии с реальным развитием поездки. С другой стороны, очерковый характер описания не исключал эмоционально-образной оценки увиденного, что позволяет рассматривать эти тексты в общем литературном контексте. Ввиду своей двойственной природы травелог представляется репрезентативным материалом для обнаружения внутренних связей между экстралитературными обстоятельствами путешествия и образом пространства.

Способ перемещения связан со специфическим комплексом телесных ощущений: тактильных, зрительных, слуховых, кинестетических и т. д. Соотношение чувств выстраивается в каждом виде путешествия по-разному, заставляя путешественника особым образом воспринимать окружающее. Поездка в повозке, например, позволяет сохранить основные ощущения человека, непосредственно включенного в пространство: объемное видение, слуховые и тактильные ощущения, связанные с переменной погодой, дорожного покрытия, звукового фона. Невысокая скорость перемещения существенно не влияет на

доминирующие в этом виде путешествия зрительные и тактильные ощущения. Если говорить о другом важнейшем для Урала виде путешествия – поездке на пароходе, нужно отметить плавность движения, при котором тактильные ощущения редуцируются, а роль наблюдения, наоборот, усиливается. Характер этого наблюдения определяется достаточно распространенным сравнением пароходных видов с картиной в раме или сеансом синемаатографа.

В отличие от гужевого и пароходного способов восприятия, переживание пространства у путешествующих по железной дороге опосредовано ощущением скорости. Интенсивность кинестетических впечатлений, связанных с повышенной скоростью перемещения, усиливается благодаря горному характеру уральского рельефа: постоянные повороты подчеркивают динамичность движения: «Но вот поезд от горного отрога круто завернул по покатоности к мосту, “на закрытых парах” не более чем в полминуты пролетел сквозь решетчатые предохранительные стены казавшегося далеко моста, и повернув еще круче вправо, остановился у самой большой на Уральской дороге станции Чусовой...» [Кельцев 1888: 44]; «Находясь в вагоне, чувствуешь, как вагон сильно наклоняется то на один, то на другой бок, а, выглянув в окно, видишь, что поезд постоянно изогнут в крутую дугу...» [там же: 48].

В железнодорожном путешествии зрение подчинено скорости, ощущению быстрого и неровного движения. Пейзаж за окном дробится, панорама превращается в круговорот мелькающих «знаков»: «Смотришь в окно и видишь, как мелькают телеграфные столбы, знаки, лес, избушки, сторожа с флажками; картины меняются поминутно, и – то поезд мчится с подошвы гордо поднимающейся горы, то пересекает гору и входит словно в коридор, и в вагоне становится сумрачно и потом снова светло ... а внизу, как пропасть, зияет болотное, заросшее травой и мохом, озерцо» [Колычев кн. 3: 7].

Ракурс постоянно меняется: то это взгляд вниз – в пропасть, то вверх – к вершине подступившей горы, то – вдаль, к открывшемуся горизонту. Свет сменяет темнота тоннеля, а огни приближающейся станции оказываются то с одной стороны поезда, то с другой.

Пожалуй, одним из самых точных определений этого типа зрительного впечатления может стать его сопоставление с калейдоскопом. Разрозненные фрагменты, вращаясь, собираются в картинку, конфигурация которой зависит от творческой воли наблюдателя. Как показал М. Ямпольский, собирание визуального потока во время железнодорожной поездки опирается на «связывание видимого с образами памяти»:

«Зрение блуждает в пространстве, покуда не испытывает “неистового эффекта знака”, покуда не сталкивается со “знакомым незнакомым”» [Ямпольский 2000: 92]. Получается, что характер движения располагает к подключению ассоциативной памяти, в результате которого происходит семиотизация пространства. Не случайно железная дорога сформировала богатейшую литературную традицию, у истоков которой стоят Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Белый, А. Блок, Б. Пастернак, С. Есенин, И. Бунин.

Не претендуя на оригинальность ассоциаций, травелог, тем не менее, наглядно демонстрирует процесс семиотизации впечатлений. Чаще всего путешественники пользуются при этом устойчивыми образами популярного литературного контекста, нередко повторяя друг друга. В железнодорожных травелогах устойчивым становится сравнение уральского пейзажа с гигантским каменным городом. Поезд проходит через каменные ворота и движется вдоль гигантских стен, образующих тесные коридоры:

«То видишь почти под собою страшные овраги, за которыми далеко-далеко вырастают гигантские холмы, покрытые лесом, то внезапно встречаешь у самой дороги дикие стены разрубленной надвое скалы, в которую поезд проскальзывает, как в ворота, и мчится среди зловещих изуродованных камней, сажени в три или четыре ростом» [Телешов 1897: 308]; «Отходя от станции Чусовой версты две, поезд круто поворачивает влево от скалистых уже здесь берегов Чусовой и входит в глубокий горный овраг; справа и слева от рельс возвышаются холмистые горные стены, и поезд идет как бы в коридоре» [Кельцев 1888: 48]; «Первый на восточном склоне прорыв скалы, через который проходит железная дорога, находится тотчас за станцией Азиатскою и тянется более чем на четверть версты: обломанные стены из глинистого сланца и других каменных пород возвышаются по бокам вагонов на 8-9 аршин» [там же: 54].

Безусловно, эти сравнения инспирированы общепозитической традицией описания гор как крепостных стен каменного города. Однако, попадая в сферу локального текста, эти общепозитические метафоры по-своему конкретизируются. Заметно, что в представленных описаниях доминирует ощущение глубины, которое рождается благодаря повторяющимся образам коридора, тоннеля, высоких стен. При этом устремленность увиденного из окна вагона пространства вглубь усиливается рассказами о горных богатствах Урала: «Близ станции Кушва, верстах в двух, находится магнитная гора Благодать, знаменитая по богатству своей руды...» [Телешов 1897: 25]; «Вот он, первобытный уральский пейзаж, с не-

проездными целинами, с неисследованными рудными богатствами, залегающими, может быть, тут же, в нескольких шагах от полотна железной дороги» [Рейхельт 1909: 742].

Семиотизация визуальных наблюдений железнодорожного путешествия по Уралу оказывается тесно связанной с горнозаводским укладом местной культуры. Общепозитические ассоциации, восходящие к топосу каменного города, соединяются с горнозаводской семантикой уральского пространства, создавая образ не просто рукотворного, но техногенного ландшафта.

Не менее важным экстралитературным фактором, влияющим на формирование образа пространства в травелог, является маршрут поездки. По точному наблюдению М. В. Строганова и Е. Г. Милюгиной, травелог как специфический тип литературного текста обладает способностью связывать пространство: «Текст путешествия можно представить в качестве цепочки локальных текстов, но гораздо важнее, что путешествие фиксирует системно-синтаксические связи между этими локальными текстами» [Милюгина, Строганов 2013: 13]. Главной осью, собирающей пространство путешествия, совершенно закономерно становится маршрут поездки. Маршрут, выстроенный в соответствии с целью путешествия, представляет собой направленное движение, основными пространственными составляющими которого являются точки остановок и пути между ними. Образ пространства, созданного в травелог, самым непосредственным образом зависит от направления движения и фокусных точек маршрута.

В соответствии со стратегическими задачами развития Уральского региона УГЖД была построена как магистраль, связующая крупнейшие горнозаводские центры Среднего Урала. Закономерно, что для путешествующих по ней пассажиров определяющими структурными элементами уральского пространства становятся заводы. Доминирующее положение завода в уральском ландшафте выразительно представлено именно в железнодорожном травелог: «Но вот лес начинает редеть, все больше и больше вырубленных пространств, и наконец открывается огромная ровная площадь, на которой не осталось ни одного дерева, а только торчат из земли голые пни и вдали виднеется громадный Надеждинский завод и широко раскинувшийся поселок. Большинство домиков чистенькие, похожие друг на друга, как родные братья. Громадные трубы с клубами черного дыма, высокие домны, выбрасывающие снопы пламени – все это господствует над окружающей местностью» [Г-н С. 1906: 3].

Таким образом, железнодорожное пространство строится на взаимодействии уральских гор-

ных обрывов, которые доминируют в восприятии местной природы, и городов-заводов, составляющих основу антропогенного ландшафта.

В травеложных описаниях уральской железной дороги совсем нет рефлексии по поводу разрушительного воздействия технического прогресса, как нет и повышенного чувства опасности, несмотря на то, что путешественники зачастую ехали ночью. Преобладает восхищение силой человека, покорившего суровое пространство: «...Повсюду леса, леса и камни, и нигде незаметно признаков руки человеческой, кроме железнодорожного полотна, и с восторгом глядишь на эту девственную картину природы и с изумлением любишь человеческими трудами, этими пробитыми скалами, образующими целые коридоры» [Телешов 1897: 23]. А. П. Чехов, ругавший уральские города за их серость, скуку и грязь, местную железную дорогу хвалит: «...Уральская дорога везёт хорошо. Баромлей и Мерчиков<sup>2</sup> нет, хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого» [Чехов 1975: 70].

Очевидно, что путевые описания железной дороги совпали с уже существующей в образе Урала горнозаводской семантикой. Железнодорожные травелоги зафиксировали процесс собирания горнозаводского пространства Урала, которое оказалось основным в отраженном ландшафте. Железная дорога становится своего рода силовой линией Уральского региона, соединившей его ключевые точки, как некогда связывал их сплав железных караванов.

В железнодорожном пространстве Урала определяются свои семиотические центры. С открытием УГЖД екатеринбургский Урал существенно «потеснил» Пермь в объеме и масштабе путевых записей. Намечается противостояние речной Перми и делового, железного Екатеринбурга. В отличие от Перми, где железнодорожное путешествие только начиналось (ветка была островной и развивалась прежде всего в восточном направлении), Екатеринбург быстро становится железнодорожным узлом: вскоре после открытия ветки Пермь – Екатеринбург начинается строительство дороги до Тюмени, а потом к Екатеринбургу выводят ответвление от Самаро-Златоустовской железной дороги. В этой ситуации Пермь превращается в транзитный пункт, соединивший крайнюю точку речного и железнодорожного путешествий. Зимой по причине окончания навигации транзитное значение города на Каме заметно тускнеет, город – особенно для путешествующих на запад – становится конечным пунктом, где цивилизованные пути прерываются.

Так, геокультурная безысходность Перми была с нажимом проговорена в железнодорожном путешествии Мамина-Сибиряка. В известном вагонном споре о том, «что Перме не бывать супротив Екатеринбургa», один из основных аргументов отсылал к соперничеству реки и железной дороги: «Што, ежели будем говорить на счет реки, так опять зиму то она мертвая, а чугунок все пыхтит и пыхтит» [Мамин-Сибиряк 1998: 285]. Это кажется парадоксальным, но открытие уральской железной дороги усугубило негативные коннотации образа Перми, восходящие к резкой характеристике П. И. Мельникова-Печерского, который писал о «мертвенной пустоте» [Мельников-Печерский 1842: 2] города на Каме. С другой стороны, относительная пространственная изоляция Перми стала дополнительным стимулом компенсирующего ее городского стиреллинга [Абашев 2010: 14].

В целом, благодаря ощущению высокой скорости движения железнодорожные путешествия нашли органичный для горного Урала стиль описания, передающий особую кривизну ландшафта. Никогда раньше, ни в гужевом, ни в пароходном путешествии, образ уральского пространства не был таким извилистым. Кроме того, железнодорожные травелоги по-новому структурировали уральский ландшафт. Взгляд из окна вагона, движущегося в теснине Уральских гор, акцентировал внимание на глубине пространства, а конфигурация маршрута, проложенного от одного города-завода к другому, вернула Уралу заметно потускневшие к середине XIX в. черты горнозаводской державы.

Органичность железной дороги уральскому пространству выразительно запечатлел Б. Пастернак. Не случайно среди важнейших железнодорожных текстов русской литературы называют уральские произведения поэта – повесть «Детство Люверс», стихотворение «Урал впервые» и юртинскую часть романа «Доктор Живаго». По словам А. Флакера, в железнодорожных произведениях Б. Пастернака происходит «освоение нового пространства видением девочки и рассказчика через окно вагона» [Флакер 2001: 221]. Железнодорожный травелог, оставаясь в рамках своей сферы бытования, проделал эту дискурсивную работу намного раньше. В пространстве локального текста уральский травелог стал своего рода литературным разведчиком железнодорожного пространства Урала.

#### Примечания

<sup>1</sup> Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РГНФ в рамках проекта №15-14-59004 а(р) «Маршрутами российских первопроходцев: образно-географическая карта Урала

в путевых отчетах ученых и писателей XVIII – начала XX вв.»

<sup>2</sup> Боромля и Мерчик – небольшие станции Харьковско-Николаевской ж. д.

#### Список источников

*Г-н С. (С. Геммельман)*. По Богословской дороге. От Кушвы до Верхотурья и Богословска // ПГВ. 1906. 20 июля. С. 3

*Кельцев С. А.* От Москвы до Екатеринбурга (Из путевых заметок) // Кельцев С. А. Из поездки на Урал. М., 1888. С. 1–72.

*Кичеева В.* В страну золота и печали (Путевые наброски) // Колосья. 1890. № 9. С. 88–115.

*Мамин-Сибиряк Д. Н.* От Урала до Москвы // В Парме. Пермь: Перм. книж. изд-во, 1988. С. 162–298.

*Мельников П.* Дорожные записки на пути из Тамбовской губернии в Сибирь. Статья десятая // Отечественные записки. 1842. Т. XXI. С. 1–15.

*Пастернак Б.* Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4: Повести. Статьи. Очерки. М.: Худож. лит., 1991. 910 с.

*Рейхельт Н. Н.* По северу и югу (Картинки России) // Исторический вестник. 1909. Т. 115, № 2. С. 725–733.

*Телешов Н.* За Урал. Из скитаний по Западной Сибири: Очерки. М.: Тип. «Товарищество И. Д. Сытина», 1897. 213 с.

*Чехов А. П.* Письмо Чеховым, 29 апреля 1890 г. Екатеринбург // Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 т. Письма: в 12 т. Т. 4: Письма, январь 1890 – февраль 1892 / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 1975. С. 70–73.

#### Список литературы

*Абашев В.* Урал как предчувствие. Заметки о геопозитике Бориса Пастернака // Вопросы литературы. 2008. № 4. С. 125–144.

*Абашев В. В.* Неосвязаемое тело города. Опыт работы со смыслом // Антропологический форум. 2012. № 7. С. 10–16.

*Амелин Г., Мордерер В.* Письма о русской поэзии. М.: Знак, 2009. 424 с.

*Власова Е. Г.* «Дорожные дискурсы» уральского травелога XVIII – начала XX в. // Вестник Пермского университета. Русская и зарубежная филология. 2010. № 6. С. 115–122.

*Гейне Г.* Лютеция: Статьи о политике, искусстве и народной жизни / пер. А. В. Федорова; под ред. А. И. Дейча // Гейне Г. Собр. соч.: в 10 т. М.: ГИХЛ. Т. 8. 1958. 394 с.

*Ковалева Е. А.* Элементы «железнодорожного дискурса» в поэзии серебряного века: лексический аспект: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2009. 21 с.

Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с.

Малевиц о себе. Современники о Малевиче: письма. документы. воспоминания. критика: в 2 т. Т. 2 / авт.-сост.: И. А. Вакар, Т. Н. Михиенко. М.: РА, 2004. 679 с.

Милюгина Е. Г., Строганов М. В. Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. 176 с.

Пономарев Е. Р. Типология советского путешествия: «Путешествие на Запад» в русской литературе 1920–1930-х годов: дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2014. 577 с.

Флакер А. Освоение пространства поездом (заметки о железнодорожной прозе Б. Пастернака) // Slavica Tergestina. 2001. № 8. С. 219–225.

Черепанова Н. В. Путешествие как феномен культуры: автореф. ... канд. филос. наук. Томск, 2006. 20 с.

Ямпольский М. Наблюдатель. Очерки истории видения. М.: Ad Marginem, 2000. 288 с.

Schivelbusch W. The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19-th century. Berkeley, 1986. 203 p.

Smith S. Moving Lives. Twentieth-Century Women's Travel Writing. Minneapolis; L.: University of Minnesota Press, 2001. 240 p.

## References

Abashev V. V. Ural kak predchuvstvie. Zametki o geopoetike Borisa Pasternaka [The Urals as a Premonition. Notes on the geopoetics of Boris Pasternak]. *Voprosy literatury*, 2008, issue 4, pp. 125–144. (In Russ.)

Abashev V. V. Neosyazaemoe telo goroda. Opyt raboty so smyslom [Intangible body of the city. Experience of work with the meaning]. *Antropologicheskii forum* [Forum for Anthropology and Culture], 2012, issue 7, pp. 10–16. (In Russ.)

Amelin G., Morderer V. *Pis'ma o russkoy poezii* [Letters on Russian poetry]. Moscow, Znak Publ., 2009. 424 p. (In Russ.)

Vlasova E. G. «Dorozhnye diskursy» ural'skogo traveloga 18 – nachala 20 v. [The “travelling discourses” in the Urals travelogue of the 18<sup>th</sup> c. to the beginning of the 20<sup>th</sup>]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2010, issue 6, pp. 115–122. (In Russ.)

Heine H. Lyutetsiya: stat'i o politike, iskusstve i narodnoy zhizni [Lutetia: articles on politics, art and people's life]. Transl. by A. V. Fedorov, ed. by A. I. Deutsch. Heine H. *Sobranie sochineniy: v 10 t.*

[Collection of works: in 10 vols.]. Moscow, Gosudarstvennoe Izdatel'stvo Khudozhestvennoy Literatury Publ., 1958, vol. 8. 394 p. (In Russ.)

Kovaleva E. A. *Elementy «zheleznodorozhnogo diskursa» v poezii serebryanogo veka: leksicheskiy aspekt*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Elements of the “railway discourse” in the poetry of the Silver Age: lexical aspect. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Moscow, 2009. 21 p. (In Russ.)

McLuhan H. M. *Ponimanie Media: Vneshnie rasshireniya cheloveka* [Understanding Media: The Extensions of Man]. Moscow, Zhukovskiy, Kanon-Press-Ts, Kuchkovo pole Publ., 2003. 464 p. (In Russ.)

*Malevich o sebe. Sovremenniki o Maleviche: pis'ma, dokumenty, vospominaniya, kritika: v 2 t.* [Malevich about himself. Contemporaries about Malevich: letters, documents, memories, criticism]. Comp. by I. A. Vakar, T. N. Mikhienko. Moscow, RA Publ., 2004, vol. 2. 679 p. (In Russ.)

Milyugina E. G., Stroganov M. V. *Russkaya kul'tura v zerkale puteshestviy* [Russian culture in the mirror of travelling]. Tver, Tver State University Publ., 2013. 176 p. (In Russ.)

Pasternak B. *Sobranie sochineniy: v 5 t.* Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1991, vol. 4. Povesti; Stat'i; Ocherki [Tales; Articles; Essays]. 910 p. (In Russ.)

Ponomarev E. R. *Tipologiya sovetskogo puteshestviya: «Puteshestvie na Zapad» v russkoy literature 1920–1930-kh godov*. Diss. dokt. filol. nauk [Typology of Soviet travelling: “Journey to the West” in Russian literature of the 1920–1930s. Dr. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2014. 577 p. (In Russ.)

Flaker A. *Osvoenie prostranstva poezdom (zametki o zheleznodorozhnoy proze B. Pasternaka)* [Space exploration by train (notes on the railway of Boris Pasternak)], *Slavica TerGestina*, 2001, issue 8, pp. 219–225. (In Russ.)

Cherepanova N. V. *Puteshestvie kak fenomen kul'tury*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [Traveling as a cultural phenomenon. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Tomsk, 2006. 20 p. (In Russ.)

Yampol'skiy M. *Nablyudatel'. Ocherki istorii videniya* [The observer. Essays on the history of vision]. Moscow, Ad Marginem Press, 2000. 288 p. (In Russ.)

Schivelbusch W. *The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19-th century*. Berkeley, 1986. 203 p. (In Eng.)

Smith S. *Moving Lives. Twentieth-Century Women's Travel Writing*. Minneapolis, London, University of Minnesota Press, 2001. 240 p. (In Eng.)

## THE URALS FROM A RAILWAY CARRIAGE WINDOW: MEANS OF COMMUNICATION AND TRAVELOGUES

**Elena G. Vlasova**

**Associate Professor in the Department of Journalism and Mass Communications  
Perm State University**

15, Bukireva st., Perm, 614000, Russian Federation. elena\_vlasova@list.ru

SPIN-code: 1454-8997

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9309-0417>

ResearcherID: Q-2048-2016

*Submitted 09.01.2018*

The article considers the railway discourse of Ural travelogues of the late 19<sup>th</sup> – early 20<sup>th</sup> centuries. The main theoretical and methodological justification for this phenomenon was the understanding of the means of communication, in this case of the railway, as a message whose main content is “changing of the scale, speed or shape” (M. McLuhan) of human activity. One of the most important sociocultural changes caused by the railway was a new visuality, mediated by the high speed of movement. The train allowed contemporaries to see the world in a new way, becoming a sort of “a view”. A new configuration of space in which movement develops takes place under this view. Particularly, a rapid change of visual impressions triggers semiotization mechanisms, which allow one to regulate the kaleidoscope of the visual flow. As a result, the role of associative thinking, linked with the general poetic context, on the one hand, and the literary tradition of describing the Urals, on the other hand, increases. Another factor that influenced the perception of the Ural space during a railway journey is the intense kinesthetic sensations associated with the dynamics of mechanical motion. It can be said that railway travelogues formed for the Urals an organic style of description that suits the dynamic nature of the mountainous terrain. Moreover, railway travelogues restructured the Ural landscape in a new way. The large mining centers of the Urals, connecting which was the main mission of the Ural railway, become the key points of the trip. The railway route, which presupposed the movement from one city-plant to another one, returned to the Urals the features of the mining power, having dimmed by the middle of the 19<sup>th</sup> century.

**Key words:** travelogue; railway; means of communication; image of the Urals; perception of space; route.

УДК 821(7/8).09-1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-72-82

## СЮРРЕАЛИЗМ И МИФ: ПОЭТИКА «ОБСИДИАНОВОЙ БАБОЧКИ» ОКТАВИО ПАСА

**Анастасия Валерьевна Гладощук**

аспирант кафедры истории зарубежной литературы

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. [appletart@mail.ru](mailto:appletart@mail.ru)

SPIN-код: 5515-8261

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7246-4371>

ResearcherID: E-1683-2018

*Статья поступила в редакцию 12.03.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Гладощук А. В. Сюрреализм и миф: поэтика «Обсидиановой бабочки» Октавио Паса // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 72–82. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-72-82***Please cite this article in English as:***Gladoshchuk A. V. Syurrealism i mif: poetika «Obsidianovoy babochki» Oktavio Pasa [Surrealism and the Myth: Poetics of Octavio Paz's *Obsidian Butterfly*]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 72–82. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-72-82 (In Russ.)*

В статье ставится вопрос о взаимодействии индейской культуры и сюрреализма в творчестве Октавио Паса. На примере стихотворения в прозе «Обсидиановая бабочка» из книги «Орел или солнце?» (1951) показано, как с помощью реализованных метафор Пас, подобно сюрреалистам, имитирует миф, создавая собирательный образ женского индейского божества и вместе с тем – своего рода мексиканский вариант «сюрреалистической женщины». Однако аналогия, к которой прибегает поэт, не воспринимается как произвольная фигура языка в силу имманентности своеобразного «сюрреализма» индейскому художественному мышлению. Формируя «новый миф», Пас наделяет его как универсальным, так и специфически мексиканским значением. Историческая динамика образа богини Итцапалотль («Обсидиановой бабочки») позволяет ему раскрыть синтетическую множественность женского начала через характерную для месоамериканских мифологических систем взаимозаменяемость ипостасей Великой Матери, которые в колониальную эпоху, с приходом христианства, соединятся в образе Девы Марии Гвадалупской. Заглавный образ также воплощает оба полюса «архетипической» мексиканской женщины, какой она изображена в книге «Лабиринт одиночества» (1950, 1959): в героине можно увидеть «изнасилованную Мать», метафору Конкисты, и в то же время – мать-утешительницу, в лоне которой обретается первоначальная гармония. Еще один уровень интерпретации – метатекстовый: «Обсидиановая бабочка» есть сама поэзия. И здесь сюрреалистическое значение вновь сопрягается с индейским: «Сюрреалистическими бабочками» назывались инструкции и максимы, распространявшиеся Бюро сюрреалистических исследований; в текстах науатль же образ бабочки мог соотноситься с поэтическим творчеством.

**Ключевые слова:** Октавио Пас; «Обсидиановая бабочка»; ацтекская мифология; сюрреалистическая женщина; сюрреализм; миф; метафора; философия мексиканскости.

«Теллурический сюрреализм», возникший в результате «осмоса» между сюрреализмом и автотонным мышлением, – так Аллен Боске, французский писатель и критик русского происхождения, охарактеризовал творчество Октавио Паса в своей книге «Слово и головокружение: Положения поэзии» (1961) [Bosquet 1961: 188]. Пятнадцатью годами ранее Габриэла Мистраль, напротив, упрекнула молодого поэта в недостаточной «теллуричности» [Paz 1997: 325]. Хотя в устах чилийской поэтессы слово «теллурический», несомненно, облекается дополнительными культурными коннотациями, предмет оценки Боске и Мистраль совпадает: оба говорят о соотношении «американского» и «европейского» начал в творчестве Паса, но на разных его этапах. С Мистраль Пас встретился в Париже в 1946 г., они говорили всего два-три раза, и по просьбе поэтессы, к тому моменту уже ставшей лауреатом Нобелевской премии по литературе, Пас послал ей небольшую, недавно опубликованную книгу стихов – по-видимому (сам Пас этого не уточняет), антологию «На берегу мира» (*A la orilla del mundo*, 1942). Суждение Боске же относится к книгам «Орел или солнце?» (*¿Águila o sol?*, 1951), «Семена для гимна» (*Semillas para un himno*, 1954) и поэме «Камень солнца» (*Piedra de Sol*, 1957), количество мексиканских реминисценций в которых не существенно, но возрастает. Катализатором этого процесса послужил художественный опыт, приобретенный поэтом в Париже в 1945–1951 гг.

Именно Париж – город, являвшийся средоточием авангардного примитивизма, – способствовал увлечению Паса, как незадолго до него Мигеля Анхеля Астуриаса, доколумбовым прошлым Америки. Вырвавшись из удушающей, в эстетическом и политическом отношении, атмосферы родины, поэт начинает распутывать собственные культурные корни, и ему удастся лучше понять себя как мексиканца. Знаменательно, что в Париже Пас пишет свое первое эссе об индейском искусстве – «Древнемексиканская скульптура» (*Escultura antigua de México*, 1947). Главным же его «парижско-мексиканским» свершением стало объемное эссе «Лабиринт одиночества» (1950, 1959)<sup>1</sup> – книга, в которой он выразил свое понимание своеобразия исторической судьбы Мексики и психологии мексиканского народа. Поэтическим итогом этого этапа творчества Паса – и своеобразным эквивалентом «Лабиринта» – можно считать книгу «Орел или солнце?» (1951).

Пас называл «Орел или солнце?» своим самым «сюрреалистическим» произведением – не случайно французские переводы двух входящих в книгу текстов удостоились публикации в сюрреалистических журналах. В то же время, как

говорил поэт в интервью Энтони Стэнтону, «Орел или солнце?» – это погружение «в психическую и мифологическую подпочву Мексики» [Paz 2003: 117].

Пас любил рассказывать, как вскоре после знакомства Бретон попросил его что-нибудь написать для одного сюрреалистического издания. На тот момент у него уже было готово несколько текстов, из которых он выбрал «Обсидиановую бабочку», что, в свете живого интереса сюрреалистов к мифу, представляется совершенно закономерным. Поэма понравилась мэтру, но он посоветовал вычеркнуть одно предложение. Пас послушался, хотя и смутился: «А как же автоматическое письмо?» – спросил он, на что Бретон, несколько не изменившись в лице, ответил: «Эта строчка – выпад журналистской прозы» [ibid.: 351]. Надо думать, Бретон надеялся обнаружить в мексиканском поэте врожденную склонность к автоматизму, поскольку в эссе «Воспоминание о Мексике» (*Souvenir du Mexique*, 1939) он высказывает следующую мысль: «Мексиканские дороги устремляются в те самые области, где нежится и медлит автоматическое письмо» [Breton 1999: 952]. «Бабочка» вошла в «Сюрреалистический альманах середины столетия» (*Almanach surréaliste du demi-siècle*, 1950) [Paz 1950: 29–31], специальный номер журнала «Ла Нэф», как один из текстов рубрики, в названии которой содержится идея плодотворного обмена между Старым и Новым Светом – «Потлач великих хозяев великим гостям» (*Potlatch des grands invitants à leurs grands invités*), – оказавшись в соседстве со сценарием драмы «Завоевание Мексики» А. Арто и фрагментом «Книги Чилам-Балам из Чумайеля» в переводе Б. Пере.

Заглавие книги поливалентно прежде всего потому, что в мексиканской культуре образы орла и солнца являются важнейшими мифологемами: солнце – «орел с огненными стрелами» [León-Portilla 1959: 114], бог Тонатиу (*Tonatiuh*), утром называемый Куаутлеуанитл (*Cuauhtlehuánitl*) – «Взлетающий орел», а вечером – Куаутемок (*Cuauhtémoc*) – «Падающий орел» [Caso 1978: 47]. В мексиканском испанском выражение «*águila o sol*» идиоматично: так мексиканцы, бросая жребий, называют две стороны монеты. Это значение получает метафорическое развитие в одноименном стихотворении в прозе, играющем роль пролога: «*Hoу lucho a solas con una palabra. La que me pertenece, a la que pertenezco: ¿cara o cruz, águila o sol?*» («Сегодня я бьюсь один на один со словом. С тем, что мне принадлежит, с тем, которому я принадлежу: орел или решка, орел или солнце?») (156), – работа со словом представляется схваткой, исход которой определит случай, азартной игрой, в которой поэт ставит на кон

вместе со своей жизнью «жизнь» языка. Подобно тому, как одна сторона монеты предполагает наличие второй, поэт и слово существуют неразрывно: вопрос «орел или солнце» – это вопрос о степени свободы творца, о преобладании его воли над императивом языка, что является ключевой проблемой сюрреалистической философии.

Образ слова-жребия, слова-монеты не может не навести на мысль о поэме «Бросок костей никогда не упразднит случая» (*Un coup de dés jamais n'abolira le hasard*, 1897) и эссе «Кризис стиха» (*Crise de vers*, 1896) Стефана Малларме: данная параллель правомерна в той мере, в какой символистская эстетика обуславливает сюрреалистическую концепцию языка. Малларме различал два состояния слова: «необработанное», «непосредственное» (*brut, immédiat*) и «сущностное» (*essentiel*). В первом случае слово имеет единственную цель – сообщить информацию, и в этом оно функционально подобно деньгам: для передачи мысли человеку было бы достаточно молча положить в руку другого монету. В повседневном использовании слово, как и монета, стирается – поэзия же препятствует девальвации языка, изолируя его и тем самым деавтоматизируя, делая незнакомым: поэзия отрицает «случайность» (*hasard*) [Mallarmé 1945: 368]. Представляется, что все эти смыслы актуализируются в заглавии книги Паса, которое можно интерпретировать как формулировку поэтической задачи: вновь сделать рельефной чеканку слова, вернуть языку энергию мифообразов.

Таким образом, в заглавии определяются две ключевые темы книги: проблема языка и мексиканское коллективное бессознательное – неслучайно Пас подчеркивал, что «Орел или солнце?» дополняет «Лабиринт одиночества», образуя с ним своеобразный диптих. Указание на то, что тексты книги следует воспринимать в «мексиканской» перспективе, содержится и в прологе: если лирический герой предыдущей книги Паса – «Свобода под слово» (*Libertad bajo palabra*, 1949)<sup>3</sup> – находился на краю реальности и времени, то творческое пространство в «Орел или солнце?» соотносится с долиной Мехико, где в недавнем прошлом беспрепятственно, сама собой рождалась поэзия: «*El otoño pastoreaba grandes ríos, acumulaba esplendores en los picos, esculpía plenitudes en el Valle de México, frases inmortales grabadas por la luz en puros bloques de asombro*» («Под присмотром осени паслись великие реки, она сгущала сияние на вершинах, ваяла полноту в долине Мехико, бессмертные фразы, высеченные светом на чистых глыбах изумления») (156). Так, «Орел или солнце?» диалектически продолжает «Свободу под слово»: еще вчера поэт мог творить в масштабах вселенной,

применяясь к любой материи, продолжая ее своим письмом: «...*escribía con fluidez sobre cualquier hoja disponible: un trozo de cielo, un muro [...] un prado, otro cuerpo*» («...я быстро писал на любой попадавшейся мне странице: кусочек неба, стена [...] луг, другое тело»); ему был внятен язык природы: «*Todo me servía: la escritura del viento, la de los pájaros, el agua, la piedra*» («Я мог пользоваться всем: почерком ветра, птиц, водой, камнем»). В настоящем же творящее «я» достигает предела поэтических возможностей – «*letras fatales*» («роковые буквы»). Развивая эту метафору, можно сказать, что, подобно сюрреалистам, Пас стремится переступить границы дозволенного в языке, пренебрегая «*una prohibición implacable*» («неумолимым запретом») (156).

«Обсидиановая бабочка» занимает в книге особое место, так как ни в одном другом тексте мифологический материал прямо не используется.

Почему Пас обращается именно к образу Итцпапалотль? Мы можем назвать по крайней мере две причины. Во-первых, заключенный в имени богини образ бабочки. Бабочка занимает важное место в сюрреалистическом бестиарии, свидетельство чему – наличие посвященной ей статьи в «Кратком словаре сюрреализма» (*Dictionnaire abrégé du surréalisme*, 1938), составленном Бретоном совместно с Элюаром [Breton 1992: 829]. У Бретона образ бабочки встречается особенно часто (характерно, что Надя воображала себя среди прочего в виде бабочки): Марк Айгелдингер даже говорит об особой бретоновской «мифологии бабочки», утверждая, что из всех французских поэтов XX в. Бретон был увлечен бабочками больше, чем кто бы то ни было, и что этому интересу способствовало знакомство с флорой и фауной американского континента [Eigeldinger 1973: 206]. Вместе с тем образ бабочки регулярно возникает и в произведениях других сюрреалистов: в качестве примера можно привести известную мексиканской аудитории работу Вольфганга Паалена «Золотое руно» (*Toison d'or*), представленную как «живая картина» на V Международной выставке сюрреализма, проводившейся в Мехико в 1940 г. По мысли Эми Уинтер, в воображении сюрреалистов бабочка символизировала «магический процесс трансформации природы в миф» [Winter 1999: 220]. В научно-теоретическом плане и на более широком биологическом материале механизмы этой метаморфозы исследовал Роже Кайуа в статьях «Богомол» (1934) и «Мимикрия и легендарная психастения» (1935), напечатанных в журнале «Минотавр» (№ 5 и 7 соответственно): впоследствии эти эссе стали главами книги «Миф и человек» (*Le Mythe et l'homme*, 1938), испанский перевод которой вышел в Буэнос-Айресе уже

через год после публикации оригинала. Пас опирается на некоторые идеи Кайуа в лекции «Поэзия и мифология. Миф» (1942), и, хотя он не обращается к упомянутым главам, надо думать, он не обошел их вниманием, так как в одной из частей «Трудов поэта» («Trabajos del poeta» – первый раздел «Орел или солнце?») возникает образ самки богомола, кастрирующей самца. Образ бабочки наделен еще одной сюрреалистической функцией: небольшие листовки с лозунгами и максимами («Сюрреализм – это отрицаемое письмо», «Если вы любите ЛЮБОВЬ, вы полюбите СЮРРЕАЛИЗМ», «РОДИТЕЛИ! Рассказывайте ваши сны своим детям» и др. [Nadeau 1948: 23–24]), которые с 1925 г. распространяло Бюро сюрреалистических исследований, назывались «Papillons surréalistes». В данном случае «papillon» можно понимать как в узком смысле (лист, брошюра), так и в основном значении слова. Таким образом, «Обсидиановая бабочка» самим заглавием встраивается в сюрреалистический контекст.

Во-вторых, историческая динамика образа богини, траекторию развития которого сам Пас определил в авторском примечании: «Обсидиановая бабочка (Итцпапалотль) – богиня, которую иногда путают с Тетеоинан (Teteoinan), Матерью богов, и Тонатцин (Tonatzin)<sup>4</sup>, Нашей матерью. В XVI веке культ этих древних мексиканских божеств перешел в культ Девы Марии Гвадалупской» (203). Будучи покровительницей древнего племени чичимеков, Итцпапалотль занимала периферийное положение в ацтекском пантеоне: не скованный обрядом, ее образ стал тем более емким. Не случайно Х. Б. Николсон выделяет Итцпапалотль и Шолотля – легендарного предводителя чичимеков – как божеств, которых трудно отнести к определенной категории [Nicholson 1959: 175].

Говоря словами Ю. М. Лотмана и Б. А. Успенского, «Обсидиановая бабочка» представляет собой опыт «имитации мифа вне мифологического сознания» [Лотман 1973: 295] путем перевода мифа на язык метафорических конструкций и их реализации, что является типично сюрреалистическим приемом. Использование сюрреалистами мифа в качестве «инструмента и модели основанного на аналогии дискурса, который исторгает слово из сферы случайности» [Pensée mythique 1996: 8], коррелирует с выраженной в заглавии книги поэтической задачей. Вместе с тем выстраиваемые Пасом аналогические цепочки, в отличие от метафор сюрреалистических, не воспринимаются как произвольные фигуры языка в силу имманентности своеобразного, по выражению Гарибая, «сюрреализма» [Épica náhuatl 1945: XXXVIII] исходному мифологическому

материалу. Во-первых, художественное мышление индейца характеризует, с одной стороны, предметность, что выражается в овеществлении чувственного опыта, и, с другой стороны, склонность к абстрагированию, транспозиции действительности в сферу религиозного и фантастического. Во-вторых, основополагающий, по мнению Паса, для индейского искусства и мироощущения принцип «превращения» (transfiguración) [Paz 1967: 161] оказывается изоморфным сюрреалистическому принципу сближения удаленных реальностей. В определенном смысле «Обсидиановая бабочка» отвечает пониманию мифа Л. Арагона, только «укореняет» [Гальцова 2010: 494] свой миф Пас не в окружающем мире и не в современности, а в мексиканском коллективном бессознательном.

В поэме реализуются оба модуса восприятия формальной структуры мифа, о которых пишет Е. Д. Гальцова: миф как «сказание» и миф как образ, несущий в себе элемент сакрального [там же: 493]. «Сюжетная» основа текста – история завоевания испанцами Нового Света как глубокой духовной (христианизация) и физической (метисация) травмы, нанесенной индейскому миру. Поэма принимает форму монолога и начинается, по верному наблюдению Уго Верани [Verani 1994: 434], как те «икноуикатль» (icnociuatl) («скорбные», «грустные», «сиротские» песни), темой которых является Конкиста: «Mataron a mis hermanos, a mis hijos, a mis tíos. A la orilla del lago de Texcoco me eché a llorar» («Убили моих братьев, моих детей, моих родных. На берегу озера Тескоко стала я плакать») (203). В следующем предложении улавливается эхо одной из строк песни в знаменитой летописи из Тлателолько (1528) – первом индейском свидетельстве о событиях легендарного и недавнего прошлого, записанном буквами испанского алфавита: «Del Peñón subían remolinos de salitre» («От Пеньона поднимались соляные водовороты») (203) – «Rojas están las aguas, cual si las hubieran teñido, y si las bebíamos, eran agua de salitre» («Красной стала вода, словно от краски сделалась такой, и когда пили ее мы, соленой была») [León-Portilla 1987: 53]. Топонимы сообщают тексту историческую конкретность: озеро Тескоко – центр ацтекской империи, именно на его водах был построен Теночтитлан; Пеньон (буквально – «утес», «скала») – компонент названия располагавшегося к востоку от столицы небольшого острова, ставшего с течением времени холмом, известного своими термальными источниками – Пеньон де лос Баньос. Однако видимость документальности нарушается ошибочным [Martínez 1975: 292], модернизированным написанием «Texcoco» вместо «Tezcoco»

или «Tetzcoso», открывающим в тексте новый временной план: вследствие этого мы не можем с уверенностью сказать, из какой эпохи доносится до нас голос героини.

Говорящее лицо первых строк можно отождествить с фольклорным образом Йороны (Ilogona) – «плакальщицы», потерявшей своих детей, выходявшей ночью на перекрестки дорог. Мигель Леон Порталья предполагает, что легенда о Йороне выросла из предания о восьми дурных предзнаменованиях, полученных накануне прихода испанцев: шестым по счету был раздававшийся по ночам таинственный женский голос, возвещавший о грядущей катастрофе, который правитель ацтеков Мотекусома II принял за голос богини Сиуакоатль [León-Portilla 1987: 31]. Альфонсо Касо также видит в Йороне трансформацию образа Сиуакоатль, а к ней как к богине, воплощающей хтоническое начало, в свою очередь близка Итцпапалотль [Cartwright Brundage 1982: 221].

Образ богини Итцпапалотль двойствен. В своей основной, первоначальной ипостаси Итцпапалотль – «ночное» воплощение Великой Матери, богиня-воительница, божество смерти и жертвоприношений, которую исследователь Б. Картрайт Брендэйдж относит к условной «группе Медузы» и возводит к образной парадигме уродливой и кровожадной богини Коатликуэ [Cartwright Brundage 1982: 210, 221]. Образ богини соотносится с обсидианом – очень острым вулканическим стеклом черного цвета, игравшим важную роль в религиозной жизни ацтеков, – и с обитающей на просторах Мексиканской долины ночной бабочкой с черными блестящими крыльями: «Бабочка (черная, как обсидиан)» [Sahagún 1958: 73]. Итцпапалотль была первой принесенной в жертву женщиной, она также воплощает архетипы старой мудрой женщины и могущественной колдуньи [Rossell 2003: 143, 150]. На самых известных изображениях богини в кодексе Борджиа вместо рук и ног у нее – когтистые лапы ягуара, за спиной – крылья, усеянные обсидиановыми лезвиями, лицо выкрашено в белый цвет с тонкими красными полосками (рис. 1, 2).



Рис. 1



Рис. 2

Объясняющий функциональную символику «Обсидиановой бабочки» первичный миф в двух его вариантах содержится в первой и третьей частях кодекса Чимальпопока (Códice Chimalpopoca), а именно в «Летописи из Куаутитлана» (Anales de Cuauhtitlan, 1570) и рукописи «Легенды о Солнцах» (Leyenda de los Soles, 1558). На испанском языке оба документа были изданы одной книгой в тот самый год, когда Пас уезжает в Париж (1945), и нам неизвестно, имел ли он возможность с ними ознакомиться. Вероятнее всего, на создание текста поэта вдохновил один из двадцати священных гимнов, записанных в XVI в. знаменитым миссионером-францисканцем Бернандино де Саагуном [Sahagún 1958: 65–76], которые в XX в. перевел и частично представил в антологии «Индийская поэзия Мексиканского нагорья» (Poesía indígena de la Altiplanicie, 1940) отец Анхель Мария Гарибай, – «Песнь Матери богов» (Canto de la madre de los dioses) [Garibay 1962: 8–9].

Проанализировав и сопоставив названные источники, мы пришли к выводу, что конституирующими можно считать следующие элементы мифа: олень, шарообразный кактус, жертвоприношение через сожжение и нож-кремь. Из них в поэме возникает только один: «la madre del pedernal» («мать кремня») (203) – первое в ряду многочисленных определений, которые дает себе героиня. Однако Пас не ограничивает функциональный спектр кремня ритуалом жертвоприношения и войной. Так, героиня преобразуется в молнию (заметим, что о возможности такого символического соотнесения говорил Льюис Спенс [Spence 1923: 227]): «Yo era el pedernal que rasga la cerrazón nocturna y abre las puertas del chubasco» («Я была кремнем, что рассекает темные, как ночь, тучи и открывает створы ливня») (204). Причастность же образа жертвоприношению выражается посредством метафоры «mi vientre, piedra de sacrificios» («мой живот, камень для жертвоприношений») (204).

Таким образом, Пас не стремится реконструировать миф, но, напротив, почти не придерживается мифологической первоосновы. Его «Обсидиановая бабочка» – образ собирательный, обобщенный, именно поэтому в авторском примечании он делает акцент на связи Итцпапалотль с архетипической фигурой Матери богов, вбирающей в себя черты и функции всех прочих богинь. Слова «Yo era la montaña» («Я была горой») (203) могла бы произнести Чалчиутликуэ (Chalchiuhtlicue – «Нефритовая юбка»), почитавшаяся как спутница или женская ипостась бога Тлалока, покровительница горизонтальных вод (озер, рек, океанов, подземных источников), чей образ соотносился с горой [Cartwright Brundage 1982: 201]. С горой также отождествлялась Коатликуэ, породившая Уитцилопочтли (Huitzilopochtli) – бога войны и солнца, Койолшауки (Coyolxauhqui) – божество луны и Уитцнауак – звезды (Huitznáhuac) [Cartwright Brundage 1982: 211]. Знаменательно, что героиня поэмы называет себя «madre de la estrella» («мать звезды») (203), а также говорит, что в ее чреве «бился орел» («En mi vientre latía el águila») (203), словно имея в виду Уитцилопочтли, поскольку, как уже говорилось выше, орел является метафорическим обозначением солнца. Самоопределение «casa del fuego» («обитель огня») (203) можно интерпретировать как метафору земли, и по этой причине оно должно быть скорее отнесено к богине Сиуакоатль, так как ее заполненное сажей святилище с низким потолком, называвшееся Тлийан (Tlilan), или «Место Черноты», уподоблялось земным недрам, где располагался священный костер бога Шиутекутли (Xiuhtecuhtli) [Cartwright Brundage 1982: 214].

Ближе всех к центральному женскому образу оказывается связанная с подземным миром богиня цветов, любви и красоты Шочикетцаль (Xochiquetzal), с которой Итцпапалотль коррелирует в своей второй ипостаси. Знаменательно, что на сопровождающей текст французского перевода виньетке – репродукции из многотомного собрания «Древности Мексики» лорда Кингсборо – мы не найдем у «Обсидиановой бабочки» устрашающих звероподобных черт (рис. 3). Как отмечает Б. Картрайт Брендэйдж, встречаются рисунки, на которых рядом с богиней изображено расщепленное, истекающее кровью «райское» дерево [Cartwright Brundage 1982: 219] – то самое дерево, от плодов которого, нарушив, подобно ветхозаветной Еве, запрет, вкусила Шочикетцаль. В наказание за свое прегрешение прекрасная богиня была изгнана из Тамоанчана – блаженной обители нерожденных душ, упоминание

которой в «Песни Матери богов» упрочивает параллель между ней и Итцпапалотль. С тех пор Шочикетцаль не могла смотреть прямо на небо и солнце, так как взор ее был постоянно подернут пеленой слез, и стали ее называть Ишнештли (Ixnextli), что значит «Пепел в глазах». В свете этого мифа может быть интерпретирован вопрос, который героиня обращает к самой себе: «¿Cuándo acabaré de caer en esos ojos desiertos?» («Когда перестану я падать в эти пустынные глаза?») (204).



Рис. 3

Подобно Шочикетцаль, героиня Паса устанавливает любовный порядок во вселенной: «En el cielo del Sur planté jardines de fuego, jardines de sangre. Sus ramas de coral todavía rozan la frente de los enamorados» («На южном небе я развела сады огня, сады крови. Их коралловые ветви по-прежнему скользят по лицам влюбленных») (204). Она также связана с загробным миром, но ее власть над душами умерших – опосредованная, она является не носителем, а инструментом божественной силы: «Yo era [...] el zenzontle de barro que convoca a los muertos» («Я была [...] глиняным пересмешником, созывающим мертвых») (204). «Zenzontle» – мексиканское название пересмешника, что в переводе с языка науатль означает «та, у которой четыреста голосов». Эпитет же «глиняный» надо понимать в прямом значении: речь идет не о самой птице, а об изделии народного промысла – свистке, имитирующем ее форму и голос. Вероятно, создавая этот образ, Пас думал и о так называемых «свистках смерти» в форме черепа, использовавшихся древними ацтеками во время обрядов захоронения и жертвоприношения.

Метафору маисового зерна можно расшифровать через миф о похищении Шочикетцаль и

воспроизводивший его ежегодный обряд принесения в жертву богине двух девушек знатного рода, чьи тела бросали в подземную камеру, которую затем символически запечатывали: «*Estoy sola y caída, grano de maíz desprendido de la mazorca del tiempo*» («Я – одинокое зернышко маиса, выпавшее из початка времени») (204). Но эта метафора вызывает также «буквальную» ассоциацию с богиней молодого маиса Шилонен (*Xilonen*), которую представляли в виде танцующей девушки, держащей в каждой руке по два кукурузных початка [Cartwright Brundage 1982: 200]: «*Bailaba, los pechos en alto y girando, girando, girando hasta quedarme quieta; entonces empezaba a echar hojas, flores, frutos*» («Я танцевала, выставив грудь, кружилась, кружилась, кружилась и замирала; и тогда распускаясь листьями, цветами, фруктами») (203).

Героине поэмы также присущи черты смертной женщины, что отражено как на образном, так и на языковом уровне текста. Облик говорящей изменяется во времени, она стареет, вспоминает себя прошлую, сравнивает с собой настоящей: «*Y ahora las manos me tiemblan, las palabras me cuelgan de la boca. [...] En otros tiempos...*» («А теперь у меня дрожат руки, слова свисают у меня изо рта [...] Было время...») (203). В ее речи появляются характерные для разговорной речи слова с уменьшительным суффиксом: «*sillita*» («стульчик»), «*mi espejito*» («мое зеркальце»). Ее желания и занятия обыденны: она просит покоя и тепла («*Dame una sillita y un poco de sol*» – «Дай мне стульчик и немного солнца») (203), раскладывает пасьянс («*Estoy cansada de este solitario truco*» – «Я устала раскладывать пасьянс, в котором не хватает карты») (204) и страдает от бессонницы.

Пограничное положение героини между миром божественным и миром человеческим восходит к одному из аспектов образа упомянутой в авторском примечании Девы Марии Гвадалупской. Христианская перспектива, открываемая в тексте словом «*Catedral*», углубляется в строке: «*Soy ahora la pluma azul que abandona el pájaro en la zarza*» («Теперь я – голубое перо, оброненное птицей в кусте ежевики») (203). С одной стороны, здесь реализуется внутренняя форма имени Шочикетцаль – буквально «перо цветка» [Cartwright Brundage 1982: 203], но в то же время слово «*zarza*» отсылает к образу неопалимой купины («*zarza encendida*»): так индейская символика сопрягается с христианской. Знаменательно, что в «Лабиринте одиночества» Пас говорит о том, что Дева Мария явилась крестьянину-индейцу Хуану Диего на холме, кото-

рый раньше был святилищем богини Тонанцин [Paz 2013: 222].

В соответствии с концепцией, изложенной в «Лабиринте одиночества», Дева является одним из полюсов двойственного «архетипа» мексиканской женщины. Представляется, что в женском образе поэмы противоречивые составляющие этого архетипа интегрируются.

В героине можно увидеть мексиканскую «мать-страдалицу» («*sufrida madre mexicana*») [ibid.: 212] или «изнасилованную Мать» («*la Madre violada*», «*la Chingada*») – метафору Конкисты [ibid.: 223]. Не случайно в четвертой строке используется табуированный в латиноамериканском испанском глагол «*coger*», который можно интерпретировать как синоним глагола «*chingar*». Обращает на себя внимание дословное совпадение метафор: героиня превратилась в «*montoncito de polvo*» («горстку земли») (203), в то время как об «изнасилованной Матери» говорится: «*es un montón inerte de sangre, huesos y polvo*» («она – безжизненная груда костей, крови и праха») [ibid.]. Именно поэтому героиня сокрушается о том, что не может, подобно скорпиону, избавиться от своего потомства: «*Dichoso el alacrán madre, que devora a sus hijos*»<sup>5</sup> («Счастлива мать-скорпион, пожирающая своих детей») (204).

В то же время героиня – мать-утешительница, дарующая смерть и новую жизнь, в лоне которой обретается первоначальная гармония, о чем говорится в последних двух абзацах текста: «*Arde, cae en mí: soy la fosa de cal viva que cura los huesos de su pesadumbre. Muere en mis labios. Nace en mis ojos*» («Возгорись, упави в меня: я – могила, полная извести, что исцеляет кости от их тяжести. Умри на моих губах. Родись в моих глазах») (204). Возвещаемое «*reinado dichoso*» («счастливое царство»), «*el pacto de los gemelos enemigos*» («примирение враждующих близнецов») отсылает как к космогоническим представлениям ацтеков о постоянной борьбе Тескатлипоки и Кетцалькоатля, четыре раза попеременно создававшим мир, так и к хрестоматийной формуле в начале «Второго манифеста сюрреализма» (1929), в основе которой лежит «в высшей степени традиционная мифологическая структура» [Pensée mythique 1996: 18]: сюрреалистическую деятельность мотивирует стремление доказать ложность старых антиномий, желание определить ту точку духа, «начиная с которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, прошлое и будущее, передаваемое и непередаваемое, высокое и низкое уже не воспринимаются как противоречия» [Breton 1988: 781]. Пас в полной мере

разделял это стремление – не случайно он цитирует данную фразу в своей лекции о сюрреализме, прочитанной в Мехико в 1954 г. [Paz 1957: 179], – называя искомую Бретоном точку «другим берегом».

Созданный Пасом образ во многом отвечает «мифологии» женщины в сюрреализме: утрачивая свой плотский облик, его героиня становится неким «первопринципом» [Гальцова 2007: 182] природы и мироздания: «Soy la herida que no cicatriza, la pequeña piedra solar: si me rozas, el mundo se incendia» («Я – незаживающая рана, маленький солнечный камень: коснись меня – и мир воспламенится») (204).

Еще один возможный уровень интерпретации заглавного образа – метатекстовый: и здесь сюрреалистическое значение («сюрреалистические бабочки» – листовки с поэтическими максимами) вновь накладывается на индейское. Перевод повествования в измерение текста совершается в следующей строке: «En la noche de las palabras degolladas mis hermanas y yo, cogidas de la mano, saltamos y cantamos alrededor de la I, única torre en pie del alfabeto arrasado» («В ночь обезглавленных слов мы с моими сестрами, взявшись за руки, пели и прыгали вокруг И – единственной оставшейся от снесенного алфавита колонны») (203). Надо думать, Пас выбирает букву «I» не только из-за визуального сходства с колонной, но и потому что именно с нее начинается имя Итцпапалотль, а также имя, данное при крещении Текуичпо, любимой дочери Мотекусомы II – Исабель, «типичность» судьбы которой в контексте истории освоения Старым Светом Нового позволяет отнести ее к числу прообразов героини поэмы.

Говорящее лицо можно принять за своеобразную индейскую «музу», поскольку в одном из текстов знаменитого сборника «Мексиканских песен» (Cantares mexicanos) образ бабочки соотносится с поэтическим творчеством:

«¿Yo quién soy?  
Volando me vivo, cantor de flores,  
compongo cantares,  
mariposas de canto:  
¡brotan de mi alma,  
saboréelos mi corazón!»  
[León-Portilla 1959: 277]

(«Кто я? Я живу, летая, воспеваю цветы, складываю песни, бабочек песенных: да прорастут из души моей, да насладится ими мое сердце!»)

Так, «Обсидиановая бабочка» становится самой поэзией, источником поэтического вдохновения, а «ты», к которому она обращается в предпоследнем абзаце, – поэт: «De mi cuerpo

brotan imágenes: bebe en esas aguas y recuerda lo que olvidaste al nacer» («Из моего тела бьют ключом образы: испей из этих вод, вспомни то, что забыл, появившись на свет»). Знаменательно, что в самой последней строке поэмы центральный образ вновь обнаруживает свою текстовую природу: «Allí abrirás mi cuerpo en dos, para leer las letras de tu destino» («Там ты разлочишь мое тело пополам, чтобы прочитать свою судьбу») (205). Это увещание можно соотнести со следующей фразой из написанного Пасом в ноябре 1951 г. в Париже эссе «Куаутемок» (Cuauhtémoc) (1951), играющего роль предисловия к французскому переводу книги мексиканского политика, журналиста и писателя Эктора Переса Мартинеса «Куаутемок: жизнь и смерть одной культуры» (Cuauhtémoc: vida y muerte de una cultura, 1948), в заглавие которой вынесено имя последнего ацтекского правителя: «El mito es el jeroglífico de nuestro destino» («Миф есть иероглиф нашей судьбы») [Paz 1957: 277]. В этой перспективе поэма может быть прочитана как миф о формировании «мексиканскости».

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. В поэме «Обсидиановая бабочка» Пас создает собирательный образ женского индейского божества, комбинируя элементы мифов о богинях Итцпапалотль, Сиуакоатль, Коатликуэ, Шочикетцаль, Шилонен, и, подобно сюрреалистам, добивается, говоря словами Ж. Шеньо-Жандрон, «эффекта мифа», «мифологического письма» [Pensée mythique 1996: 27]. Заглавному образу также присущи черты «архетипической» мексиканской женщины, «матери-Девы» и «изнасилованной Матери», какой она изображена в «Лабиринте одиночества». В то же время героиню можно рассматривать как мексиканский вариант «сюрреалистической женщины». Индейский материал важен Пасу не сам по себе: историческая динамика образа «Обсидиановой бабочки» дает ему возможность раскрыть синтетическую множественность универсального женского начала через специфическую взаимозаменяемость ипостасей Великой Матери месоамериканских мифологических систем. Таким образом осуществляется интеграция архаической мифологии и «мифологии» современной: как «универсальной» – сюрреалистической, так и национальной – мексиканской.

#### Примечания

<sup>1</sup> В 1950 г. вышло первое издание «Лабиринта одиночества», в 1959 г. – второе, исправленное и дополненное: Пас пересматривает написанное, готовя эссе к французскому переводу.

<sup>2</sup> Здесь и далее тексты книги «Орел или солнце?» цитируются по изданию: Paz O. Libertad bajo palabra. Obra poética (1935–1958). México: Fondo de Cultura Económica, 1960 – с указанием номера страницы в скобках и приводится наш перевод.

<sup>3</sup> Хотя выражение «libertad bajo palabra» идиоматично, мы считаем, что перевод «Свобода под честное слово» (см.: Пернатые молнии: Мексиканская поэзия XX века. М.: Радуга, 1988. С. 149–216. – Пер. П. Грушко) скрадывает потенциальную многозначность выражения и разрушает его лаконичную уравновешенность (существительное – предлог – существительное) прилагательным с этической коннотацией («честное»).

<sup>4</sup> Также встречается написание «Teteoinnan», во французском переводе имя передано следующим образом: «Teteoinnon». Написание второго имени дано в соответствии с более распространенным вариантом: «Tonantzin». В имени же Итц-папалотль появляется лишнее «а»: «Itzarapalotl».

<sup>5</sup> Во французском переводе этой фразы необъяснимым образом меняются местами субъект и объект: не мать пожирает детей, а дети – мать.

### Список литературы

Гальцова Е. Д. Женщина // Энциклопедический словарь сюрреализма. М.: ИМЛИ РАН, 2007. С. 180–183.

Гальцова Е. Д. Сюрреализм: от эстетики разрыва к «суммированию» культуры // Авангард в культуре XX века (1900–1930 гг.): Теория. История. Поэтика. М.: ИМЛИ РАН, 2010. Т. 1. С. 471–529.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Труды по знаковым системам. Тарту: Тартуский гос. ун-т, 1973. № VI. С. 282–303.

Bosquet A. Verbe et vertige : Situations de la poésie. P.: Librairie Hachette, 1961. 373 p.

Breton A. Œuvres complètes. P.: Gallimard, 1988. Т. I. 1798 p.

Breton A. Œuvres complètes. P.: Gallimard, 1992. Т. II. 1857 p.

Breton A. Œuvres complètes. P.: Gallimard, 1999. Т. III. 1492 p.

Cartwright Brundage B. El Quinto Sol: dioses y mundo azteca. México: Editorial Diana, 1982. 344 p.

Caso A. El pueblo del Sol. México: Fondo de Cultura Económica, 1978. XVI, 125 p.

Eigeldinger M. Poésie et métamorphoses. Neuchâtel: Editions de la Baconnière, 1973. 284 p.

Épica náhuatl / Sel., introd. y notas de Ángel María Garibay K. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma, 1945. 163 p.

Garibay Kintana A. M. Poesía indígena de la Altiplanicie. México, 1962. 169 p.

León-Portilla M. La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1959. 360 p.

León-Portilla M. El reverso de la Conquista: Relaciones aztecas, mayas e incas. México: Editorial Joaquín Mortiz, 1987. 192 p.

Mallarmé S. Œuvres complètes. P.: Gallimard, 1945. XXV, 1653 p.

Martínez J. L. Nezahualcōyotl: vida y obra. México: Fondo de Cultura Económica, 1975. 334 p.

Nadeau M. Histoire du surréalisme. Т. II: Documents surréalistes. P.: Éditions du Seuil, 1948. 398 p.

Nicholson H. B. Los principales dioses mesoamericanos // Esplendor del México antiguo. México: Centro de Investigaciones antropológicas de México, 1959. Т. I. P. 161–178.

Paz O. Papillon d'obsidienne // La Nef. P.: Éditions du Sagittaire, 1950. №63/64 (mars-avril): Almanach surréaliste du demi-siècle. P. 29–31.

Paz O. Las peras del olmo. México: Imprenta universitaria, 1957. 292 p.

Paz O. Libertad bajo palabra. Obra poética (1935–1958). México: Fondo de Cultura Económica, 1960. 317 p.

Paz O. Puertas al campo. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1967. 284 p.

Paz O. Obras completas. México: Fondo de Cultura Económica; Círculo de lectores, 1997. Т. 3. 418 p.

Paz O. Obras completas. México: Fondo de Cultura Económica; Círculo de lectores, 2003. Т. 15. 759 p.

Paz O. El laberinto de la soledad. Madrid: Cátedra, 2013. 578 p.

Pensée mythique et surréalisme. P.: Lachenal & Ritter, 1996. 284 p.

Rossell C., Ojeda Díaz M. de los A. Las mujeres y sus diosas en los códices prehispánicos de Oaxaca. México: CIESAS, 2003. 186 p.

Sahagún B. de. Veinte himnos sacros de los nahuas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1958. 277 p.

Spence L. The Gods of Mexico. L.: Adelphi terrace, 1923. 388 p.

Verani H. J. «Mariposa de obsidiana»: una poética surrealista de Octavio Paz // Literatura mexicana. México: Instituto de investigaciones filológicas, UNAM, 1994. Vol. V, № 2. P. 429–442.

Winter A. L'aventure mexicaine de Wolfgang Paalen // Mélusine: Cahiers du Centre de Recherches sur le Surréalisme. Lausanne: L'Âge d'Homme, 1999. № XIX. P. 214–226.

## References

- Gal'tsova E. D. Zhenshchina [Woman]. *Entsiklopedicheskiy slovar' syurrealizma* [The Encyclopedic dictionary of surrealism]. Moscow, IWL RAS Publ., 2007, pp. 180–183. (In Russ.)
- Gal'tsova E. D. Syurrealizm: ot estetiki razryva k «summirovaniyu» kul'tury [Surrealism: from the aesthetics of rupture to the “summation” of culture]. *Avangard v kul'ture 20 veka (1900–1930 gg.): Teoriya. Istoriya. Poetika* [Avant-garde in the culture of the 20<sup>th</sup> century (1900–1930): Theory. History. Poetics]. Moscow, IWL RAS Publ, 2010, vol. 1, pp. 471–529. (In Russ.)
- Lotman Yu. M., Uspenskiy B. A. Mif – imya – kul'tura [Myth – name – culture]. *Trudy po znakovym sistemam* [Studies on sign systems]. Tartu, Tartu State University Press, 1973, vol. 6, pp. 282–303. (In Russ.)
- Bosquet A. *Verbe et vertige : Situations de la poésie* [Word and vertigo: Situations of poetry]. Paris, Librairie Hachette, 1961. 373 p. (In French)
- Breton A. *Œuvres complètes* [Complete works]. Paris, Gallimard, 1988, vol. I. 1798 p. (In French)
- Breton A. *Œuvres complètes* [Complete works]. Paris, Gallimard, 1992, vol. 2. 1857 p. (In French)
- Breton A. *Œuvres complètes* [Complete works]. Paris, Gallimard, 1999, vol. 3. 1492 p. (In French)
- Cartwright Brundage B. *El Quinto Sol: dioses y mundo Azteca* [The Fifth Sun: Aztec gods, Aztec world]. Mexico, Editorial Diana, 1982. 344 p. (In Spanish)
- Caso A. *El pueblo del Sol* [The people of the Sun]. Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1978. 125 p., XVI. (In Spanish)
- Eigeldinger M. *Poésie et métamorphoses* [Poetry and metamorphosis]. Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1973. 284 p. (In French)
- Épica náhuatl [Nahuatl epic]. Introd. and comments by Ángel María Garibay K. Mexico, National Autonomous University of Mexico Press, 1945. 163 p. (In Spanish)
- Garibay Kintana A. M. *Poesía indígena de la Altiplanicie* [Indigenous poetry of the Mexican Plateau]. Mexico, 1962. 169 p. (In Spanish)
- León-Portilla M. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes* [Aztec Thought and Culture: A Study of the Ancient Nahuatl Mind]. Mexico, National Autonomous University of Mexico Press, 1959. 360 p. (In Spanish)
- León-Portilla M. *El reverso de la Conquista: Relaciones aztecas, mayas e incas* [The reverse of the Conquest: Aztec, Maya and Inca accounts]. Mexico, Editorial Joaquín Mortiz, 1987. 192 p. (In Spanish)
- Mallarmé S. *Œuvres complètes* [Complete works]. Paris, Gallimard, 1945. XXV, 1653 p. (In French)
- Martínez J. L. *Nezahualcóyotl: vida y obra* [Nezahualcóyotl: life and works]. Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1975. 334 p. (In Spanish)
- Nadeau M. *Histoire du surréalisme* [The history of Surrealism]. Paris, Éditions du Seuil, 1948, vol. 2. Documents surréalistes [Surrealist documents]. 398 p. (In French)
- Nicholson H. B. Los principales dioses mesoamericanos [The principal Mesoamerican gods]. *Esplendor del México antiguo* [The splendour of ancient Mexico]. Mexico, Centro de Investigaciones antropológicas de México, 1959, vol. 1, pp. 161–178. (In Spanish)
- Paz O. Papillon d'obsidienne [Obsidian butterfly]. *La Nef*, 1950, issue 63–64 (March-April), pp. 29–31. (In French)
- Paz O. *Las peras del olmo* [Pears from the Elm]. Mexico, Imprenta universitaria, 1957. 292 p. (In Spanish)
- Paz O. *Libertad bajo palabra. Obra poética (1935–1958)* [Liberty under Word. Poetical works (1935–1958)]. Mexico, Fondo de Cultura Económica, 1960. 317 p. (In Spanish)
- Paz O. *Puertas al campo* [Doors to the Field]. Mexico, National Autonomous University of Mexico Press, 1967. 284 p. (In Spanish)
- Paz O. *Obras completas* [Complete works]. Mexico, Fondo de Cultura Económica; Círculo de lectores, 1997, vol. 3. 418 p. (In Spanish)
- Paz O. *Obras completas* [Complete works]. Mexico, Fondo de Cultura Económica; Círculo de lectores, 2003, vol. 15. 759 p. (In Spanish)
- Paz O. *El laberinto de la soledad* [Labyrinth of Solitude]. Madrid, Cátedra, 2013. 578 p. (In Spanish)
- Pensée mythique et surréalisme* [Mythical thinking and surrealism]. Paris, Lachenal & Ritter, 1996. 284 p. (In French)
- Rossell C., Ojeda Díaz M. de los A. *Las mujeres y sus diosas en los códices prehispánicos de Oaxaca* [Women and their goddesses in the Pre-Hispanic codices of Oaxaca]. Mexico, CIESAS, 2003. 186 p. (In Spanish)
- Sahagún B. de. *Veinte himnos sacros de los nahuas* [Twenty sacred hymns of the nahuas]. Mexico, National Autonomous University of Mexico Press, 1958. 277 p. (In Spanish)
- Spence L. *The Gods of Mexico*. London, Adelphi terrace, 1923. 388 p. (In Eng.)
- Verani H. J. «Mariposa de obsidiana»: una poética surrealista de Octavio Paz [“Obsidian Butterfly”: Octavio Paz's surrealist poetics]. *Literatura mexicana* [Mexican Literature], 1994, vol. 5, issue 2, pp. 429–442. (In Spanish)
- Winter A. L'aventure mexicaine de Wolfgang Paalen [Wolfgang Paalen's Mexican adventure]. *Mélusine: Cahiers du Centre de Recherches sur le Surréalisme* [Melusine: Papers of the Centre for Studies of Surrealism], 1999, issue 19, pp. 214–226. (In French)

**SURREALISM AND THE MYTH:  
POETICS OF OCTAVIO PAZ'S *OBSIDIAN BUTTERFLY***

**Anastasia V. Gladoshchuk**

Postgraduate Student in the Department of History of Foreign Literature

Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation. appletart@mail.ru

SPIN-code: 5515-8261

ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-7246-4371>

ResearcherID: E-1683-2018

Submitted 12.03.2018

The article focuses on the interaction of the Indian culture and Surrealism in the oeuvre of Octavio Paz. Analyzing the poem in prose *Obsidian Butterfly* from the book *Eagle or Sun?* (1951), the author shows how Paz, similarly to the Surrealists, imitates a myth by means of realized metaphors, creating a generalized image of an Indian goddess and at the same time – a Mexican variant of the “surrealist woman”. However, an analogy that Paz puts into practice cannot be perceived as an arbitrary literary technique due to immanence of a peculiar “surrealism” in the creative thinking of the Indians. Shaping a “new myth”, Paz endows it with a universal, as well as specifically Mexican meaning. The historical dynamics of Itzpapalotl’s image gives him a possibility to reveal a synthetic plurality of the generic feminine principle by exploiting one of the characteristic features of the Mesoamerican mythological systems: an interchangeability of the Magna Mater’s hypostases, all of which will be absorbed by the Christian image of the Virgin of Guadalupe during the Colonial period. The title image of the poem can also be interpreted as a personification of the two poles of an archetypical Mexican woman, as Paz describes her in *The Labyrinth of Solitude* (1950, 1959): the heroine can be seen as a «violated Mother», a metaphor of the Spanish Conquest, and at the same time – as a mother-consoler, in whose bosom an original harmony can be attained. Another interpretative level can be metatextual: *Obsidian Butterfly* is the poetry itself. Here once again a Surrealist meaning conjugates with Indian: “Surrealist butterflies” is the name given to the instructions and maxims spread by the Bureau of Surrealist Research; while in the nahuatl texts an image of a butterfly can be found associated with poetic work.

**Key words:** Octavio Paz; *Obsidian Butterfly*; Aztec mythology; Surrealist woman; Surrealism; myth; metaphor; philosophy of Mexican identity.

УДК 821.161.1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-83-91

## АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ И ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В ПРОЗЕ В. С. МАКАНИНА 1970–80-х гг.

**Гун Цинцин****аспирант кафедры истории новейшей русской литературы  
и современного литературного процесса филологического факультета  
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова**

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. qingqinggong@mail.ru

SPIN-код: 1516-0530

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5329-4186>

ResearcherID: F-4354-2018

*Статья поступила в редакцию 04.04.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Гун Цинцин. Анималистическая и цветовая символика в прозе В. С. Маканина 1970–80-х гг. // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 83–91. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-83-91***Please cite this article in English as:***Gong Qingqing. Animalisticheskaya i tsvetovaya simbolika v proze V. S. Makanina 1970–80-kh gg. [Animalistic and Color Symbolism in the 1970–1980s Prose of V. S. Makanin]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 83–91. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-83-91 (In Russ.)*

Символика в творчестве В. С. Маканина способствует раскрытию идейной направленности произведений, реализации авторских повествовательных стратегий, расширению ассоциативного фона и в целом созданию обширной и динамичной информационной структуры. Главная писательская задача заключается в создании визуального образа, раскрытии его ассоциативного смысла, формировании соответствующего реципиента. Маканин не только использует в своих произведениях традиционные символы, но и предлагает собственную художественную интерпретацию, отражающую определенную писательскую концепцию, взгляд автора на те или иные явления окружающей действительности. Востребованность символа обусловлена стремлением автора найти универсальные формы как для выражения авторской позиции, так и для раскрытия амбивалентности человеческой природы, метафизической природы бытия в целом. При этом символика помогает акцентировать внимание читателя на уникальных особенностях внутреннего мира персонажа и отобразить психологическую мотивацию его поступков, чтобы сделать читателя полноправным участником творческого процесса, помочь ему проникнуть в суть авторского замысла. Подтекст в прозе Маканина формируется с помощью ряда символических образов, анализ которых необходим для постижения своеобразия творческой личности автора и сложности духовного мира человека. В данной статье рассматриваются ключевые аспекты системы символов в ранней прозе Маканина, прежде всего в структурах анималистической и цветовой символика, отражающей синтез традиционных и уникальных черт, а также многогранность авторской интерпретации. В пласт первой структуры входят образы волка, червя, жар-птицы, медведя, рыбы, птицы (в т. ч. курицы) и бабочки, в пласт второй структуры – голубой, красный, белый и черный цвета. Их анализ показывает, что автор сосредотачивается на социально-психологических сторонах данных образов, открывая новые способы воссоздания портрета человека своего времени и изображения советского общества II половины XX в.

**Ключевые слова:** Маканин; анималистическая символика; цветовая символика; повествовательная стратегия; читатель; художественная интерпретация текста.

Особенности авторской рецепции символических образов играют большую роль в создании художественного мира произведения. Во-первых, символы являются каркасом метафорического уровня текста, призванного воплотить философско-эстетические интенции писателя, во-вторых, их интерпретация автором отражает его отношение к устоявшимся в культурном сознании эмблемам. Особенно важно понять, как функционирует система символов в творчестве писателей, которые выбирают такие повествовательные стратегии, которые способствуют превращению текста в систему смысловых планов, каждый из которых становится формой отражения авторского сознания. К художникам такого типа относится В. С. Маканин, один из крупнейших писателей второй половины XX в., внесший большой вклад в создание галереи психологических портретов своих современников.

В ранней маканинской прозе обнаруживаются образы животных, которые можно трактовать как символические фигуры религиозной и фольклорной картин мира, не типичные для сознания советского человека. Как пишет исследовательница Анита, «многостороннее изображение животного мира зафиксировалось в языке. Представления об этом мире отразила устная и письменная языковая традиция в образах фольклора. Героями сказок, преданий, былин, пословиц, поговорок, загадок нередко выступают звери» [Анита 2002: 239]. Однако с их помощью автор раскрывает особенности как национального мышления, так и мироощущения *homo sovieticus*, обнаруживая в его сознании парадоксальное сочетание новых и традиционных черт.

Так, в повести «Один и одна» обращает на себя внимание прием сравнения персонажей с рыбами: «Они не узнали, кто есть кто. Проплыли мимо. Как те две рыбы, что по-над дном так и не коснулись, проплывая рядом» [Маканин 2003 (3): 218]. В христианской религиозной культуре символ рыбы не только является эмблемой Христа, но и олицетворяет духовный дуализм. Люди нового времени вынуждены помимо их собственного желания нести крест одиночества, и эта религиозная коннотация выполняет в повести «Один и одна» психологическую, концептуальную и сюжетно-композиционную функции. Рыбе К. Г. Юнгом приписывается хладнокровие змеи, неполнота чувства, змея является наиболее общим символом темного, хтонического мира инстинкта. «Она – как это часто и случается – может заменяться равноценным хладнокровным животным, таким как дракон, крокодил или рыба» [Юнг 1997: 271].

Подобно рыбам, Геннадий Павлович и Нинель Николаевна проживают всю жизнь и умирают

в одиночестве, так и не узнав друг друга. «В экзистенциальном и социальном планах этот символ означает поражение, изгнание, уединение, а в психологическом аспекте – отказ от себя и от страстей, самоуглубленность и склонность к мистицизму, воображение и стремление к неведомому» [Телицин 2005: 370]. Автор сравнивает их судьбу с судьбой двух разведчиков или двух шпионов с полурыбками в кармане, которые день за днем, год за годом бродят в поисках условной встречи, но не могут встретиться. В романе «есть параллельность ведения сюжетов, но не таящая в себе электризирующей силы. Рассказывается об одной жизни и о другой жизни, как они идут порознь и по сходным, довольно грузным законам» [Соловьева 1990: 557]. Оба персонажа обречены забыть друг друга с неумолимым течением времени. Образ рыбы наполняется новым индивидуально-авторским значением: рыбы в повести символизируют разочарование, несчастье, раскрывают духовные переживания героя и героини. Обращение писателя к религиозной стороне этого символа обусловлено стремлением показать трагизм жизни персонажей: «Сложить свои рыбки, но ведь могут они не сойтись, хотя ни злые обстоятельства, ни люди теперь не мешают, хотя вокруг теперь все условия: белые кучерявые облака, райские кущи!» [Маканин 2003 (3): 219]. Так, Маканин, используя анималистический образ, показывает его смысловую многогранность, которая раскрывается на художественно-философском уровне текста и – образует основной символический нерв произведения. Л. Байрон (L. Вугон) отмечает, что «его серьезный тон, который передает чувство более глубоких смыслов, можно найти между линиями» [Байрон 2007: 64].

В повести «Голоса» особое место занимает притча о жар-птице: автор предлагает читателю перевоплотиться в это прекрасное существо, у которого близкие постепенно выдергивают перья, а в итоге и отрывают голову. В фольклорной традиции образ жар-птицы соотносится с такими явлениями, как солнце и огонь, дарующими свет. Подобный свет отражают ее перья. В «Голосах» писатель нарочито отрекается от подобной трактовки, представляя жар-птицу приниженной, «обычной и простенькой», «жалкой и нагой», с «куриной башкой» [Маканин 2002 (1): 21]. Используя этот образ, автор не только затрагивает проблемы недостатка любви и сочувствия окружающих к человеку, эгоистического потребительства и животной жестокости, но также показывает, что «любящие» готовы растерзать того, кто хочет быть самим собой. Здесь Маканин обращается к одной из магистральных тем своего творчества – теме недо-

понимания между людьми, «недочувствия» и нетерпимости их друг к другу.

Другая притча в «Голосах» описывает превращение героя в «гибкого», «холодного» и «скользкого» червя и его встречу со стариком. К. Джон (K. John) указывает на то, что «персонажи Маканина неоднократно должны выбирать между дегуманизирующим самоуничтожением или опустошительной изоляцией» [Джон 2007: 43]. На этот раз вновь актуализируются религиозные коннотации: образ червя символизирует смерть, ничтожество, земное начало, но также и человека на суде Бога. Бог-старик задает вопрос о смысле и цели жизни человека-червя, и выясняется, что тот не может оценить себя по достоинству без мнения «других». Ценность индивидуума в мире заключается в том, чтобы быть полезным для общества. Эта психологическая черта воспитанного в социалистическом обществе гражданина представляется автором иронично: «— Что в своей жизни ты делал — рассказывай. <...> — не зная, что вспомнить и что сказать, я стал лепетать, что я, мол, не умею себя хвалить. У нас, мол, принято, чтобы хвалили другие. — Другие? — Да. — И как же они хвалят? — Ну как. Я сделаю ему что-нибудь полезное, хорошее, доброе, — он меня похвалит. Надо сделать человеку что-то полезное. — Хорошо живете, — фыркнул старик» [Маканин 2002 (2): 42]. Посредством данной притчи Маканин желает показать, как придавленный собственной ничтожностью и социумом человек духовно превращается в червя, в чем и заключается его главный порок. Символическое сравнение героев с червями после написания повести «Голоса» становится устойчивым элементом маканинской поэтики: этот анималистический образ встречается, например, позднее в повести «Утрата» и романе «Андеграунд, или Герой нашего времени». «Человек — червь — сюжетная реализация этой древнейшей метафоры объединяет такие разные произведения, как «Голоса» и «Утрата». <...> Точно «червь из осыпи» выбирается из валуна купец Пекалов на «нехоженный берег», и подобно червю же извивается на больничной койке герой-повествователь «Утраты». В погруженное в бред сознание больного «втискается» в прошлое, превращаясь в «огромную» — нескончаемую — минуту» [Пискуновы 1988: 49].

В повести «Отдушина» присутствуют фольклорные образы волчицы и медведя: с первой сравнивается Алевтина («завывает она, конечно, как при луне волчица, но при всем том какой голос, какое чувство стиха» [Маканин 2003 (3): 157]), со вторым — ее любовник Михайлов («медведь, он ведь и за медом медведь» [Маканин 2003 (2): 145]). Примечательно, что эти ироничные сравнения делаются от лица других пер-

сонажей (Алевтину с волчицей сравнивает Стрепетов, Михайлова с медведем — Алевтина), что отражает фольклорную составляющую их мироощущения. В русских волшебных сказках волк может быть врагом героя, а может ему помогать, при этом может оказываться связующим звеном между миром людей и потусторонними силами. В. Пропп утверждает, что волк, изображаемый «в сказках, которые связаны с тотемизмом охотников, веривших в их сверхъестественную связь со своим родом», нередко справляется с любой бедой [Пропп 1957: 14]. В повести героиня также является проводником в мир уюта и тишины для «охотников» за отдушиной — математика и мебельщика. Последний схож с медведем не только грузной фигурой, но и именем, отсылающим читателя к имени сказочного Михайло Потапыча.

В маканинской прозе достаточно широко используется «птичья» символика. Образ птицы символизирует как внутреннюю свободу, волежность героев, так и духовное чувство принадлежности родине. В повести «Утрата» автор в восьмой части описывает возвращение птиц в брошенную деревню. Обычно сезонный перелет птиц означает наступление осени или весны, но здесь он связан с возвращением человека домой, к утраченной некогда малой родине, которую уже невозможно найти. Подобно герою повести, они прилетают и «ищут человечье тепло» и пропитание, но, «не обнаружив даже и насекомых», «чувствуют, что больше здесь не живут и жить не будут и что прилетать сюда более нужды нет» [Маканин 2003 (3): 48].

В беседе с критиком Н. Д. Александровым Маканин отметил, что первым произведением, которое произвело на него сильное впечатление, была «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского [Александров 2012: 234]. Запечатлевшийся в сознании писателя образ нашел отражение в символике птичьей фамилии Куренкова, героя повести «Антилидер». Этимологически она связана со словом «куренок» — цыпленок, символизирующий жалкого и слабого человека. Внешне маканинский персонаж мал и худ, всегда чувствует свою уязвимость и беспомощность перед физической болезнью, часто ощущает угрозу от людей, более сильных, чем он. Однако при этом он часто дерется, как петух, защищая свой курятник. Нарочито сниженный автором образ «антилидера» в финале повести обретает трагическую окраску. Это тоже не случайно, поскольку в фольклорно-религиозной традиции образ петуха соотносится с образом солнца, мотивом света, противостоянием тьме и злу, пробуждением внутренней силы и возрождением. Тем трагичнее звучит интерпретация Маканина, отказывающего своему герою в воз-

возможности подобного возрождения: «антилидерство», как страшная болезнь, неизбежно поглощает человека, доводя его до тюрьмы и гибели.

В повести «Гражданин убегающий» Костюков бросает работу и решает бежать в тайгу, как дикий зверь, и даже его портрет имеет зооморфные черты: «Черты его лица все больше приобретали как бы волчью жестокость, и казалось, меж нетронутостью природы и жестокостью его лица существует ясная причинная связь» [Маканин 2002 (2): 80]. Стремление героя отправиться в лес актуализирует в сознании читателя народную поговорку: «Сколько волка не корми, он все равно в лес смотрит». Как утверждает исследователь Петрова, «символическая сема “жестокость, беспощадность, хищность” характерна для зоосемы “волк”» [Петрова 1983: 19]. Герой живет в общепитии, как в стае, но его душа просится в глушь, в тайгу (и это антисоциальное поведение противоречит устоявшимся представлениям об образе волка); кроме того, его преследует мысль о том, что дети начнут его разыскивать, как бы откроют на него охоту. Перед смертью Костюкову «привиделось, что он белая бабочка и что он летит на ту сторону плато, а дети неутомимо преследует его с сачками» [Маканин 2002 (2): 101]. Образ бабочки, превратившейся из гусеницы в способное к полету существо, включает в себя многоплановые символические значения. Здесь, как и в традиционных интерпретациях, бабочка, превращающаяся из ничтожного червячка в легкое, парящее существо, соотносится с процессом изменения, совершенствования, она олицетворяет душу человека с дарованным ей правом на вечную жизнь. Бабочка также понимается Маканиным как эмблема перехода из жизни в небытие. Костюков всю жизнь убежал от обязанностей перед своими родными, всю жизнь искал свободу и вот в смерти обрел финальное освобождение от всего, чего он так боялся.

В повести «Голубое и красное» маленький Ключарев наблюдает за муравьями: «Куча муравьев, высокая муравьиная куча, шла взамен груды консервных банок, что у них за баракон, — там была целая пирамида таких банок, ржавых или свежих, всегда выеденных дотла» [Маканин 1988: 178]. Муравей традиционно символизирует «прилежание, скромность и бережливость, трудолюбие, усердие и старание, коллективность» [Телицин 2005: 282]. В повести бабка Марена и другие жители в деревне, как муравьи, постоянно находятся в работе, обрабатывают землю с муравьиным терпением, упорством и прилежанием. Жизнь муравьев связана с землей, как и жизнь крестьян. В повести муравейник разрушается ручьями, что может являться аллюзией на факт затопления многих деревень в годы совет-

ской власти и общую тенденцию разрушения деревенского быта и культуры. Позднее испуганные и растерянные насекомые сравниваются с людьми, которые потеряли свой дом. Таким образом, разрушение муравейника осмысливается автором в контексте осмысления экзистенциальной проблематики в целом.

Итак, уже в ранней прозе Маканина проявилась специфика анималистических образов: традиционные религиозные и фольклорные символы, проходя сквозь призму авторской трактовки, способствуют формированию подтекста, обусловливающего художественную объемность философской концепции писателя. Такие символы возникают и в его последующих прозаических произведениях, расширяя горизонты изучения потребительского, почти животного человеческого сознания. Кроме анималистической символики, обращают на себя внимание цветовые символы, с помощью которых писатель также передает особенности психологии персонажей и их окружения.

Как отмечает А. В. Колосова, «цветовые символы являются своеобразными маркерами социального, религиозного, жизненного, культурного пространства общества» [цит. по: Кант 2006: 66]. По мнению Канта, цвет может являться одним из проявлений эстетической формы образов: «Нельзя с уверенностью сказать, есть ли краска или тон (звук) лишь приятные ощущения, или уже сами по себе прекрасная игра ощущений и в качестве таковой создают благоволение к форме в эстетическом суждении» [там же: 170]. Так, цветовая символика в прозе Маканина призвана не только обозначить те или иные социально-психологические типы, но и помочь философски осмыслить столкновения разных типов жизненного уклада и культуры.

По нашим наблюдениям, Маканин не часто прибегает к цветовой символике, однако когда он это делает, она становится важным элементом — выразителем авторского сознания. Подобно живописцу, писатель использует цветовые образы для усиления экспрессивной и импрессионной функции повествования — желтый в повести «Голоса» и «Предтеча», красный и голубой в повестях «Голубое и красное» и «Предтеча», черный и белый в «Антилидере».

В. В. Служивцев утверждает, что «искусство относится к недискурсивному типу символизма, оно принципиально не переводится на язык логики, а познается, прежде всего, с помощью интуиции и чувства. Смысл искусства как части духовной культуры нельзя дешифровать простым усилием рассудка, в него надо вжиться» [Служивцев 2005: 81]. Цвет является одним из способов «вживания» в произведение искусства,

и поэтому его дешифрация важна для понимания художественной стратегии и авторского сознания. Опираясь на ядерные признаки цвета (описание природы, описание внешности человека и продуктов человеческой деятельности) [Фетисова 2005: 69], Маканин выражает периферийное значение цветового символа, т. е. предлагает индивидуальную трактовку того или иного цветового символа.

В «Голосах» писатель сосредоточивается на одном цвете, делая его символическим центром произведения. Повесть открывается образом Желтых гор, символизирующих давно прошедшее детство: «В определенные дни и в определенные часы солнце жгло их желтые вершины, и потому в обиходе они назывались *Желтыми горами*» [Маканин 2002 (1): 5]. Желтый цвет традиционно ассоциируется с цветом солнца, а значит, цвет воспринимается по большей мере позитивно. Вместе с тем Желтые горы являются символом Урала, в них сосредоточены величественность и красота малой родины писателя: «первый рассказ, который я в юности написал, был о Желтых горах, о той самой минуте, когда воздух и пространство содрогнулись, а во мне возникло ликующее освобождение и чувство достигнутой, – о той минуте, когда я скакал с камня на камень» [Маканин 2002 (1): 7]. Желтые горы становятся солярным образом в произведении и тесно связываются с темой детства и течения времени. Такой же интерпретационный подход наблюдается в повести «Предтеча»: «Коляня пил из холодильника пиво, как пьют его не спешащие, натошак и поутру. Вставить не спеша было счастьем, и даже вспоминались, вытаскиваясь из памяти, жаркие и желтые дни детства» [Маканин 2002(2): 241].

В повести «Голубое и красное» основное внимание автора уделяется проблеме концептуализации цветового пространства человеком. В оппозиционных цветах писатель обнаруживает ассоциативный потенциал и смысловое пространство, которое складывается в определенном культурном социуме. Символика цвета в повести «Голубое и красное» выполняет структурообразующую функцию, поскольку основная идея произведения выражается через оппозицию двух цветов. Процесс восприятия цвета Ключаревым можно рассматривать как акт символизации цвета, что является в первую очередь актом получения объективной информации, а также актом формирования субъективного чувственного опыта. Он познает жизнь через определенную цветовую гамму, ассоциируя мир города с голубым цветом, а мир деревни – с красным, поскольку живущая в городе бабка Наталья предпочитает первый цвет, а деревенская бабка Матрена – вто-

рой. Мальчик рассматривает цвета в сравнении, в соседстве друг с другом, и за счет их контраста мир воспринимается им как двуцветное полотно. Таким образом, цветовая символика в повести «Голубое и красное», где символическая антитеза уже вынесена в название, основывается на соотношениях определенных психических явлений и конкретных цветов. Как отмечает И. Иттен, «цвет должен переживаться не только зрительно, но психологически и символически» [Иттен 2011: 14], «цветовое видение, возникающее в глазах и в сознании человека, обладает своим содержанием и смыслом» [там же: 19]. Маканин также использует цветовые контрасты для создания символических картин, раскрывающих и усиливающих характерологическую функцию символика цвета, которая открывает новые художественные возможности в обрисовке героев или жизненных явлений. Писатель, во-первых, воспринимает цвет как социальный феномен субъективного восприятия человека, во-вторых, как эмблему душевного состояния человека, живущего в условиях противостояния города и деревни.

Для Маканина в человеке заключается «сущность мирового процесса» [Белый 1911: 122], оттого героинь произведения можно рассматривать как воплощение двух типов культуры. Цветовая символика в повести характеризует стереотипы поведения, связанные с психологическими состояниями или переживаниями главных персонажей – бабки Матрены и бабки Наталии. И. В. Гете утверждает, что «по характеру цвета одежды судят о характере человека. Так, можно наблюдать отношение отдельных цветов и их сочетаний к цвету лица, возрасту и положению» [Гете 1957: 328]. По его мнению, социальные и личностные факторы влияют на цветовое предпочтение человека. В повести яркими портретными характеристиками являются красная косынка первой и цветасто-голубое платье второй.

Маканин описывает голубой как цвет «нежный, высокий, надменный, самообманывающийся» [Маканин 1988: 203]. Бабка Наталия в повести всегда хочет показать свое преимущество перед Матреной, всячески стремясь продемонстрировать свое интеллектуальное и социальное преимущество (хотя во время голода ей приходится есть траву, потому что гордость не позволяет обратиться за помощью к Матрене). Кроме того, голубой цвет в повести выражает постижение истины во всей ее глубине, стоящей вне реальной жизни и доступной лишь духу. Бабка Наталия хотела, чтобы Ключарев помнил ее, но предчувствовала, что, повзрослев, он будет помнить только другую бабку. Она смирилась с выбором внука, «считала, что любить бабку Матрену (удерживать ее и в голове, и в сердце) маль-

чику и нужнее, и правильнее, и современнее, и безопаснее в смысле развития – тоже» [Маканин 1988: 203]. Человеку надо хранить в памяти связь со своими предками.

Красный цвет в произведении – это, напротив, сильный, практичный и расчетливый цвет, «без тени высокомерия, без снисходительности» [там же]. Такова и Матрена: выносливая, «расторопная» в хозяйстве, страдавшая и многое пережившая. Она сама сажает овощи и едет на рынок продавать, чтобы зарабатывать себе деньги для жизни, потому что она «жила своей жизнью и на чужую жизнь не равнялась» [там же: 210]. Она как бы представляет деревню, на которой сильнее всего сказались социальные потрясения и которая теперь переживает свой закат. Точно так же, как культура деревни уходит в небытие, крест бабки Матрены истлевает, и повзрослевший Ключарев забывает, где она захоронена. Забвение деревенской жизни и исчезновение деревенской цивилизации являются, как показывает автор, печальной и неизбежной тенденцией: «“Так получилось”, – как сказала бы бабка Матрена» [там же: 209].

Маканин напрямую указывает на функции используемых им цветовых символов: «Голубой – нежен, но высокомерен, слишком бил в глаза, а красный прямо бил в сердце» [там же: 193]. Ключарева «манил процесс разгадывания» [там же] загадки бытия, предложенной ему двумя старушками. Основой этого познания является любовь, которую обе бабки испытывают к своему внуку. Эта любовь взаимна: мальчик не может сделать между ними выбор, как не может автор сделать выбор между городом и деревней. Показательной является сцена, когда Матрена приезжает в город и Наталия приветливо ее встречает, и обе стараются не показывать взаимную неприязнь ради внука. И пусть противоречие между ними невозможно устранить, любовь помогает на время о нем позабыть. П. Ролберг (P. Rollberg) отмечает, что «однако две бабушки не могли предвидеть, что их внук унаследует их самые исключительные черты, прежде всего сильное чувство гордости, личное достоинство» [Ролберг 1993: 1].

П.В. Яньшин считает, что психосемантика цвета имеет познавательно-мировоззренческое значение для бытия человека в мире: «...наличие и специфика цветовой семантики отражает бытие человека в мире, контакт субъекта с миром, и обеспечивает адекватное отражение объективной реальности на различных уровнях репрезентации субъекту образа этой реальности» [Яньшин 1996: 10]. В ходе повествования выясняется, что красное и голубое — уже не просто цвета, а символ духовного становления Ключарева: «Голубое и

красное из цветов превратились в некое знание жизни, пусть чувственное, но со временем расширяющееся и вширь и вглубь. Очень скоро Ключарев-взрослый даже и годы своей жизни станет делить на год голубой и год красный» [Маканин 1988: 203].

В. Бондаренко утверждает, что «Маканинское стремление обнаружить, зафиксировать на бумаге обыкновенного человека, нашего реального живого человека – много стоит. Даже когда это не вполне ему удастся. Он стремится воссоздать самые разнообразные характеры, мечтает выскочить из системы типажей» [Бондаренко 1986: 186]. В некоторых других произведениях красный и голубой приобретают иное значение, используя в портретном описании глаз персонажей. Так, в «Голосах» красные глаза – деталь портрета безумного старика на вокзале и безумного Якушкина, а в «Старом поселке» и «Предтече» голубые глаза символизируют духовную чистоту деревенских жителей и нормального знахаря Якушкина.

Хотя в повести «Голубое и красное» возникает оппозиция белого и черного (белый пушок на лице бабки Наталии и черный загар бабки Матрены), свое развитие она получает в «Антилидере». Возможно, подобная антитеза связана с интересом автора к шахматной игре. Выступая перед зрителями в передаче «Линия жизни» на телеканале «Культура», писатель отмечал, что он был сильным шахматным игроком в школе. Он увлекался магией шахматной игры. В одном из интервью он говорит: «Когда я пишу повести или роман, всегда знаю, играю белыми или черными. Белая партия динамична, энергична, но поверхностна. Мне кажется, что самым интересным является играть черными, когда с темой я мало знаком. Когда я играю черными, как будто ступаю в темный лес, это дает мне ощущение творчества по какому-то более высокому счету. Я не спешу, пишу постепенно, как хочу» [Маканин: 2015].

В «Антилидере» подобный контраст в первую очередь характеризует тип мышления главного героя, базирующегося на представлении о необходимости вечного противостояния кому-либо. Он относится к тем людям, которые «делают» мир на «белое» и «черное», что характеризует его как человека бескомпромиссного и в итоге приводит к гибели. При этом черный цвет напрямую не называется, это всегда – «темный», т. е. некий цвет, актуализирующий коннотацию темного, недоброго, страшного начала в характере Куренкова. Образ сгущающейся к финалу произведения тьмы отсылает к этому цветовому символу в ряде сцен, например, «лес начинался почти сразу за домами. Фонарей не было — темные улочки и

ряды домиков с заборами едва угадывались в свете луны» [Маканин 2002: 136]. Кроме того, автор прибегает к однокоренным словам для описания болезни Куренкова, например, «темнел», «потемнело», «потемневший», «темен», «темное» и т. д.

Контраст между супругами замечен в конце произведения: «Шурочка, раздобревшая и белая. Она всегда была полной, теперь она была толстухой, и вот с плачем она кинулась к нему, всем своим большим белым телом стараясь словно бы пригреть его, огородить и защитить» [там же: 138]. Белый цвет, сопровождающий образ Шурочки, символизирует источник духовной силы и веры в возвращение мужа к нормальной жизни, но в конце концов черная сторона Куренкова побеждает. Китайский исследователь Хоу ВэйХунь (Hou Weihong) отмечает, что «в прозе Маканин вскрывает проблему личности. Некоторые герои погружаются в пустоту, другие хотят бороться с их судьбой, чтобы сохранять свою независимость личности, но становятся чужаками. Хотя эти герои не положительные, они не вульгарные. В них обнаруживается идеальная вещь, которую люди должны беречь» [Хоу ВэйХунь 2001: 61].

Итак, анализ функций анималистической символики и символики цвета в прозе Маканина помогает нам выявить некоторые характерологические особенности художественного мира его ранних произведений. Анималистическая символика в разных повестях уходит корнями в мифологические и религиозные представления, отражение которых писатель находит в психологии советского человека. С помощью традиционной символики цвета автор передает эмоциональное настроение и интеллектуальное состояние персонажей. Обращаясь к традиционным цветовым и анималистическим образам и переосмысляя их в своих произведениях, Маканин расширяет коннотативный спектр используемой им символики. В его интерпретации актуализируются социально-психологические аспекты, характерные для современного сознания и общественного устройства. Многие символы, используемые им в ранней прозе, становятся лейтмотивными для всего творчества писателя. Благодаря особенностям его художественно-философской трактовки углубляется смысловое содержание символических образов, и поэтому их анализ необходим для корректной дешифровки кода авторской поэтики.

### Список литературы

*Александров Н. Д.* С глазу на глаз. Беседы с российскими писателями. М.: Б. С. Г. Пресс, 2012. 376 с.

*Анита Д.* Фразеологизмы с анималистическим компонентом в русском языке: С позиции носи-

теля венгерского языка: дис. ... канд. филол. наук. М., 2002. 187 с.

*Белый А.* [Бугаев Б. Н.] Арабески: Книга статей. М.: Мусагет, 1911. 526 с.

*Бондаренко В. Г.* Время надежд. О творчестве писателя В. Маканина // Звезда. 1986. № 8. С. 184–194.

*Гете И. В.* К учению о цвете. Хроматика. Очерк учения о цвете. // Избранные сочинения по естествознанию. М.: Академия наук СССР, 1957. 212 с.

*Иттен И.* Искусство цвета / пер. с нем.; предисл. Л. Монаховой, И. Иттен. 2-е изд. М.: Изд. Д. Аронов, 2001. 96 с.

*Кант И.* Критика способности суждения. Сер.: Слово о сущем. СПб.: Наука, 2006. Т. 11. 512 с.

*Колосова А. В.* Социальная реконструкция визуальных образов в средствах массовой коммуникации // Массовая культура. Массовое искусство. «За» и «Против». М.: Изд-во «Гуманитарий», 2003. 512 с.

*Маканин В. С.* Голубое и красное // Отставший: Повести и рассказы. М.: Худож. лит., 1988. С. 171–220.

*Маканин В. С.* Собрание сочинений. М.: Материк, 2002–2003. Т. 1–3.

*Маканин В. С.* Линия жизни. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aCYMVSeY92k> (дата обращения: 15.07.2015).

*Петрова Н. Д.* Фразеологическое поле зоо-семизмов в современном английском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Киев, 1983. 22 с.

*Пропп В. Я.* Предисловие // Народные русские сказки А. Н. Афанасьева: в 3 т. М.: ГИХЛ, 1957. Т. I. 516 с.

*Служивцев В. В.* Традиционное искусство в современной культуре // Искусство в современном мире: материалы I науч.-практ. конф. / под ред. Л. Г. Лазаревой. Ханты-Мансийск: Полиграфист, 2005. С. 79–82.

*Соловьева И.* Натюрморт с книгой и зеркалом // Маканин В. Отдушина: Повести. М.: Известия, 1990. С. 551–558.

*Телицин В.* Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия. М.: Локид-Пресс, Рипол Классик, 2005. 490 с.

*Фетисова С. А.* Концептуализация имени цвета «красный»: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2005. 20 с.

*Хоу Вэй Хунь.* Художественный стиль В. С. Маканина // Обзор иностранной литературы. 2001. № 2. С. 61–66. 侯玮红. 论马卡宁小说创作的艺术风格 // 外国文学研究. 2001(2). P. 61–66. (Hou Wei Hong. Lun ma ka ning xiao shuo chuang

zuo de yi shu feng ge // Wai guo wen xue yan jiu. 2001(2). P. 61–66.)

Юнг К. Г. Аион: Исследование феноменологии самости. М.: Рефл-бук, Ваклер, 1997. 336 с.

Юнг К. Г. Человек и его символы. СПб.: Б. С. К., 1996. 352 с.

Яньшин П. В. Эмоциональный цвет. Эмоциональный компонент в психологической структуре цвета. Самара: СамГПУ, 1996. 218 с.

Byron L. The Arts of Listening and Digging: Myth, Memory, and Retrieval of Meaning in “Voices” and “The loss” // Routes of passage: essays on the fiction of Vladimir Makanin / ed. by Byron Lindsey and Tatiana Spektor. Bloomington: Indiana, 2007. P. 63–80.

Kachur J. The Poetics of the Interval: Modes of Mediation, Disjuncture, and Connection // Routes of passage: essays on the fiction of Vladimir Makanin // ed. by Byron Lindsey and Tatiana Spektor. Bloomington: Indiana, 2007. P. 37–62.

Rollberg P. Vladimir Makanin’s outsiders. Washington: Wilson center, 1993. 67 p.

## References

Aleksandrov N. D. *S glazu na glaz. Besedy s rossiyskimi pisatelyami* [Face-to-face. Conversations with Russian writers]. Moscow, B. S. G. Press, 2012. 376 p. (In Russ.)

Anita D. *Frazeologizmy s animalisticheskim komponentom v russkom yazyke: s pozitsii nositelya vengerskogo yazyka*. Diss. kand. filol. nauk [Phraseological units with an animalistic component in Russian: from the standpoint of a Hungarian native speaker. Diss. Cand. philol. sci.]. Moscow, 2002. 187 p. (In Russ.)

Belyy A. *Arabeski: kniga statey* [Arabesques: book of articles]. Moscow, Musaget Publ., 1911. 526 p. (In Russ.)

Bondarenko V. G. *Vremya nadezhd. O tvorchestve pisatelya V. Makanina* [Time of hope. On the work of V. Makanin]. *Zvezda* [Star], 1986, issue 8, pp. 184–194. (In Russ.)

Goethe J. W. *K ucheniyu o tsvete. Khromatika. Ocherk ucheniya o tsvete* [To the doctrine of color. Chromatics. Essay on the study of color]. *Izbrannye sochineniya po estestvoznaniyu* [Selected works on natural science]. Moscow, USSR Academy of Sciences Publ., 1957. 212 p. (In Russ.)

Makanin V. S. *Goluboe i krasnoe* [Blue and Red]. *Ostavshiy: povesti i rasskazy* [Straggler: stories and novels]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1988, pp. 171–220. (In Russ.)

Makanin V. S. *Sobranie sochineniy* [Collected works]. Moscow, Materik Publ., 2002–2003, vol. 1–3. (In Russ.)

Makanin V. S. *Liniya zhizni. Vladimir Makanin. Kanal Kul'tura* [Life Line. Vladimir Makanin. Cul-

ture Channel]. Available at: <https://www.youtube.com/watch?v=OODn6TraOWE&feature=youtu.be>. (accessed 15.07.2015) (In Russ.)

Itten J. *Iskusstvo tsveta* [The Art of color]. Transl. from German, 2nd edition, preface by L. Monakhova. Moscow, D. Aronov Publ., 2001. 96 p. (In Russ.)

Kant I. *Kritika sposobnosti suzhdeniya. Seriya: Slovo o sushchem* [The Critique of Judgment. Series: A word about what exists]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2006, vol. 11. 512 p. (In Russ.)

Kolosova A. V. *Sotsial'naya rekonstruktsiya vizual'nykh obrazov v sredstvakh massovoy kommunikatsii* [Social reconstruction of visual images in the mass media]. *Massovaya kul'tura. Massovoe iskusstvo. «Za» i «Protiv»* [Popular culture. Popular art. “For” and “Against”]. Moscow, Gumanitariy Publ., 2003. 512 p. (In Russ.)

Fetisova S. A. *Kontseptualizatsiya imeni tsveta «krasnyy»*. Avtoreferat. diss. kand. filol. nauk [Conceptualization of the name of the color “red”. Abstract of Cand. philol. diss. sci.]. Irkutsk, 2005. 20 p. (In Russ.)

Petrova N. D. *Frazeo-semanticheskoe pole zoosemizmov v sovremenном angliyskom yazyke*. Avtoreferat. diss. kand. filol. nauk. [Phraseo-semantic field of zoosemisms in modern English. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Kiev, 1983. 22 p. (In Russ.)

Propp V. Ya. Predislovie [Preface]. *Narodnye russkie skazki A. N. Afanas'eva: v 3 t.* [Folk Russian fairy tales by A. N. Afanasyev: in 3 vols.]. Moscow, State Publishing House for Literary Works, 1957, vol. 1. 516 p. (In Russ.)

Sluzhivtsev V. V. *Traditsionnoe iskusstvo v sovremennoy kul'ture* [Traditional art in modern culture] *Iskusstvo v sovremenном mire: materialy I nauch.-prakt. konf.* [Art in the modern world: proceedings of I scientific practical conference]. Ed. by L. G. Lazareva. Khanty-Mansiysk, Polygraphist Publ., 2005, pp. 79–82. (In Russ.)

Solov'eva I. *Natyurmort s knigoy i zerkalom* [Still life with a book and a mirror]. *Makanin V. Otdushina: povesti* [Makanin V. Escape: stories]. Moscow, Izvestiya Publ., 1990, pp. 551–558. (In Russ.)

Telitsin V. *Simvol, znaki, emblemy: entsiklopediya* [Symbols, signs, emblems: encyclopedia]. Moscow, Lokid-Press, Ripol Classic Publ., 2005. 490 p. (In Russ.)

Hou Weihong *Khudozhestvennyy stil' V. S. Makanina* [The Artistic style of V. S. Makanin]. *Obzor inostrannoy literatury* [Foreign Literature Review], 2001, issue 2, pp. 61–66. (In Chin.)

Yung K. G. *Chelovek i ego simvol* [Man and his symbols]. St. Petersburg, B. S. K. Publ., 1996. 352 p. (In Russ.)

Yan'shin P. V. *Emotsional'nyy tsvet. Emotsional'nyy komponent v psikhologicheskoy strukture*

*tsveta* [Emotional color. Emotional component in the psychological structure of color]. Samara, Samara State University of Social Sciences and Education Publ., 1996. 218 p. (In Russ.)

Yung K. G. *Aion: Issledovanie fenomenologii samosti* [Aion: Researches into the Phenomenology of the Self]. Moscow, Refl-buk Publ., Vakler Publ., 1997. 336 p. (In Russ.)

Byron Lindsey. The Arts of Listening and Digging: Myth, Memory, and Retrieval of Meaning in “Voices” and “The Loss”. *Routes of passage: essays*

*on the fiction of Vladimir Makanin*. Ed. by Byron Lindsey and Tatiana Spektor. Bloomington, Indiana, 2007, pp. 63–80. (In Eng.)

Kachur John. The Poetics of the Interval: Modes of Mediation, Disjuncture, and Connection. *Routes of passage: essays on the fiction of Vladimir Makanin*. Ed. by Byron Lindsey and Tatiana Spektor. Bloomington, Indiana, 2007, pp. 37–62. (In Eng.)

Rollberg P. *Vladimir Makanin's outsiders*. Washington, Wilson center, 1993. 67 p. (In Eng.)

## ANIMALISTIC AND COLOR SYMBOLISM IN THE 1970–1980s PROSE OF V. S. MAKANIN

### Gong Qingqing

Postgraduate Student in the Department of History  
of Modern Russian Literature and Modern Literary Process

Lomonosov Moscow State University

1, Leninskie gory, Moscow, 119234, Russian Federation. qingqinggong@mail.ru

SPIN-code: 1516-0530,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5329-4186>

ResearcherID: F-4354-2018

Submitted 04.04.2018

Symbolism in prose of V. S. Makanin provides better conveyance of the ideological focus of his works, contributes to the implementation of the author's narrative strategies, the expansion of the associative background and, in general, the creation of an extensive and dynamic information structure. The main writer's task is to create visual images, reveal their associative meanings and form an appropriate recipient. Makanin not only uses traditional, universal symbols in his works, but also offers his own individual artistic interpretation, in which a certain writer's conception is reflected, showing the author's view on certain phenomena of the surrounding reality. The demand for a symbol is determined by the writer's desire to find universal forms not only expressing the author's position, but also revealing the ambivalence of the human nature, the metaphysical nature of being in general. At the same time, symbolism helps to focus the reader's attention on the unique features of the character's inner world and to reflect the psychological motivation for his actions so that the reader could fully participate in the creative process and penetrate the essence of the author's design. The subtext in Makanin's works is formed with the help of a number of symbolic images, analysis of which is necessary to comprehend the originality of the author's creative personality and the complexity of the person's spiritual world. In this article, we focus on two key aspects of the symbolic system in the early prose of Makanin – animalistic and color symbolism, most clearly reflecting the interaction of the traditional and the author's unique interpretation. The first system consists of the symbols of the wolf, worm, firebird, bear, fish, bird (in particular, hen) and butterfly, the second one consists of the blue, red, black and white color symbols. By analyzing them, we discover that the author focuses on social and psychological aspects of these images, creating the new ways of presenting the man of that time and depicting the Soviet society of the second half of the 20<sup>th</sup> century.

**Key words:** Makanin; animalistic symbolism; color symbolism; narrative strategy; reader; artistic interpretation of the text.

УДК 821.161.1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-92-101

## МОТИВ ПОИСКА ЖЕНЩИНЫ В РОМАНЕ В. МАКАНИНА «АНДЕГРАУНД, ИЛИ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

**Алина Викторовна Малькова**

аспирант кафедры истории русской литературы XX века

Национальный исследовательский Томский государственный университет

634050, Россия, г. Томск, просп. Ленина, 34а. malkova-alina@list.ru

SPIN-код: 3380-7072

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5116-7535>

ResearcherID: V-1112-2017

Статья поступила в редакцию 21.12.2017

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Малькова А. В. Мотив поиска женщины в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 92–101. Doi 10.17072/2037-6681-2018-2-92-101

**Please cite this article in English as:**

Malkova A. V. Motiv poiska zhenshchiny v romane V. Makanina «Andegraund, ili Geroy nashego vremeni» [The Motif of Seeking a Woman in V. Makanin's novel *Underground, or Hero of Our Time*]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 92–101. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-92-101 (In Russ.)

В статье мотив поиска женщины в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) рассматривается как повторяющиеся ситуации поиска встречи с другим сознанием (ситуация выхода за пределы «Dasein»; «озабочение бытием другого», по М. Хайдеггеру). Автор, изображая в романе героя-идею, выбирает сюжет о поиске женщины как Другого, способного быть спасением или стать объектом спасения. Принципом повторяемости и сопоставимости акцентируется стремление героя-писателя выстроить «сюжет» отношений как эксперимент над реальностью и как способ интерпретации реальности, обнаруживающей зависимость человека от витальности жизни. В романе герой склонен либо к прагматике отношений: «забалтыванию» свидетельницы преступления; к игре в эрос с медсестрой; к исследованию психологии раскаяния, зависимости интимного чувства от социального признания и др.; либо к самопознанию. Редукцию духовной основы любви восполняет в романе экзистенциальная трактовка – поиск Другого как ответ на «зов бытия» и потребность быть услышанным. В любовном сюжете центрального персонажа (Петровича) выделяются три фазы: *первая фаза* – поиск слабой женщины в повседневной жизни (проявление «заботы о Другом», по М. Хайдеггеру) – реализует сюжет спасения женщины; во *второй фазе* преступления (два убийства) рождают в герою потребность в женщине как в субъекте сострадания (сюжет спасения женщиной); в *финальной фазе* погружение центрального персонажа в телесно-бытовое существование показывает доминирование физиологической потребности мужчины в женщине. Таким образом, исследователем обнаруживается трансформация семантики архаического мотива поиска мужчиной женщиной, отражающая изменения концепции любви в сознании современного героя.

**Ключевые слова:** В. Маканин; «Андеграунд, или Герой нашего времени»; современная русская проза; мотив; любовный сюжет; вариативность.

Мотив поиска женщины мужчиной в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) может быть обусловлен обращением к архаической ситуации (мотиву) поиска героем невесты, которая восходит к древним брачным ритуалам, символизирующим «победу

над смертью, новое рождение, омоложение» [Фрейденберг 1997: 75]; а также к «божественному мифу, который является образцовой моделью союза мужчины и женщины» [Элиаде 1994: 93]. Поиск мужчиной женщиной и их встреча направлены на возрождение или обновление

жизни. Альтернативой брачным прилюдным обрядам считается тайный – похищение, обряд, который вызван либо запретной, но взаимной любовью, либо единоличным желанием обладания. Иной генетический источник мотива поиска женщины – обряд инициации героя [Мелетинский, 2001: 42], в котором достижение цели (женитьба) демонстрирует готовность мужчины к жизни в роде, к устройству жизни.

Поиск мужчины определяется вариативностью женских типов (архетипов, в интерпретации психологов Г. Бедненко [Бедненко 2005], К. Эстес [Эстес 2000]), обусловленной физиологическим циклом (Дева – Женщина – Старуха) и социальной ролью женщины (юная дева, жертва, хозяйка, верная супруга, муза и др.).

В аналитической психологии поиск мужчиной женщины объясняется проявлением бессознательного эроса и становится стимулом развития индивида [Фрейд 1999: 221]; «либидо» может «сублимироваться», преобразовываться в разные формы деятельности. З. Фрейд выделял два типа любви [Фрейд 2012: 174]: нарциссический – поиск в Другом сходства (любит в Другом себя) и аналитический (греч. *anaklino* – «опереться на кого-либо»), когда человек ищет проявления заботы, поддержки. Причина поиска мужчиной женщины вызвана не только сексуальным желанием или потребностью в продолжении рода, но и необходимостью в чувственном контакте с Другим. Поиск Другого – способ преодоления одиночества (по М. Хайдеггеру, выход за пределы «Dasein»).

В художественной словесности ситуация поиска женщины мужчиной закрепились в любовном сюжете [Бахтин 2000; Протопопова 2001; Тмарченко 1997]. Изображение любви как силы рока, провидения сменяется пониманием любви как индивидуального влечения, курьезного случая. В литературе нового времени любовный сюжет, по сути, не направлен на раскрытие психологии персонажей. Роман, воспроизводящий незавершенность жизни, «растворяет» любовную ситуацию в потоке множества коллизий. В сюжете романа любовная ситуация предоставляет персонажу возможность внутреннего изменения; в русской классической литературе любовный сюжет – это, как правило, испытание героя (см.: Н. Чернышевский «Русский человек на rendez-vous», 1858), его неспособность пройти «испытание любовью» [Чернышевский Т. 3, 1974: 135] оценивается как слабость жизненной позиции. Для героя русского романа любовь существует в идеальном воплощении, идеализация любовного чувства превращается в «мазохистский импульс» [Большев 2013: 160], побуждая реальное чувство оценивать как пошлость.

В XX в. изображение любви деидеализируется, связывается не столько с чувственными, сколько с физиологическими проявлениями, а любовный сюжет сводится к фиксации поведенческих стереотипов даже в сфере частной жизни.

В прозе «сорокалетних», объединенных обращением к неличностному существованию человека городской цивилизации (1970–1980-х гг.) (см. о них: [Бондаренко 1990; Латынина 1983]), любовные ситуации не становятся событием жизни ни для субъектов, ни для объектов, не меняют образа жизни индивидов, остаются «отдушиной» в «полосе обменов» (определение В. Маканина). «Самотечность жизни» (определение В. Маканина) снимает значение любви как онтологически или экзистенциально значимого переживания: встречи с женщиной открывают не возвышенные, не духовные, а обыденные, повторяющиеся отношения. Стереотипность отношений с женщинами современного человека констатируется как нечто типичное, она не подвергается авторской критике, но и не ограничивается констатацией.

Исследуя психологию и поведение персонажей, В. Маканин постоянно обращается к ситуациям взаимоотношений мужчины и женщины, повторяя и варьируя сюжеты, вскрывая модель поведения современного человека. Сюжет блуждающего героя и ищущего встречи с Другим появляется в повести «Валечка Чекина» (1974), в повести «Отдушина» (1979) этот поиск сводится к связи с женщиной для преодоления «суеты и тщеты <...> судьбы или жены» [Маканин 1990: 125] и как возможность «расслабить ноги», спрятаться от «дневного гона». В романе «Один и одна» (1987) поиск мужчиной женщины оборачивается «неузнаванием» людей, «замкнутых в кругу книжных представлений» [Латынина 1987: 179]. В рассказе «Гражданин убегающий» (1984) ситуация поиска перевернута бегством «восточносибирского Дон Жуана» от «случайных связей» [Амусин 2007: 197]. И все же ситуация поиска женщины в прозе В. Маканина трансформирует бытовые коллизии (измены или увлечения) в универсальные, обнаруживая подмену природы и женщины, и мужчины, поскольку оба готовы к недостижению цели или компромиссу.

Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1998) прочитывается, прежде всего, как роман о «потерявшем веру в свое призвание писателе» [Ефимова 2012: 181]; о «герое-отщепенце» [Семикина 2008: 121], который обнаруживает «подмену жизни квазизжизнью» [Рыбальченко 2002: 101]; как роман о том, что реальная жизнь подменяется текстами, освобождающими от чувств, «превращая человека в соглядатая жизни» [Рыбальченко 2002: 101].

В. Маканин акцентирует телеологичность и «текстовость» поведения героя с женщиной, что означает не следовать органическому влечению, а строить «сюжет» отношений, соотносимый с сюжетами литературы. Литературоведы (К. Шилина [Шилина 2005], Т. Климова [Климова 2010], Р. Семькина [Семькина 2008]), исследуя ассоциативный фон романа, выделяют опоры В. Маканина на классические сюжеты преступления и покаяния, дуэли, смерти маленького человека; в любовном сюжете отмечают традиционное для классической русской литературы влечение героя «к униженной, оскорбленной женщине» (Ф. М. Достоевский). Обращение к классическим сюжетам вызвано не только сознанием персонажа-писателя, но и стратегией автора расширить горизонт интерпретации современных коллизий, вывести их в антропологическое измерение.

Мотив поиска женщины в русской литературе восходит и к западноевропейскому сюжету Дон Жуана, коды которого отчетливо проявлены: от поиска идеала (у А. С. Пушкина) [Гуковский 1965; Ахматова 1990; Бабанов 1996] до имморализма индивидуальной страсти (литература начала XX в.) [Михиенко 2001; Оморин 2010]. Нельзя не отметить и трактовку Дон Жуана как символа потерянного поколения (А. Блок «Шаги Командора», 1912), как «символа беспредельной страсти-стихии» у М. Цветаевой [Михиенко 2001: 12]. В. Маканин менее склонен показывать героя-идею и выбирает русский вариант сюжета о поиске женщины как Другого, способного быть спасением или стать объектом спасения.

Поиск женщины в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» воплощается на профанном уровне в удовлетворении природного влечения, в прагматической необходимости (бытовое «спасение»), но почти всегда герой романа ищет встречу с Другим сознанием. Встреча по-разному спасает, помогает сохранять свое «я» в условиях социальной и этической дезориентированности, однако не приводит к обретению смысла существования. Встреча не меняет способа существования, остается эпизодом потока жизни, что порождает повтор ситуаций встреч с другими женщинами, превращается в мотив, не движущий сюжетную коллизию. Повтор ситуаций поиска женщины главным героем поддерживается повтором подобных сюжетных ситуаций у персонажей второго плана. Наконец, романские ситуации соотносятся с классическими для русской литературы сюжетами спасения «униженной и оскорбленной женщины» (романы Ф. М. Достоевского), сюжетами испытания героя

любовью (романы И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого и др.), показывают изменение в современном человеке.

Мотив поиска женщины в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» проявляется в «любовных» историях, кратких, случайных или более длительных, но не становящихся событием, не изменяющих ни образа жизни, ни сознания главного героя. В романе, с одной стороны, повторы варьируют событийные сюжеты длительных отношений главного героя с женщинами (например, сюжеты общения с Вероничкой, Лесей Дмитриевной). Их схема общая: 1) случайная встреча (без завязки поиска); 2) отношения, в которых герой выступает спасителем женщины; 3) взаимное психологическое отчуждение в продолжающейся близости; 4) уход женщины или самого Петровича; 5) периодические встречи-возвращения без иллюзий любви. С другой стороны, повторы выстраивают череду непродолжительных встреч Петровича с женщинами (например, истории общения с Зинаидой, Марусей и др.). Подобные кратковременные встречи, как правило, случайны, обусловлены прагматической целью (физической близостью).

Оба вида поиска связи с женщиной обнаруживают отсутствие духовной любви и даже власти природного эроса. Петрович предстает не только утратившим семейные связи, но и не вспоминающим о своей бывшей жене, что свидетельствует об отсутствии душевной травмы от утраты, как и о незначимости чувства к жене в прошлом. Безлюбие существует в сознании Петровича как норма. Признание силы потока жизни (это «река с быстрым течением», по В. Маканину) определяет не только социальное поведение, но и интимную жизнь, как это свойственно человеку в прозе «сорокалетних».

Называя «поиск женщины» сюжетным мотивом, мы акцентируем значение архаической семантики традиционного мотива и ее трансформации в конкретных романских обстоятельствах. Герой В. Маканина не ищет буквально, а бродя по коридорам общаги (жизни), встречает женщину, требующую помощи или готовую к помощи. Все встречи завершаются не соединением, не конфликтом, а расхождением, которое не вызывает душевной реакции у героя, убежденного в том, что нелюбовь – свойство жизни. Между тем повторяемость сюжетной ситуации (мотив в исходном значении термина) свидетельствует о поиске женщины как экзистенциальной потребности героя.

В сюжете центрального персонажа, Петровича, выделяются три фазы (три «семантических

поля», по Ю. М. Лотману): фаза погружения в поток бытовой жизни («общажная» фаза) и тайного бунта («удара»); фаза раскаяния и сопротивления подавлению (лечение в психбольнице); фаза возвращения в поток жизни в изменившейся социальной ситуации, отказ от реванша и самоутверждения.

В центре первой фазы две встречи: с молодой поэтессой Вероничкой, ангажированной деятелями «перестройки», и со «стареющей» активисткой из прошлой жизни Петровича – Лесей Дмитриевной Воиновой (первая – третья части, главы: «Новь. Первый призыв», «Я встретил вас»). Вторая фаза изображает Петровича как нуждающегося в понимании и спасении и показывает два варианта спасения: встреча в «бомжатнике» с флейтисткой Натой и встреча с медсестрой Марусей в психбольнице (главы четвертой части: «Зима и флейта», «Палата номер раз», «Триптих: расставание»). Третья фаза (главы пятой части: «Черный ворон», «Писатель и его награда», «Один день Венедикта Петровича») восстанавливает прежнее положение героя в бытовом существовании без творчества, без любви, но с женщинами, удовлетворяющими телесные желания (Зинаида Агапкина и Ася Игоревна).

Повествователь отмечает, что в каждой фазе пары женщин дополняют друг друга; он связывает, например, Вероничку и Лесю Дмитриевну как дополняющие друг друга истории: «Случайный расклад тех дней: от любви к любви. Пойдя на демонстрацию по телевизионному призыву худенькой Веронички, я встретил там Лесю Дмитриевну» (Маканин 2003: 203)<sup>1</sup>. Случившаяся в прошлом любовную связь с Вероничкой Петрович вспоминает как подлинное чувство, которое он впервые испытал: «Сердце сделалось тяжелым <...> Сердце – как огромное ржавое болото со стрелками камыша, с осокой, с ряской и с бесконечной способностью вбирать, заглатывать в себя. В него (в болото) можно теперь бросать камни, сливать химию, наезжать трактором, загонять овец – все проглотит» (36).

История отношений с Лесей Дмитриевной связана отчасти с желанием Петровича повторить (построить сюжет) ту эмоциональную связь, которую он испытал в физической связи с Вероничкой. Другая пара женщин (Маруся и Зинаида) дает варианты спасения именно через погружение в телесную стихию жизни. Обе героини наделены архаической сказочной функцией дарительницы или чудесной помощницы: медсестра Маруся дарит пробуждающий чувственность Эрос, Зинаида, общажная спутница Петровича,

навешает его в психбольнице, помогает ему вернуться в общагу.

Первая фаза показывает существование персонажа в потоке, «самотечности» жизни, который занимает положение наблюдающего и фиксирующего явления жизни. Мотив поиска женщины в первой фазе доминирующий. На бытовом уровне это рассматривается как использование возможностей, предоставляемых обстоятельствами, случаем, а также как проявление самозамаления Петровича: не завоевание женщины, а расчет на ее благосклонность.

Роман начинается с череды бытовых встреч Петровича с «общажными» женщинами. В подобных встречах всегда есть характер временной сделки. Эрос обменивается на договор о сокрытии тайны женщины, в чем видится не столько спасение, сколько неагрессивный шантаж: прикосновение к «пышной» женской груди, в обмен за которое следует молчание об измене женщины мужу (история Курнеевой в главе «Коридоры» части первой); или, наоборот, побуждение женщины на ложные показания в ответ на близость с Петровичем (история Сестряевой в главе «Кавказский след» части второй).

С другой стороны, постоянные блуждания в коридорах общаги в поисках женщины, подслушивание интимных шорохов из чужих комнат «молодят» героя («В пятьдесят с лишним лет на ночь глядя следует читать <...> разве Хайдеггер не лучше, чем вот так шастать. Но иду. Постепенно кураж нарастает, он и она!» (19). Коридорные блуждания открывают не сексуальную озабоченность Петровича, а влияние литературных сюжетов, поскольку случайные встречи с женщинами напоминают ему авантурный любовный роман с чередой измен, любовных треугольников, над которыми он иронизирует: «Треугольник в наши дни так же естествен, как водка, бутылка на троих» (35), оправдывая куртуазный сюжет негласными правилами общажной жизни: «<...> если накрыл жену с кем-то, она сразу вам обоим бутылку на стол. Чтоб разговаривали и разбирались за водкой. Чтоб не сразу до крови» (139). В первой части романа выстраивается ряд встреч с замужними женщинами-хозяйками: Татьяной Савельевной, Агапкиной, Жигалиной, – сводимыми к взаимовыгодным отношениям (покраска гаража, просматривание за оставленными хозяйками «кв. метрами»).

Выявляется не власть либидо, не интерес писателя, а глубоко скрытая «озабоченность» существованием Другого. В Другом не ищется аналогия собственной заброшенности, одиноче-

ства, напротив, в Петровиче живет вина перед Другим, что доказывает справедливость хайдеггеровского положения «присутствие человека как таковое виновно» [Хайдеггер 2013: 285]: «я вглядывался в лица припозднившихся женщин, лица среди них с лицами, так сказать, пожелостней, понесчастней. Подтрунивал над собой, но искал» (131). В. Маканин не связывает это чувство с конкретной виной перед женщиной, скорее ему присуще понимание эфемерности чувств, их неподлинности, текучести, хотя каждый человек наделен потребностью в Другом; каждый находится не столько в поиске идеала в альтернативном существе, женщине или мужчине, сколько под влиянием потребности в Другом, на опыте убедившись в невозможности соединения с Другим.

Символичен бытовой эпизод, который превращается в притчу о невозможности соединения мужчины и женщины, – случайная (как всегда у В. Маканина) встреча Петровича в купе поезда с незнакомой замужней женщиной. Тайное интуитивное и целомудренное влечение реализуется в жесте – контакте рук, но профанная причина («маленькая многоногая среднеазиатская тварь» (101) на руке) разрушает феномен чувственного соединения. Важно семантическое выделение этого эпизода автором: брат Веня, лишенный физиологических и прагматических связей с женой и женщинами, просит Петровича рассказывать этот эпизод как подтверждение наличия некоей нефизической, эротической связи между мужчиной и женщиной.

Зрелый Петрович ситуацию поиска мужчиной женщины переводит в другое «семантическое поле» притчи «о блуждающем мужчине». В ней утверждается невозможность встречи не с идеалом, а с необходимой частью (половиной) бытия человека. Мужчина не столько ищет, сколько блуждает в желании женщины: «чижик-пыжик» (20); женщина, «вживаясь в пространство», ждет. Петрович в притче констатирует непредсказуемость, неизбирательность и безрезультатность встречи «он и она»: «Мужчина сам по себе и тем сильнее сам понимает, что он-то никак не меняется в продолжающемся волчьем поиске» (20). Безлюбовность принимается им как подлинность жизни, тогда как повторяющиеся, следующие одно за другим отношения с женщинами, параллельные истории его жизни в «мужской» реальности свидетельствуют о природно-духовной интенции к Другому вопреки жизненному опыту.

Поэтому в череде банальных общажных связей, а особенно в сюжетно развитых «историях»

общения Петровича с женщинами, очевиден скрытый мотив тяги к женщине, именно к слабой и униженной женщине. В этом проявляется архетипическая сущность мужчины, не только завоевателя, но и защитника женщины. Однако герой В. Маканина следует литературному коду: поиск слабой женщины направлен на восстановление ее места в жизни, на ее спасение. Помощь Другому оправдывает собственное существование героя, его статус «сторожа». Трудно говорить о любви как о духовном влечении, но нельзя сводить такие истории к физиологии, природное чувство имеет телеологическое основание в сознании Петровича.

Аналог любовного сюжета – история отношений Петровича и поэтессы Веронички (глава «Новь. Первый призы»). В ней дискредитируется и сентименталистский сюжет влечения к женщине, и сюжет спасения погружаемой в порок женщины (сюжеты Ф. М. Достоевского). Изменяется убежденность Петровича в миссии спасения «опустившейся (к тому же обиженной, жалкой) женщины» от «среднеазиатских людей», пытавшихся совершить насилие; помощь в лечении воспалившихся ушей и разбитых коленок («записывал и перезаписывал ее к врачу» (37)).

Далекая от реальности поэтесса в андеграундном прошлом творила «изящные верлибры, схожие стилистикой и формой с японскими пяти- и трехстишиями. Обрусевшие танки, говорила она с улыбкой...» (45), фиксируя моменты текущей красоты жизни («На лужах <...> пузыри – / Веселые дети дождя» (38); «Но выражен звук, / Но падают капли» (42)). В событиях настоящего случайна встреча Петровича с Вероничкой (увидел ее телевизионное обращение) дает толчок воспоминаниям о непродолжительном романе, не волнению, а рассуждениям о «трех китах» любви; о социальных метаморфозах, превращающих «пьянчужку» и поэтессу с «заквасом на политике» (32) в «маленького звонкоголосого политика с челкой на брови» (31). Схема сюжета отношений устойчиво трехчастна: 1) случайное знакомство, в котором Петрович спасает женщину; 2) «любовь в суровой общажной комнате», наполненная литературными разговорами; 3) немотивированное расставание, преобразованное стараниями Веронички в празднество с «вином», «звездиками», «праздничным столом»: «...Оттолкнуться от дна и начать всплывать! <...> (Петрович – как глиняное дно или песчаное?)» (39). Петрович снова убеждается в текучести чувств, изменяемых потоком жизни. Он не страдает, потому что именно в краткости чувств за-

ключается подлинность. Чувства переадресуются новому предмету в потоке жизни, который неизбежно даст новые встречи.

В сюжете настоящего, когда Вероничка используется в интересах нового социума, Петрович в отношениях с ней продолжает миссию ее спасения, и она периодически возвращается к нему за сочувствием и поучением, чтобы снова оказаться в жизни, которую она яростно защищает. Сюжет бессобытиен, т. е. не меняет положения персонажей, лишен финала, становясь серией «отдушин» для Веронички.

История отношений Петровича и Леси Дмитриевны Воиновой (глава «Я встретил вас...»), вписываясь в сюжет спасения, не может трактоваться как любовный, поскольку встреча реализует сюжет парадоксального отмщения добром прошлой гонительнице.

В советском прошлом Леся Дмитриевна была причиной изгнания Петровича из НИИ, поскольку ее идеологические убеждения не позволили ей быть терпимой к порочащему образ советского ученого «графоманству» Петровича, его текстам, очерняющим образ советского человека. Обвинительная речь молодой коллеги обрекла Петровича на публичное изгнание, «*существование в андеграунде*», которое принимается персонажем не как наказание, а как благо, лучшее, что с ним случилось: «*Жить в андеграунде, остаться в андеграунде в самом конце века – неплохо, а?!*» (321). Поэтому редуцирован мотив мести, но встреча с гонительницей проверяет этику Петровича в бытовых и приземленных телесных формах.

Встреча Петровича и Леси Дмитриевны случайна, на демонстрации он узнает бывшую коллегу из НИИ. Леся Дмитриевна не узнает Петровича и обращается к нему как к чуткому, способному выслушать ее говорение «*о своих бедах*» человеку. Свой внезапный insult Леся Дмитриевна объясняет с христианской позиции, как наказание грешницы. Следуя евангельскому сюжету кающейся грешницы, свои жалобы она обращает не к Петровичу, а к небу: «*вступила в отчаянный торг с небесами*», по ироническому комментарию Петровича. Петрович выбран как объект покаяния, удачная кандидатура: «*неудачник, самолюбивый графоман, одетый в жуткие брюки, с разбитыми ботинками на ногах*», поскольку покаяние слабому «*войдет в более прочерченное культурное русло*» (213).

Покаянные действия начинаются с приготовления вкусной пищи Петровичу: «*она готовила борщ, иногда жаркое*» (206); с женского рукоделия: «*брала иголку с ниткой: штопала мое дырье*» (206); с физической близости, самой уни-

зительной формы покаяния, поскольку Лесю Дмитриевну унижала постель с этим «*грязным общажником*», что проявлялось в физическом отторжении: «*...как обычно ее рвало, характерные горловые звуки своеобразного покаяния – замаливания*» (219), с бесшумных криков, повторяющегося ночного плача. Петрович, понимая, что он всего лишь «*ничтожный тарикашка*» для женщины, тем не менее принимает ее игровое покаяние, ухаживает за больной, находит сиделку. Петрович нарушает свой принцип «удара», поскольку следует собственной этической позиции – не причинить вреда другому, более слабому человеку.

Выздоровление Леси Дмитриевны приводит к возвращению ее положения «*крупной и породистой*» женщины в обществе. В новой ситуации потребность в покаянии у женщины отпадает и Петрович становится не нужен. Однако Петрович не принимает расставание как неблагодарность, следуя Экклесиасту: «*время наносить раны и время жалеть*» (363).

Писатель Петрович, проверяя классические сюжеты в отношениях с женщинами, пытается повторить их в собственной жизни, но не использует их для творчества, не пишет о любви. Вероничке Петрович высказывает свою позицию «*не писания о любви*»: «*Что касается любви, продолжал я Веронике, мне (извини) хочется любить заплаканных женщин. Но не писать, же о них! Писать о любви – это всегда писать плохо. Скоропортящееся чувство*» (34). Петрович противопоставляет классической прозе, много места отдававшей любовным коллизиям, прозу А. Платонова, в которой нет «*упоминания о любви*», потому что проза Платонова подлинна. Дело не в отношении к способу описания любви, а в философской позиции Петровича, для которого «*любви*» не существует в истощенной реальности, остается физиология и одинокая бедность чувств («*вещество существования*», по А. Платонову), побуждающая помогать друг другу, согревать себя хотя бы телесно, как, например, в романе «Чевенгур» (1928), в котором Платоновым отношения мужчины и женщины изображены как асексуальные [Митина 2008: 85].

Во второй фазе романного сюжета главной ситуацией становится убийство. Повторяющееся преступление рождает потребность в выговаривании, оправдании собственной философии «удара» сюжетами русской литературы «*мне бы выйти из моего сюжета*». Убийства делают Петровича изгнанником: «*Но общая на этажах встревоженность и страх, спешка меня изгнать – это был все-таки инстинкт... Это был*

пробудившийся инстинкт на чужого – защитный по сути инстинкт, перешедший (превентивно) в агрессию: в упреждающее желание от меня избавиться» (265) (часть третья, глава «Изгнание»).

В этой фазе важно обращение Петровича к женщине с ее природной готовностью к состраданию, сопереживанию, важна не интенция к спасению женщины, а потребность в спасении женщиной. Услышанное в пространстве ночлежного «дна» звучание флейты вызывает желание выговориться, раскаться и в убийствах, и в идее «удара», которую он исповедовал. Мужчине снова нужна хрупкая женщина, носительница не телесной витальности, но душевной тонкости. Отношение Петровича к Натe – не любовь, а интеллектуальная и все же – прагматическая потребность очиститься: «я (с осознанно нацеленной мыслью вырваться из сюжета) уже предчувствовал женщину: уже поворачивался к ней» (276).

История флейтистки Наты соотносима с сюжетом Раскольников и Сони Мармеладовой. Судьба Сони для Раскольникова – доказательство права на насилие над насильниками. В. Кожин [Кожин 1971] интерпретирует исповедь Раскольникова Соне как обращение к равному, к «переступившему» и поэтому способному к пониманию. Соня же отвергает «решения» Раскольникова, предлагая путь покаяния. Ната не преступает ради Других, но живет жизнью греха (без любви), скрываясь в мире звуков. Поэтому она не становится оппонентом Петровича, более того, ее положение униженной лишь подтверждает право на сопротивление «ударом». Однако пассивность Наты, как и ее музыка, «способствуют желанию раскрыться» (281), хотя Петровичу «...совестно на детский ее ум навалить свою беду» (там же). Отсутствие исповедника приводит к нервному срыву и признанию в преступлении против воли самого Петровича, в истерическом крике: «...к ночи я завыл. Этот приступ был стремителен, беспричинен. Я кричал и кричал» (284); «бессвязные фразы» о «погибающем человечестве», о невозможности «жизни вне Слова», о «ноже», о том, что «не хочет убивать» – это покаяние не перед Богом и не перед женщиной – только перед собой.

Развернутая в этой фазе сюжета парная истории с Натой – история задуманной и выстроенной Петровичем ради спасения от подавления сознания связи с медсестрой в психбольнице. Нацеленное разыгрывание Петровичем страсти к женщине показывает вновь вариант спасения в телесности, дающей забвение и оправдание ду-

ховному кризису. В психбольнице сопротивляться от принудительного лечения, вызывающего ослабление личной воли и подчинение воле врачей, Петровичу помогает возвращение к мужской природе, эротическое влечение разыгрывается как альтернатива лекарствам, возвращающая инстинкты. В. Маканин не сводит отношения к физиологии, показывая возвращение к природной силе, витальности.

В романе доминирует профанное понимание героем женщины и «любви». Петрович одинаково воспринимает и семейный уклад, и адюльтер как быт, однообразные и утомительные отношения: «Жены, как водятся, тускнеют, бытовеют и разочаровывают. Любовницы лгут. Старухи напоминают костлявую» (20). Потребность в Другом притупляется, перерастает в физиологическую и материальную зависимость: пища, одежда, «кв. метрах».

Но и нерегламентированные случайные отношения также приземлены и монотонны. В финальной фазе сюжета Петрович обращается к женщине как витальной силе уже не для себя, а для брата Вени, видя в женщине природную силу, способную пробудить сознание брата, подавленное психотропными препаратами. Однако не происходит преобразования не только духовного, но и телесного: брат, «забитый, униженный, затолканный, в говне» (478), возвращается в лечебницу-тюрьму.

В романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» ситуация поиска женщины мужчиной многократно повторяется как в истории персонажа-нарратора, так и в историях второстепенных персонажей: писатель Вик Викич блуждает от одной женщины к другой; художник Василек Пятов ищет отошальные женские тела для натуры, чтобы запечатлеть мученический женский облик.

Поиску женщины Петровичем и людьми искусства как будто противопоставлена позиция жителей общаги, удовлетворенных телесной близостью. Однако отношения мужчин и женщин в общежитии сопровождаются супружеской неверностью, в которой тоже проявляется поиск женщины мужчиной и наоборот. Курнеев постоянно ищет в коридорах общаги свою неверную жену не для наказания, не из-за желания обличить ее, а из-за страха потерять ее.

В романе отсутствует как возвышенная любовь, так и власть чувственного эроса, свидетельствующая об инстинкте слияния с бытием. Зависимость мужчины от телесности жизни приводит к редукции духовной основы любви, но мотив поиска женщины восполняет экзистенциальную трактовку блужданий человека в поисках

Другого: ответ на «зов бытия» (готовность к любви-состраданию) и потребность быть услышанным (потребность в понимании) для оправдания своего существования.

### Примечание

<sup>1</sup> Здесь и далее по тексту роман В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» цитируется по изданию: Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Вагриус, 2003. 478 с. Цитируемые в статье страницы указываются в круглых скобках.

### Список литературы

Амусин М. Не-юбилейное // Звезда. 2007. № 3. С. 192–204.

Ахматова А. «Каменный гость» Пушкина // Ахматова А. Сочинения: в 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 111–126.

Бабанов И. Апология Дон Жуана // Звезда. 1996. № 10. С. 162–178.

Бахтин М. М. Эпос и роман. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике. СПб., 2000. 304 с.

Бедненко Г. Греческие богини: Архетипы женственности. М.: Класс, 2005. 284 с.

Бондаренко В. «Московская школа», или Эпоха безвременья. М.: Столица, 1990. 272 с.

Гуковский Г. Пушкин и русские романтики. М.: Худож. лит., 1965. 355 с.

Ефимова Н. Жанр романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Вестник Московского университета. Сер. 9. 2012. № 6. С. 179–186.

Климова Т. Притча в системе художественного мышления В. Маканина. Иркутск: ГОУ ВПО «ВСГАО», 2010. 252 с.

Кожин В. «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского // Три шедевра русской классики / под ред. С. Краснова. М.: Худож. лит., 1971. С. 107–187.

Латынина А. Форма парадоксального // Литературное обозрение. 1983. № 10. С. 32–36.

Латынина А. Аутсайдеры: спор вокруг «лишних людей» современности // Октябрь. 1987. № 7. С. 178–184.

Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970. 285 с.

Маканин В. Андеграунд, или Герой нашего времени. М.: Вагриус, 2003. 478 с.

Маканин В. Рассказы. М.: Правда, 1990. 446 с.

Мелетинский Е. М. От мифа к литературе. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. 168 с.

Митина Н. Экология женщины в философской концепции А. Платонова // Вестник Тихо-

океанского государственного экономического университета. 2008. № 3. С. 76–88.

Михуленко С. Эволюция образа Дон Жуана в русской литературе XIX–XX веков: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2001. 21 с.

Онорин В. Особенности интерпретации образов Дон Жуана и Казановы в литературе рубежа XIX–XX веков // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2010. Вып. 6. С. 139–142.

Протопопова Е. Античный любовный роман. М.: Лабиринт, 2001. 470 с.

Рыбальченко Т. Л. Судьба литературы в саморефлексии прозы конца XX века (Романы М. Харитоновна, Ю. Буйды, В. Маканина) // Постмодернизм pro et contra: материалы Междунар. науч. конф. «Постмодернизм и судьбы художественной словесности на рубеже тысячелетий» Тюмень: ТГУ-Вектор Бук, 2002. С. 94–103.

Семькина Р. Локусы подполья в романе В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» // Знание. Умение. Понимание. 2008. № 4. С. 87–92.

Семькина Р. В матрице подполья: Ф. Достоевский, Вен. Ерофеев, В. Маканин. М.: Флинта, 2008. 195 с.

Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типологии жанра. М.: РГГУ, 1997. 203 с.

Фрейденберг О. М. Связь брака с едой, борьбой и с шествием // Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра М.: Лабиринт, 1997. С. 73–75.

Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности. Харьков: Фолио, 1999. 379 с.

Фрейд З. Семейный роман невротиков. СПб.: Азбука, 2012. 224 с.

Хайдеггер М. бытие и время. М.: Академ. проект, 2013. 460 с.

Чернышевский Н. Русский человек на rendez-vous: размышления по прочтении повести Тургенева «Ася» // Чернышевский Н. Собрание соч.: в 5 т. Т. 3: Литературная критика. М.: Правда, 1974. С. 133–156.

Шилина К. Поэтика романа В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего времени» (Проблема героя): автореф. дис. ... канд. филол. наук. Тюмень, 2005. 23 с.

Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994. 144 с.

Эстес К. Бегущая с волками. М.: София, 2000. 279 с.

### References

Amusin M. Ne-yubileynoe [Non-anniversary]. *Zvezda* [Star], 2007, issue 3, pp. 192–204. (In Russ.)

Akhmatova A. «Kamennyi gost'» Pushkina [*The Stone Guest* by Pushkin]. Akhmatova A. *Sochine-niya v 2kh tomakh* [Akhmatova A. Works in 2 vols.]. Moscow, 1990, vol. 2, pp. 111–126. (In Russ.)

Babanov I. Apologiya Don Zhuana [The Apology of Don Juan]. *Zvezda* [Star], 1996, issue 10, pp. 162–178. (In Russ.)

Bakhtin M. M. *Epos i roman. Formy vremeni i khronotopa v romane. Ocherki po istoricheskoy poetike* [The epic and the novel. Forms of time and chronotope in a novel. Essays on historical poetics]. St. Petersburg, 2000. 304 p. (In Russ.)

Bednenko G. *Grecheskie bogini: arkhetypy zhenstvennosti* [Greek goddesses: feminine archetypes]. Moscow, Klass Publ., 2005. 284 p. (In Russ.)

Bondarenko V. «Moskovskaya shkola», ili *Epo-kha bezvremen'ya* [“Moscow school”, or the era of stagnation]. Moscow, Stolitsa Publ., 1990. 272 p. (In Russ.)

Gukovskiy G. *Pushkin i russkie romantiki* [Pushkin and Russian romantics]. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura, 1965. 355 p. (In Russ.)

Efimova N. Zhanr romana V. Mаланина «Андеграунд, или герой нашего времени» [The Genre of V. Mаланin's Novel *Underground, or Hero of Our Time*]. *Vestnik Moskovskogo universiteta* [MSU Vestnik. Series 9. Philology], 2012, issue 6, pp. 179–186. (In Russ.)

Klimova T. *Pritcha v sisteme khudozhestvennogo myshleniya V. Mаланина* [The parable in the system of V. Mаланin's artistic thinking]. Irkutsk, 2010. 252 p. (In Russ.)

Kozhinov V. «Prestuplenie i nakazanie» F. M. Dostoevskogo [*Crime and Punishment* by F. M. Dostoevsky]. *Tri shedevra russkoy klassiki* [Three masterpieces of Russian classics]. Ed. by S. Krasnov. Moscow, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1971, pp. 107–187. (In Russ.)

Latynina A. Forma paradoksal'nogo [Paradoxical Form]. *Literaturnoe obozrenie* [Literary Review], 1983, issue 10, pp. 32–36. (In Russ.)

Latynina A. Outsaidery: spor vokrug «lishnikh lyudey» sovremennosti [Outsiders: the controversy over the «superfluous men» of modern times]. *Oktyabr'* [October], 1987, issue 7, pp. 178–184. (In Russ.)

Lotman Yu. M. *Struktura khudozhestvennogo teksta* [Fiction Text Structure]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1970. 285 p. (In Russ.)

Mаланin V. *Андеграунд, или Герой нашего времени* [The *Underground, or the Hero of Our Time*]. Moscow, Vagrius Publ., 2003. 478 p. (In Russ.)

Mаланin V. *Rasskazy* [Stories]. Moscow, Pravda Publ., 1990. 446 p. (In Russ.)

Meletinskiy E. M. *Ot mifa k literature* [From myth to literature]. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 2001. 168 p. (In Russ.)

Mitina N. Ekologiya zhenshchiny v filosofskoy kontseptsii A. Platonova [The ecology of women in the philosophical concept of A. Platonov]. *Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta* [Herald of the Pacific State University of Economics], 2008, issue 3, pp. 76–88. (In Russ.)

Mikhienko S. *Evolyutsiya obraza Don Zhuana v russkoy literature 19 – 20 vekov*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [The evolution of Don Juan's image in the Russian literature of the 19<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> centuries. Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Pyatigorsk, 2001. 21 p. (In Russ.)

Onorin V. Osobennosti interpretatsii obrazov Don Zhuana i Kazanovy v literature rubezha 19–20 vekov [Peculiarities of Interpretation of Don Juan's and Casanova's Images in the Literature at the Turn of the 19<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> Centuries]. *Vestnik Permskogo universiteta* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2010, issue 6, pp. 139–142. (In Russ.)

Protopopova E. *Antichnyy lyubovnyy roman* [An ancient love story]. Moscow, Labirint Press, 2001. 470 p. (In Russ.)

Rybal'chenko T. L. Sud'ba literatury v samorefleksii prozy kontsa 20 veka (Romany M. Kharitonova, Yu. Buydy, V. Mаланina) [The fate of literature in the self-reflection of prose of the late 20<sup>th</sup> century (Novels by M. Kharitonov, Yu. Buida, V. Mаланin)]. *Postmodernizm pro et contra: Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Postmodernizm i sud'by khudozhestvennoy slovesnosti na rubezhe tysyacheletiy»* [Postmodernism pro et contra: Proceedings of the international scientific conference “Postmodernism and the fate of fiction literature at the turn of the Millennium”]. Tyumen, TGU-VektorBuk Publ., 2002, pp. 94–103. (In Russ.)

Semykina R. Lokusy podpol'ya v romane V. Mаланina «Андеграунд, или герой нашего времени» [Loci of the Underground in V. Mаланin's Novel *The Underground or a Hero of Our Time*]. *Znanie. Ponimanie. Umenie* [Knowledge. Understanding. Skill], 2008, issue 4, pp. 87–92. (In Russ.)

Semykina R. *V matritse podpol'ya: F. Dostoevskiy, Ven. Erofeev, V. Mаланin* [In the matrix of the underground: F. Dostoyevsky, Ven. Erofeev, V. Mаланin]. Moscow, Flinta Publ., 2008. 195 p. (In Russ.)

Tamarchenko N. D. *Russkiy klassicheskiy roman 20 veka: Problemy poetiki i tipologii zhanra* [Russian classic novel of the 20th century: problems of poetics and typology of the genre]. Moscow, Russian State University for the Humanities Press, 1997. 203 p. (In Russ.)

Freydenberg O. M. Svyaz' braka s edoy, bor'boy y shestviem [The connection of marriage with food, fighting and marching]. *Poetika syuzheta i zhanra* [The poetics of plot and genre]. Moscow, Labirint Publ., 1997. 448 p. (In Russ.)

Freud Z. *Ocherki po psikhologii seksual'nosti* [Essays on the psychology of sexuality]. Kharkiv, Folio Publ., 1999. 379 p. (In Russ.)

Freud Z. *Semeynyy roman nevrotikov* [The neurotic's family romance]. St. Petersburg, Azbuka Publ., 2012. 224 p. (In Russ.)

Heidegger M. *Bytie i vremya* [Being and Time]. Moscow, Akademicheskii Proekt Publ., 2013. 460 p. (In Russ.)

Chernyshevskiy N. Russkiy chelovek na rendezvous: razmyshleniya po prochtenii povesti Turgeneva «Asya» [A Russian person at the rendezvous: reflection

after reading Turgenev's novella *Asya*]. *Sobraniya sochineniy v 5 t.* [A collection of works in 5 vols.]. Moscow, Pravda Publ., 1974, vol. 3. Literaturnaya kritika [Literary criticism], pp. 133–156. (In Russ.)

Shilina K. *Poetika romana V. Makanina «Ande-graund, ili geroy nashego vremeni» (Problema geroya)*. Avtoreferat diss. kand. filol. nauk [The Poetics of V. Makanin's novel *The Underground or Hero of Our Time* (The Problem of the Hero). Abstract of Cand. philol. sci. diss.]. Tyumen, 2005, 23 p. (In Russ.)

Eliade M. *Svyashchennoe i mirskoe* [The sacred and the secular]. Moscow, Moscow State University Press, 1994. 144 p. (In Russ.)

Estes K. *Begushchaya s volkami* [Women Who Run with the Wolves]. Moscow, Sofiya Publ., 2000. 279 p. (In Russ.)

## THE MOTIF OF SEEKING A WOMAN IN V. MAKANIN'S NOVEL *UNDERGROUND, OR HERO OF OUR TIME*

**Alina V. Malkova**

Postgraduate Student in the Department of History of Russian Literature of the 20<sup>th</sup> Century

National Research Tomsk State University

34a, Lenina prospekt, Tomsk, 634050, Russian Federation. malkova-alina@list.ru

SPIN-code: 3380-7072

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-5116-7535>

ResearcherID: V-1112-2017

Submitted 21.12.2017

In V. Makanin's novel *Underground, or Hero of Our Time* (1998), the motif of seeking a woman determines the repetition of situations with encounters and stories of the central character's relationship with women, as well as a system of plotlines and characters connected with seeking women. Love stories of the novel are based on the principle of repetition, twoness. There are three phases in the development of the central character's love story. The first phase portrays the character in everyday life, where the search for weak, defenseless women means following the "call of being" (M. Heidegger), and is implemented in the story of salvation of women, where "care" about the other is a means used by characters to justify their own existence. In the second phase, crime (two murders) gives rise to the need for a woman having a natural ability for compassion, empathy (the story of salvation of men by women). In the final phase of the novel, the main character is absorbed with the everyday existence, physicality, and physiological needs of men in women are shown as prevailing. Based on ethical requirements of classic Russian literature, the protagonist of the novel brings his own changes: not love, but regret, care about the Other, not sacrificing, because sacrifice and help will not save. In contrast to the traditional interpretation of love as manifestation / non-manifestation of a person's individuality or animality, in the novel V. Makanin puts emphasis on the main character's (Petrovich) desire to build the "story" of the relationship as an experiment on reality and as a way of interpreting it. Thus, the article reveals the transformation of the semantics of the archaic motif of seeking women by a man, which shows changes in the concept of love in the consciousness of the modern hero. The anthropological interpretation of encounters with women reveals the dependence of men on physicality / vitality of life, however, the reduction of the spiritual basis of love is compensated in the novel with the existential interpretation of a person's wandering in search for the Other, as a response to the "call of being" needs to be heard.

**Key words:** V. Makanin; *Underground, or Hero of Our Time*; modern Russian literature; motif; love story; variability.

УДК 821.111 – 82.992

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-102-110

## УРАЛ РОМАНТИЧЕСКИЙ И ГОТИЧЕСКИЙ В ТРАВЕЛОГЕ Т. У. АТКИНСОНА

**Валерий Владимирович Мароши****д. филол. н., профессор кафедры русской литературы,****теории литературы и методики обучения литературе****Новосибирский государственный педагогический университет**

630126, Россия, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, 28. maroshi@mail.ru

SPIN-код: 3383-4544

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0024-9490>

ResearcherID: A-5357-2017

Статья поступила в редакцию 21.03.2018

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Мароши В. В.* Урал романтический и готический в травелоге Т. У. Аткинсона // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 102–110. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-102-110**Please cite this article in English as:**Maroshi V. V. Ural romanticheskii i goticheskii v traveloge T. U. Atkinsona [Romantic and Gothic Urals in T. W. Atkinson's Travelogue]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 102–110. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-102-110 (In Russ.)

Цель этого исследования – показать, как выстраивается образ Урала в травелоге Т. У. Аткинсона (1799–1861) «Восточная и Западная Сибирь: рассказ о семи годах исследований и приключений в Сибири, Монголии, Киргизских степях, Китайской Татарии и части Средней Азии» (1858). Какими бы ни были реальные задачи этого путешествия, сама книга представляет собой прежде всего произведение литературы. Аткинсон, художник и архитектор, был одним из адептов европейского «готического возрождения» XIX в., культивирующего неоготическую и романтическую чувствительность в живописи, архитектуре и литературе. Первые главы книги посвящены Уралу, его заводам и пейзажам. Посещая очередной завод, Аткинсон описывает не только его технологии, но и окружающие горы с живописными пейзажами, которые становятся объектами его набросков. Наибольший интерес у него вызывает живописное, т. е. все разнообразное и нерегулярное в природе, – романтическое, дикое, бесконечное, изломанное, неровное, бурное. Поэтому он предпочитает описывать высокие скалы, обрывистые берега, глубокие ущелья, непроходимые леса, метели и грозы. На Урале Аткинсон прежде всего восхищен разнообразием камней и минералов. Он также проявляет готическую эстетическую чувствительность ко всему возвышенному, великому и величественному, страшному, потрясающему, к «геологическим» руинам и пещерам. Его привлекает «перпендикулярность» самых высоких скал Урала и берегов реки Чусовой, и он прибегает, в частности, к использованию метафор готического архитектурного стиля: скалы, похожие на вздымающиеся ввысь башни, башенки, аркбутаны.

**Ключевые слова:** Урал; нарратив; пейзаж; живописный; романтизм; готический.

Thomas Witlam Atkinson (1799–1861) – английский архитектор и художник. Наиболее подробное на сегодняшний день исследование его биографии и обстоятельств путешествия принадлежит его потомку, журналисту Нику Филдингу [Fielding 2015], однако его книга и публикуемые им фрагменты блога, посвященные Аткинсону, проясняют лишь некоторые из

спорных вопросов, которые вызывает деятельность этого по-английски эксцентричного и практичного человека.

В 1840-х – начале 1850-х гг., заручившись поддержкой влиятельных лиц в Российской империи, он путешествовал по Уралу, Западной и Восточной Сибири, востоку нынешнего Казахстана, а также по территории современной Мон-

голии. В 1858 г. была издана первая часть его травелога по России «East and West Siberia: The Narrative of Seven-Year Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia», которую мы будем анализировать с точки зрения романтизированного изображения в ней локального текста горного Урала. В 2009 г. в России вышло факсимильное издание этой книги [Аткинсон 2009], достаточно вольный перевод фрагментов книги был сделан еще в XIX в. [Этцель, Вагнер 1865]. Мы будем ссылаться на оригинальный текст, поскольку именно в нем приобретают очевидную наглядность важнейшие для английского предромантизма и романтизма концепты.

Одной из целей в итоге необычно долгого пребывания Аткинсона в чужой стране скорее всего была разведка ситуации на дальних подступах к британским владениям в преддверии начинавшейся гибридной войны («Great Game», 1840-е – конец XIX в.) между Великобританией и Россией, а также выяснение промышленных возможностей потенциального врага перед Крымской войной (1853–1856 гг.). Посещение уральских заводов имело здесь особое значение. Однако это вовсе не исключало и других, скорее, даже более значимых для него задач, которые были типичны для европейского путешественника в то время. Они-то и послужили основой нарратива большей части его путешествия.

Итогом странствий Аткинсона стало визуальное (около 560 рисунков с натуры) и словесное открытие малоизвестных и экзотических для британского читателя частей России и Китая, обнаружение «живописных» локусов романтически настроенным эстетом-туристом; увлечение альпинизмом и разнообразные, часто опасные приключения английского «спортсмена» («sportsman»), как сам Аткинсон предпочитал называть свой интерес к охоте.

Во время путешествия он вел дневник, но в опубликованном позже травелоге не будет привязки к точной хронологии, а фиксируются лишь локализация пространства, сезонное и суточное время. Травелог Аткинсона востребован как вполне достоверный краеведческий источник (см., например: [Ведерников 2011; Коллинз 2001]). Остается только посетовать на то, что «уральская часть» путешествия, наиболее насыщенная индустриальной и геологической фактографией, не привлекла внимание отечественных исследователей и краеведов.

Описанию уральского региона Аткинсон посвятил первые 9 глав книги, в большей части которых (главы 2, 5, 6, 7) рассказывается о добыче и выплавке железа и золота, драгоценных камнях и других естественных богатствах Урала. Однако

и в этой части травелога есть главы («Эксперсии на Чусовую» (с. 25–46), «Восхождение на Качканар» (с. 46–64), «Приключения среди гор» (с. 141–156), где очерки заводского производства и быта заметно уступают зарисовкам берегов реки Чусовой или странствиям по уральским горам. В остальных главах природа описывается попутно, при посещении очередного завода («Zavod») и во время экскурсии на гору в окрестностях завода.

Обычно после осмотра очередного предприятия, общения с управляющим и инженерами Аткинсон, вместе с группой сопровождающих из местных жителей, совершает восхождение на гору, а порой и на особенно привлекательные своей живописностью скалы, зарисовывает разнообразие виды и заносит их описание в дневник. Разумеется, подобные «горно-заводские» маршруты разнообразятся осмотром и зарисовками городов и их достопримечательностей (Екатеринбург, Тагил, Миасс, Златоуст, Невьянск и др.). Из этой сюжетной схемы, обусловленной самим устройством горнозаводской жизни, выпадает только описание весеннего сплава на барке по реке Чусовой, стержневого пути для изделий уральской промышленности.

Среди 30 цветных литографий и 32 гравюр, помещенных в книгу, абсолютно доминируют зарисовки гор, горных рек и озер или других романтических мест вроде водопада или кратера вулкана. Всего лишь несколько литографий и гравюр представляют собой этнографические изображения «киргизов» и «калмыков». Текст «собственно Уральских» глав травелога проиллюстрирован 13 гравюрами, из которых 5 можно уверенно отнести к горному или романтическому пейзажу: («Entrance to a Cavern», «The Robbers, or Four Brothers», «Curious Rocks on the Tchoussowaia», «Rocky Tomb», «Summit of the Katchkanar»). На большинстве из них повторяются мотивы неровного, устремленного вверх и просшего елями контура скал, луны, могилы, пещеры, сломанного дерева на переднем плане. Нетрудно заметить, что эти мотивы фигурируют в европейских готических романах или в живописи предромантизма / романтизма, от С. Розы до К. Д. Фридриха.

Нет сомнений в том, что в стилистике его эскизов, не вошедших в книгу, доминирование романтических пейзажей было еще более впечатляющим. Основным событием микронарративов всего путешествия Аткинсона является, как правило, поиск наиболее живописного («picturesque») места для очередного наброска, сопровождающийся разнообразными препятствиями. В этом он не был оригинален: туристов из Англии «живописное» в пейзаже стало инте-

ресовать со второй половины XVIII в. (см. об этом: [Andrews 1989]). Большинство описаний ландшафта у Аткинсона, судя по тексту, сопровождаются или завершаются его зарисовыванием, поэтому можно предположить, что работа над этими фрагментами травелога была словесным экфрасисом, когда эскиз из архива художника вместе с дневниковыми записями вызывал в памяти само место и обстоятельства его посещения.

Напомним, что в английской эстетике уже в XVIII в. сформировались концепции «живописного» и «возвышенного» («sublime», «great»), которые уже не соответствовали эстетическим идеалам Просвещения. Они определяют новую эстетику пейзажа, не похожего на идеальный ландшафт неоклассицизма, где доминировать будут разнообразие, мощь и первозданность природы, ее бурный динамизм, чувства ужаса и страха, которые она внушает (см.: [Le Scanff 2007: 23–29; Brooks 1999; Burwick 2015; Nicolson 1997; Twitchell 1983]).

Э. Берк, определяя отличия возвышенного от прекрасного, называл такие его атрибуты, как величина («vast»), неровность («rugged»), небрежность («negligent»), затененность и мрачность («dark and gloomy»): «On closing this general view of beauty, it naturally occurs that we should compare it with the sublime; and in this comparison there appears a remarkable contrast. For **sublime** objects are **vast** in their dimensions, **beautiful** ones comparatively small; beauty should be smooth and polished; the **great, rugged** and **negligent**: ... beauty should not be obscure; the **great** ought to be **dark and gloomy**: beauty should be light and delicate; the great ought to be solid, and even **massive**» [Burke].

Очевидно, что именно горный пейзаж в наибольшей степени соответствовал этой новой эстетике, в буквальном смысле «возвышаясь» к небесам, а также из-за своей мрачности и асимметричности. Горы и море в их хаотическом и пугающем величии стали любимыми объектами искусства, к тому же обновилась и сама технология работы над таким пейзажем: на смену тщательно выстроенной и отделанной в студии картине неоклассицизма пришла практика «sketching» («рисование этюдов, набросков») путешествующим по живописным местам: «The art of sketching is to the **picturesque** traveler» [Gilpin]. Еще во время сбора материалов для своей книги о готических орнаментах (см. ниже) Аткинсон пристрастился к подобным этюдным путешествиям. В предисловии он подчеркивает, что в России подобное зарисовывание не раз происходило буквально на краю пропасти: «I have several times looked upon what appeared inevitable death, and have had a fair allowance of

hair-breadth escapes when riding and **sketching** on the brinks of precipices with a perpendicular depth of 1500 feet below me» [Atkinson 1858: VI]. Многократно воспетая и зарисованная живописность «Derbyshire's Peak District», «Lake District» в Англии или Альп в континентальной Европе уже приелась, художникам хотелось увидеть и репрезентировать в образах иные локусы романтической первозданности («wilderness»). По-настоящему дикая природа уральских и сибирских гор предоставила английскому путешественнику новые возможности для зарисовок и словесных экфрасисов: «From information I had received I did not expect to find much **fine scenery** for the first twenty-five or thirty versts, still there were some parts very pretty; indeed, if this river were in England, **every point of it would be sketched**» [Atkinson 1858: 17]<sup>1</sup>.

Величественное («grand», «grandeur») в уральских пейзажах Аткинсона связано с созерцанием путешественником всего «бесконечного», «мрачного», «дикого» в природе: «There is something truly **grand** in looking over these **black** and apparently **interminable** forests» (61); «Having sat on these **rocks** about half-an-hour, contemplating this **grand** and **gloomy** scene...» (75); «Occasionally a torrent of water pours through this **ravine**, which must add much to its **grandeur**» (30); «...this will be a garden of iris, geraniums, roses, and peonies, amidst scenes of the **wildest grandeur**» (61). Принципиальная невыразимость этого величия и его особый уральский колорит, связанный с ощущениями одиночества и меланхолии на фоне «бесконечных лесов», не раз становится предметом рефлексии автора: «Although there are no **great mountain masses** in this region rising far into snowy space, to strike the beholder with wonder, this country has a **grandeur** peculiarly its own, which is **difficult to describe**. The **interminable forests**... with their rounded hilly sweeps vanishing far into misty distance, until they appear to dissolve into thin air, and the oppressive solitude reigning over these **vast** scenes, create feelings of astonishment and melancholy» (88).

Итак, горный и лесной пейзаж Урала соответствовал новой эстетике, прежде всего, из-за своей массивной величественности и мрачности. Но ей был свойственен еще один важнейший атрибут, гораздо более формализованный визуально, – асимметричность. Остановимся на нем подробнее.

У. Гилпин, один из авторитетных предшественников английских романтиков, в своих эссе об аспектах живописного искусства определяет «ruggedness» (изрезанность, изломанность, зубчатость контура объекта) как важную составную часть живописности («picturesque») наряду с

«roughness» («неровностью», «шероховатостью»): «...roughness forms the most essential point of difference between the beautiful, and the picturesque; as it seems to be that particular quality, which makes objects chiefly pleasing in painting. I use the general term **roughness**; but properly speaking roughness relates only to the surfaces of bodies: when we speak of their **delineation**, we use the word **ruggedness**» [Gilpin].

Как и другие романтически настроенные путешественники, Аткинсон ищет в пейзаже такой живописности, которая, как очевидно из приведенных выше контекстов, характеризуется прежде всего разнообразием («variety») любого ландшафта: для гор это высота, превышающая «средний» уровень, изломанность и асимметрия их визуального силуэта («rugged», «broken»); цветовая палитра и геологическая сложность их структуры, наконец, роскошь покрывающей их растительности. Округлость очертаний в пейзаже всегда воспринимается Аткинсоном как монотонная, в качестве примера ограничимся одним «уральским» контекстом: «...there are no **rugged mountain summits to break** the monotony of the well-rounded hills» (48).

Горы и ущелья Урала в основном отвечают этому критерию изломанности или «зубчатости» контура: «...forced into **rugged and picturesque forms**» (30); «...in these **rugged** defiles» (46); «...there are no **rugged mountain summits to break** the monotony of the well-rounded hills» (48); «...with a **rugged** foreground of rocks (52); «...a most **rugged** scene burst upon my view» (57); «Every hundred paces bringing us upon another wild and rugged scene» (62); «Seene Gora stands out from the Oural in a **rugged** and bold mass» (71); «The lake is bounded on one side by some **very rugged** rocks of greenstone» (83).

Разумеется, этому эстетическому идеалу удачно соответствует и естественный рельеф древних и сильно разрушенных уральских гор: «...entire upper peaks of the Oural must have been much higher at some very remote period. They are now **shattered, broken**, and tumbled about in every direction» (86); «...some places I passed masses of rock most curiously thrown up and **broken**, – affording abundant proof that at some very remote period **volcanic agency** had been at work» (17–18); «...the precipices on either side are limestone **broken** into very beautiful forms» (26); «...the limestone rocks are **broken** and twisted into **every variety of form**, rising in many parts 300 or 400 feet in height» (31); «...where it rises very abruptly in **broken** masses of rock» (41); «...while nearer to us rose some thickly-wooded hills, their **outlines broken** by rocky masses of a **deep purple** colour» (50); «All the mountains near are **blue, purple**, and misty, with

a rugged foreground of rocks of **great height, broken** into all shapes and forms» (53).

Определение «романтического» как синонима «живописного» для художника встречается у Аткинсона только в одном описании уральского пейзажа – это ландшафт отрога Урала в Башкирии с его высокими скалами или, по крайней мере, холмами конической, а не округлой формы; с разнообразием переходов от гор к озерам и равнине: «On one side rises Uitasli, with its **picturesque peaks** (по-видимому, хребет Уйташ в Башкирии. – В. М.); further to the north are the Ehrendick **mountains** (хребет Ирендик. – В. М.), with many **conical hills** rising from the plain; there are also several small lakes giving **great variety** to the scenery. This has made a lasting impression on my mind, particularly by its **romantic mountains** and beautiful plains, covered with rich pastures, in which were growing a **great variety of flowers**, many quite new to me, affording employment for both artist and botanist» (145). Богатство флоры соответствует сложному многообразию всего пейзажа.

Чаще всего Аткинсон в своей изобразительной риторике не столько обращается к характеристике конкретного локального ландшафта, сколько использует «общие места» топоса романтического пейзажа вообще. Так, «живописное» в описании пейзажа всегда сопровождается другими романтическими атрибутами («rugged», «wild», «gloomy», «grand», «infernal», «variety»): «Again I noticed most singular contortions in the strata, – some forced up in curves, others in triangles; and some rose almost **perpendicular**, giving great **variety and picturesque** beauty to these **wild gorges**» (24); «About fifteen versts below Serebrienskoi, the river runs through a deep, narrow, and winding ravine, containing some very **picturesque scenery**, which furnished me with several subjects for my pencil. Both the Tclioussowaia and Serebrianka also afford many highly interesting studies to the geologist, by the numerous sections of strata exposed in these **rugged** defiles» (46); «...the scene has a touch of the **infernal** about it; still it is highly **picturesque and grand**» (110); «A more **wild and gloomy road** I had never entered upon» (27); «...into a most **rugged** ravine, where I made an additional sketch, exceedingly **wild** in its character» (72).

Поэтому принципиальной разницы в изображении им гор Урала, Алтая, Алатау и Саян мы не найдем: они описываются как бы по одному визуальному образцу величественного, хаотизированного и динамичного пространства, которое производит сильнейшее впечатление на созерцающего его художника. Однако по сравнению с уральскими горами «сибирские» в этом цельном романтическом топосе всегда представлены по-

давяющей статистикой ключевых для всего травелога метафор или деталей пейзажа. Так, прилагательные «terrific», «awful», «horrible» у Аткинсона чаще всего характеризуют опасный мир природы, однако их распределение по тексту соответствует чрезмерному избытию бурь, гроз, ураганов и метелей с их эффектами на Алтае. Приведем еще один пример. Так, очевиден интерес Аткинсона ко всему производящему «поразительное» («striking») впечатление, но если в уральском контексте пейзажа мы встречаем всего два упоминания этой характеристики в негативном ключе: («The country across this part of the chain has **no striking** features – there are no rugged mountain summits...») (48); «Although there are no great mountain masses in this region rising far into snowy space, to **strike** the beholder with **wonder**» – 88), то для описаний Алтая количество «поражающего» возрастает в несколько раз.

Описание путешествий Аткинсона по горам пестрит описаниями многочисленных бурь, ураганов, гроз, метелей («storm», «thunder storm», «snowstorm», «gale», «hurricane», «tempest»), которые характеризуются как «furious», «frightful», «terrific», «tremendous» (см. о значении бурь в живописи романтизма: [Hardy 2006]). Для региона Урала эти контексты не столь многочисленны, что может быть отчасти объяснено сравнительно непродолжительным временем, в течение которого происходили его поездки (по Алтаю он ездил гораздо дольше и несколько раз). Кроме того, как уже отмечалось выше, в подобной романтической риторике используется прием риторической градации: все «алтайское» и «сибирское» изображается как самое богатое, крупное, мощное, страшное и т. п. в контрасте с европейской частью России. На Урале путешественник, тем не менее, попадает в бушующую стихию – в вариантах от весенней метели до летней грозы: «A **snow-storm**, that continued for several hours, prevented my sketching may of the scenes I passed, which I much regretted, as they are interesting from being named after some of the celebrated Tartar chiefs, «men terrible in battle» (24); «...a **great snow-storm** approaching from the higher region of the Oural» (25); «...bidding defiance to the **storm**; others were observed which like these had once equally defied the **tempest**, but now showed the marks of lightning in their shattered limbs, which trembled with every blast» (27); «...rushed through the narrow valley, a certain harbinger of a coming **storm**» (29); «...we had a tremendous **snow-storm**, which gave to everything a winter clothing, and rendered my last days voyage on the Tchoussowaia cold and unpleasant» (44); «...rushed through the narrow valley, a certain harbinger of a coming **storm**» (29); «Towards noon we had a **thunder-**

**storm**, which echoed loudly through the forest, accompanied by heavy rain. Some large Siberian cedars afforded us shelter during the **storm**, which continued more than an hour» (56); «This was a truly **sublime** and **awful** scene – the lightning and thunder were incessant, indeed I saw the rocks struck several times. The **storm** undoubtedly revolved round the mountain, no unfit accompaniment to the **dreadful sacrifice** once offered up on its summit» (имеется в виду убийство вождя вогулов, предателя. – В. М.) (70); «Soon the **storm** will be here; it comes on like a race-horse, rushing straight towards us. Hark!» (143) «...on it speeds with great fury, almost tearing up the bushes» (144).

Гроза превращает пейзаж в еще более динамичный и импрессионистичный: «While sketching, I perceived a **sudden change** at the Katchkanar – clouds began to collect around the summit, sweeping downwards till the whole mountain was enveloped in a shroud of inky blackness – presenting here and there on its dark ground, whitish streaks, as if jets of steam had been forced up from below. Part of the lower chain soon became obscured also by clouds, which showed signs of much inward commotion. Meanwhile, the advancing **storm** put on its most threatening look. I could now see the lightning, flash on flash, stream from the clouds to earth, but heard no thunder. After about an hour, the **storm** turned towards the south, and followed the mountain chain, leaving me in calm and sunshine to pursue my occupation. It was not long before the Katchkanar became visible, and the sun was once more sinning upon these riven crags in all his splendor» (53); «The **dark purple and greenish metallic colours** of these fragments were quite in keeping with a **stormy** twilight, and the deep shades of evening creeping over the valley beneath» (72).

Устойчивость интереса Аткинсона к путешествиям именно по горам и его знание основ геологии требуют и некоторых уточнений биографического контекста его творческих стратегий. Он был связан с миром камня с детства: сын каменщика, Аткинсон начинал свою карьеру как резчик по камню. Во многих описаниях горных пейзажей, как уже отмечалось, он разбирает структуру предстающих ему горных пород, определяет тип и оттенки цвета минерала как бы в двойном видении – художника и «специалиста по камню», геолога. Вряд ли случайно то, что по итогам своих публикаций он будет принят в 1859 г. в Королевское геологическое общество.

Исследователи справедливо полагают, что в эпоху английского романтизма в конце XVIII – начале XIX в. можно говорить и о возникновении своего рода синтетической «эстетической геологии» («aesthetic geology» [Heringman 2011: 3]), когда «поэзия» (эстетическое восприятие) и гео-

логия (научная идентификация и классификация) оказываются тесно переплетены. Большинство описаний горного пейзажа Аткинсона представляют собой, как правило, и его геологическую или ботаническую характеристику, встроенную в пейзаж, доминирующая черта которого – разнообразие («**variety**»): «The jaspers are found in a **great variety of colours**; the most beautiful, a deep green, dark purple, dark violet, grey, and cream-colour; also a ribbon jasper with stripes of reddish-brown and green. The porphyries are equally fine and **varied**, – some of most brilliant colours. Orlite is also a splendid stone of a deep pink colour, with veins of yellow and black... <...> I have frequently found and **painted** huge masses of these splendid rocks, **of which I have now seventy-two varieties**» (98); «The **jaspers** are found in a **great variety of colours**; the most beautiful, a **deep green, dark purple, dark violet, grey, and cream-colour**; also a **ribbon jasper** with stripes of **reddish-brown and green**. The **porphyries** are equally fine and varied, – some of most brilliant colours» (112); «These, and the **great variety of flowers** and shrubs in bloom, gave forth a most delicious fragrance; in addition, from the midst of the shrubbery the nightingale warbled forth his delightful song» (115).

Аткинсон отчасти воплотил в книге свой опыт архитектора и идеал зодчества, который был связан с английской неоготикой, Gothic Revival (см.: [Brooks 1999]). В 1829 г. он и его однофамилец Charles Atkinson составили книгу орнаментов готических соборов («Gothic Ornaments Selected from the Different Cathedrals and Churches of England»), представлявшую собой скорее отпечатанный набор зарисовок орнаментов готических соборов. В то время это было одно из первых изданий, способствовавших популяризации английской средневековой готики и формированию интереса к неоготическому стилю архитектуры. Затем в 1830-х гг. он спроектировал несколько зданий с отдельными элементами неоготического стиля и два полноценных неоготических собора – действующую англиканскую церковь St. Nicholas в лондонском районе Lower Tooting, которая построена в 1831 г., и свое главное творение – церковь Св. Луки, St. Luke's Church в Манчестере – с классическими для неоготики контрфорсами, готическими арками, четырьмя башенками, украшенными листовым орнаментом. Официальный реестр зданий Великобритании определяет ее в нынешнем состоянии как «руины церкви, выстроенной из тесаного камня в перпендикулярном готическом стиле» («Perpendicular Gothic style»)<sup>2</sup>.

Нельзя не заметить, что титульный лист и посвящение императору России в первом томе его травелогов выполнены в готическом стиле, что,

впрочем, было типично для многих викторианских изданий вплоть до конца XIX в. Более репрезентативными для его архитектурного вкуса оказываются уже упоминавшиеся нами иллюстрации в виде гравюр, которые представляли наиболее живописные места Уральских гор. На большинстве из них запечатлены высокие горы и скалы, силуэты елей, по контуру напоминающие готические соборы.

Любопытно, что неоготические эстетические предпочтения английских и русских литераторов XIX в., изображающих Урал, оказываются типологически близкими: это можно объяснить как общностью постромантического творческого сознания, так и миметизмом словесного описания уральских гор, который, в свою очередь, у разных авторов обусловлен высокой степенью их разрушения и избытком останцев остроконечной формы (см. о неоготике Урала в русской литературе: [Абашев 2016: 27]).

В словесных экфрасисах Уральских гор Аткинсон использует метафоры скал-башен, башенок или утесов, которые напоминают сторожевые башни: «...to ascend one of the highest **crags**. Selecting one, I put down my rifle and all other things, excepting a small sketch-book, and commenced climbing. I found it exceedingly difficult; but after much labour and some risk, I sat on one of the highest **pinnacles** with my feet dangling over, in which position I began writing a note to a friend» (59); «When there a most **rugged** scene burst upon my view: the **jagged** top of the Katchkanar was **towering** far above into the deep blue vault of heaven...» (57); «...while still higher up some **bold crags** overtopped the forest like **watch-towers**» (73); «Here and there large Siberian cedars were growing, with their rich green tufted branches; in other places stood gigantic pines, **towering** up from a hundred to a hundred and fifty feet» (84); «Mount Sugomac is seen rising high above the lake, forming the last **watch-tower** looking over Siberia» (114).

Закономерно, что природные руины гор Урала напоминают Аткинсону архитектурные развалины с сохранившимися очертаниями и деталями, которые стали распространенным пространственным мотивом европейской живописи как барокко, так и романтизма, а также английской романтической поэзии и готического романа (см.: [McAuley 2007; McFarland 2014]). У Аткинсона эти руины и контрфорсы («**buttresses**») могут сойтись вместе в пределах локального пейзажа Урала: «In other parts, the rocks are **perpendicular**, extending regularly along the water side like a wall; elsewhere in the same vicinity I found them broken in huge masses, like **buttresses** supporting the **ruins** of some former world»; «...some resembling the **ruins** of old castles, their deep

chasms separating other masses of peculiar shape» (34); «Huge **buttresses** jutted from the sides of the cavern, forming deep recesses ; these I examined, but found no openings» (35); «In fact, the summit of the Katchkanar is evidently a mountain **in ruins** ; the softer parts having been removed or torn away by the hand of Time, leaving the harder portion, or vertebra of the mountain, standing like a huge skeleton, which, seen at a distance, often assumed the most fantastic and **picturesque** shapes» (62).

Кроме того, как на гравюрах, так и в словесных пейзажах Аткинсона бросается в глаза регулярность риторических клише автора, семантику которых можно связать со вкусом к сверхвысокому и вертикальному. Как уже было сказано выше, он проектировал соборы в неоготическом «perpendicular style». Нельзя не заметить, что само слово «perpendicular» («вертикальный, отвесный») используется Аткинсоном прежде всего для характеристики алтайских горных пейзажей, в описаниях ландшафтов Урала этот мотив встречается гораздо реже: «...rose almost **perpendicular**, giving great variety and picturesque beauty to these wild gorges» (24); «...as the rocks rose up 100 to 150 feet nearly **perpendicular** on both sides of the river, and the water rushed through the gorge with extraordinary force» (26); «...rocky masses rise from the water to a great height, nearly **perpendicular**, their summits crowned with a fine growth of the pine and birch» (42); «The cliffs rose up nearly **perpendicular** for two hundred and fifty or three hundred feet» (149).

Таким образом, на восприятие Аткинсоном пейзажей Урала мог повлиять контекст не только романтической живописи и литературы, но и неоготической архитектуры, а если иметь в виду все локальные тексты его травелога, то нельзя исключить и воздействие английского Gothic Novel с его специфическими мотивами. Образные средства, использованные им для изображения «живописного» и «дикого» Урала, будут амплифицированы в сибирских горных ландшафтах с существенным усилением как количественно и качественно.

### Примечания

<sup>1</sup> Далее ссылки на номер страницы этого издания будут приводиться в круглых скобках без указания автора и года.

<sup>2</sup> См.: <http://www.britishlistedbuildings.co.uk/101293101-ruins-of-church-of-st-luke-cheetham-ward#WbqZ1D5JbM1>.

### Список литературы

Абашев В. В. Увидеть Урал: ландшафтные описания Вас. И. Немировича-Данченко и Д. Н. Мамина-Сибиряка // Уральский исторический вестник. 2016. № 1(50). С. 25–31.

Аткинсон Т. У. Восточная и Западная Сибирь: Повествование о семи годах исследований и приключений в Сибири, Монголии, степях Киргизии, Китайской Тартарии и части Центральной Азии. Факсимильное издание 1858 г. СПб.: Альфарет, 2009. 656 с.

Ведерников В. В. Повседневная жизнь алтайской горной корпорации в воспоминаниях английских путешественников Дж. Кокрена, Ч. Котрэла и Л. Аткинсона // Известия Алтайского государственного университета. 2011. Вып. 4(72), т. 2. URL: <http://izvestia.asu.ru/2011/4-2/hist/08.ru.html> (дата обращения: 10.09.2017).

Коллинз Д. Англоязычные путешественники на Русском Алтае, 1848–1904 гг. // Краеведческие записки. 2001. Вып. 4. С. 121–141.

Этцель А. фон., Вагнер Г. Путешествие по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии. По описаниям Т. У. Аткинсона, А. Т. Фон-Миддендорфа, Г. Радде и др. СПб.: Изд. М. О. Вольфа, 1865. 518 с.

Andrews M. The Search for the Picturesque: Landscape, Aesthetics and Tourism in Britain, 1760–1800. Stanford: Stanford University Press, 1989. 269 p.

Atkinson T. W. Oriental and western Siberia: a narrative of seven years' explorations and adventures in Siberia, Mongolia the Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia. By Thomas Witlam Atkinson. London: Hurst & Blackett, 1858. 612 p.

Brennan M. Wordsworth, Turner, and Romantic Landscape: A Study of the Traditions of the Picturesque and the Sublime. Columbia (S.C): Camden House, 1987. 165 p.

Brooks C. The Gothic Revival. L.: Phaidon, 1999. 447 p.

Burke E. A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful. URL: <https://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Texts/sublime.html> (дата обращения: 10.09.2017).

Burwick F. Picturesque // Burwick F. Romanticism: Keywords. Chichester, West Sussex, John Wiley & Sons, 2015. P. 221–225.

Fielding N. South to the Great Steppe: The travels of Thomas of Lucy Atkinson in Eastern Kazakhstan, 1847–1852. L.: FIRST Magazine Ltd, 2015. 160 p.

Gilpin W. Three essays: on picturesque beauty; on picturesque travel; and on sketching landscape: to which is added a poem, on landscape painting. URL: <https://quod.lib.umich.edu/e/ecco/004863369.0001.0001/1:4?rgn=div1;view=fulltext> (дата обращения: 10.09.2017).

Hardy G. Tempests: tempests and romantic visionaries: Images of Storms in European and American Art. Oklahoma: Oklahoma City Museum of Art, 2006. 134 p.

Heringman N. *Romantic Rocks, Aesthetic Geology*. Ithaca and L.: Cornell University Press, 2011. 326 p.

Le Scanff Y. *Le paysage romantique et l'expérience du sublime*. P.: Editions Champ Vallon, 2007. 269 p.

McAuley J. *Representations of gothic abbey architecture in the works of four romantic-period authors: Radcliffe, Wordsworth, Scott, Byron*. Durham: PhD University of Durham, Department of English Studies, 2007. 304 p.

McFarland T. *Romanticism and the Forms of Ruin: Wordsworth, Coleridge, the Modalities of Fragmentation*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2014. 468 p.

Nicolson M. *Mountain Gloom and Mountain Glory: The Development of the Aesthetics of the Infinite*. Seattle and L.: University of Washington Press, 1997. 403 p.

Twitchell J. *Romantic Horizons: Aspects of the Sublime in English Poetry and Painting, 1770–1850*. Columbia: University of Missouri Press, 1983. 232 p.

## References

Abashev V. V. *Uvidet' Ural: landschaftnye opisanija Vas. I. Nemirovicha-Danchenko i D. N. Mamina-Sibiriyaka* [See the Ural: landscape descriptions by Vas. I. Nemirovich-Danchenko and D. N. Mamin-Sibiriyak] *Ural'skiy istoricheskiy vestnik* [Ural Historical Journal], 2016, issue 1 (50), pp. 25–31. (In Russ.)

Atkinson T. U. *Vostochnaya i Zapadnaya Sibir': povestvovanie o semi godakh issledovaniy i priklucheniye v Sibiri, Mongolii, stepyakh Kirgizii, Kitayskoy Tartarii i chasti Tsentral'noy Azii* [Oriental and western Siberia: a narrative of seven years' explorations and adventures in Siberia, Mongolia the Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia]. – Facsimile edition of 1858. St. Petersburg, Al'faret Publ., 2009. 656 p. (In Russ.)

Vedernikov V. V. *Povsednevnaya zhizn' altayskoy gornoy korporatsii v vospominaniyakh angliyskikh puteshestvennikov Dzh. Kokrena, Ch. Kotrela i L. Atkinsona* [Pictures of the Casual Life of the Altai Mining Corporation in the Recollections of English Travelers J. Cochrane, Ch. Cottrell, L. Atkinson]. *Izvestiya Altayskogo gosudarstvennogo universiteta* [Izvestiya of Altai State University], issue 4(72), vol. 2, 2011. Available at: <http://izvestia.asu.ru/2011/4-2/hist/08.ru.html> (accessed 10.09.2017). (In Russ.)

Collins D. *Angloyazychnye puteshestvenniki na Russkom Altae, 1848–1904 gg.* [English travellers in the Russian Altai, 1848–1904]. *Kraevedcheskie zapiski* [Regional Studies Journal]. Barnaul, 2001, issue 4, pp. 121–141. (In Russ.)

Etzel A. von., Wagner G. *Po Sibiri i privilegushchim k ney stranam Tsentral'noy Azii. Po opisaniam T. U. Atkinsona, A. T. Fon-Middendorfa, G. Radde i dr.* [The journey across Siberia and adjacent Central Asian countries. From the descriptions of T. W. Atkinson, A. T. Von Middendorf, G. Radde etc.]. St. Petersburg, M. O. Wolff Publ., 1865. 518 p. (In Russ.)

Andrews M. *The Search for the Picturesque: Landscape, Aesthetics and Tourism in Britain, 1760–1800*. Stanford, Stanford University Press, 1989. 269 p. (In Eng.)

Atkinson T. W. *Oriental and western Siberia: a narrative of seven years' explorations and adventures in Siberia, Mongolia the Kirghis steppes, Chinese Tartary, and part of Central Asia*. London, Hurst & Blackett, 1858. 612 p. (In Eng.)

Brennan M. *Wordsworth, Turner, and Romantic Landscape: A Study of the Traditions of the Picturesque and the Sublime*. Columbia S. C., Camden House, 1987. 165 p. (In Eng.)

Brooks C. *The Gothic Revival*. London, Phaidon, 1999. 447 p. (In Eng.)

Burke E. *A Philosophical Inquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful*. Available at: <https://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/Texts/sublime.html> (accessed 10.09.2017). (In Eng.)

Burwick F. *Picturesque*. In: Frederick Burwick. *Romanticism: Keywords*. Chichester, West Sussex, John Wiley & Sons, 2015. 400 p. (In Eng.)

Fielding N. *South to the Great Steppe: The travels of Thomas of Lucy Atkinson in Eastern Kazakhstan, 1847–1852*. London, FIRST Magazine Ltd, 2015. 160 p. (In Eng.)

Gilpin W. *Three essays: on picturesque beauty; on picturesque travel; and on sketching landscape: to which is added a poem, on landscape painting*. Available at: <https://quod.lib.umich.edu/e/ecco/004863369.0001.000/1:4?rgn=div1;view=fulltext> (accessed 10.09.2017). (In Eng.)

Hardy G. *Tempests: tempests and romantic visionaries: Images of Storms in European and American Art*. Oklahoma, Oklahoma City Museum of Art, 2006. 134 p. (In Eng.)

Heringman N. *Romantic Rocks, Aesthetic Geology*. Ithaca and London, Cornell University Press, 2011. 326 p. (In Eng.)

Le Scanff Y. *Le paysage romantique et l'expérience du sublime*. Paris, Editions Champ Vallon, 2007. 269 p. (In French.)

McAuley J. *Representations of gothic abbey architecture in the works of four romantic-period authors: Radcliffe, Wordsworth, Scott, Byron*. PhD University of Durham, Department of English Studies. 2007. 304 p. (In Eng.)

McFarland T. *Romanticism and the Forms of Ruin: Wordsworth, Coleridge, the Modalities of Fragmentation*. Princeton University Press, 2014. 468 p. (In Eng.)

Nicolson M. *Mountain Gloom and Mountain Glory: The Development of the Aesthetics of the In-*

*finite*. Seattle and London, University of Washington Press, 1997. 403 p. (In Eng.)

Twitchell J. *Romantic Horizons: Aspects of the Sublime in English Poetry and Painting, 1770–1850*. Columbia, University of Missouri Press, 1983. 232 p. (In Eng.).

## ROMANTIC AND GOTHIC URALS IN T. W. ATKINSON'S TRAVELOGUE

**Valerij V. Maroshi**

**Professor in the Department of Russian Literature,  
Theory of Literature and Methods of Teaching Literature  
Novosibirsk State Pedagogical University**

28, Vilyuyskaya st., Novosibirsk, 630124, Russian Federation. maroshi@mail.ru

SPIN-code 3383-4544

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0024-9490>

ResearcherID: A-5357-2017

*Submitted 21.03.2018*

The aim of this article is to show how the image of the Urals is created in T. W. Atkinson's (1799–1861) travelogue *Oriental and Western Siberia: a Narrative of Seven Years' Explorations and Adventures in Siberia, Mongolia, the Kirghis Steppes, Chinese Tartary, and Part of Central Asia* (1858). Despite the practical purposes of this journey, the travelogue is first of all a literary work without chronology. An artist and architect, Atkinson was one of the adepts of the European Gothic Revival of the 19<sup>th</sup> century, cultivating Neogothic and Romantic visual and verbal sensibility. First nine chapters of the book are about factories (“zavod”) and scenery of the Urals. Visiting iron, gold, lapidary, armory factories one by one or sailing down the Chusovaya river, Atkinson not only describes the technologies but also examines the neighborhood, especially mountains dominating the terrain, and sketches the most picturesque scenery. He is interested in everything that is considered in English preromanticism and romanticism to be “picturesque”: wild, interminable, striking, broken, rugged etc. The traveler shows Gothic and Romantic taste for the sublime, grand, great, various and irregular in Nature. He prefers to describe high cliffs, steep banks, deep gorges, impenetrable forests, snowstorms and thunderstorms. In the Urals, Atkinson is primarily fascinated by the variety of different kinds of stones, precious stones, minerals, both in terms of practical use and esthetics. In the shattered mountains of the Urals, he discovers caverns and “geological” ruins. His Gothic architectural taste is focused on the “perpendicular style” of the Ural mountains – highly elevated rugged crags, summits of “great height”. A set of his tropes reveals some influence of the Gothic architectural style in such details as “buttresses”, “towers”, “pinnacles”.

**Key words:** Urals; narrative; landscape; picturesque; romanticism; Gothic.

УДК 821(7/8).09

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-111-121

## «ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА» ГАРРИЕТ БИЧЕР-СТОУ В ВОСПРИЯТИИ АФРОАМЕРИКАНЦЕВ<sup>1</sup>

**Ольга Юрьевна Панова**

д. филол. н., профессор кафедры истории зарубежной литературы

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

119991, Россия, г. Москва, Ленинские горы, 1. olgapanova65@gmail.com

ст. научный сотрудник отдела литератур Европы и Америки новейшего времени

Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН

121069, Россия, г. Москва, ул. Поварская, 25а

SPIN-код: 1374-2871

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2520-120X>

ResearcherID: K-8102-2018

Статья поступила в редакцию 03.04.2018

**Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

Панова О. Ю. «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу в восприятии афроамериканцев // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 111–121. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-111-121

**Please cite this article in English as:**

Panova O. Yu. «Khizhina dyadi Toma» Garriet Bicher-Stou v vospriyatii afroamerikantsev [*Uncle Tom's Cabin by Harriet Beecher Stowe: African American Responses*]. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya* [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 111–121. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-111-121 (In Russ.)

Прослеживаются основные этапы осмысления и интерпретации романа Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных» (1852) в афроамериканской публицистике, критике, эссеистике, художественной литературе. Основное внимание уделяется ключевым моментам в ходе афроамериканской рецепции романа. Прежде всего, это начальный период – отклики в негритянской периодике 1850–1890-х гг., где центральным событием была последовавшая за выходом книги полемика Ф. Дугласа с М. Делани (на страницах газеты «Frederick Douglass Paper»), которая определила главный вектор в спорах интеграционистов и афроцентристов о «Хижине дяди Тома». Положение остается практически неизменным до эпохи Гарлемского ренессанса, когда в отзывах авторов 1920-х гг. о романе (Дж. Уэлдон Джонсон, У. Стенли Брейтуэт, У. Герман) начинают превалировать скепсис и ирония. Следующим поворотным моментом стала переоценка романа в середине XX в. благодаря сборнику рассказов Р. Райта «Дети дяди Тома» (1938) и статье Дж. А. Болдуина «Всеобщий роман протеста» (1949). Статья Болдуина дала импульс переосмыслению образа дяди Тома, который в 1950–1960-х гг. превращается в сознании афроамериканцев из героя и мученика в символ расового предательства («комплекс дядюшки Тома»). В заключительной части статьи рассматривается трактовка произведения Г. Бичер-Стоу в современной афроамериканистике, в первую очередь предложенная крупнейшим историком и теоретиком афроамериканской литературы Г. Л. Гейтсом интерпретация романа, в которой явственно ощущается преемственность с радикальным афроцентризмом 1960-х гг. и с ревизией феномена аболиционизма в афроамериканских исследованиях 1990–2000-х гг.

**Ключевые слова:** Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»; аболиционизм; афроамериканская критика и публицистика; афроамериканская периодика; Ф. Дуглас; М. Делани; Р. Райт; Дж. А. Болдуин; Г. Л. Гейтс; афроамериканские исследования.

Роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома, или Жизнь среди униженных» (1852)<sup>2</sup> стал самым авторитетным художественным высказыванием по расовому вопросу в США в XIX в. и, как в фокусе, собрал все, чем на тот момент владела национальная традиция<sup>3</sup> в плане осмысления негритянской проблемы. Он вызвал гнев апологетов рабовладения и породил обширную полемическую литературу – не только публицистику, но и огромный корпус предвоенных романов, направленных «против Тома» (*anti-Tom novels*)<sup>4</sup>. В негритянской прессе, выходившей в США и Канаде, отклики также появились оперативно – сразу после выхода романа, и основная их масса пришлась на первые два года после публикации. Первые оценки и рецензии в афроамериканской периодике положили начало долгому процессу интерпретации и ре-интерпретации романа, которые он претерпел на протяжении более чем полутора веков в истории негритянской мысли.

Хвалебную оценку «Хижине дяди Тома» дал Фредерик Дуглас, подчеркивавший в своих рецензиях и статьях<sup>5</sup> огромную роль романа в просвещении нации по вопросу рабовладения через показ его страшных сторон; Дуглас отмечал силу эмоционального воздействия на читателя, а также убедительность и правдоподобие, использование реальных фактов. Дуглас положительно оценивал созданных писательницей чернокожих и цветных героев и считал, что эти персонажи достойно представляют черную расу: их нравственные качества, сложность и глубина характеров, а также образованность, хорошее воспитание привлекают читателя, вызывают сочувствие и уважение к этим героям. Два главных достоинства книги Бичер-Стоу для Дугласа – гуманистический пафос (признание за неграми всей полноты человеческой природы и способности к социализации и восприятию культуры), интеграционизм (вера в возможность сосуществования разных рас в одной стране с упразднением различий перед законом, но с сохранением культурной самобытности) и «благопристойность» (*gentility*), которой наделяются цветные персонажи – признак цивилизованности и культурной полноценности. Однако у Дугласа вскоре появился оппонент: уже через год после выхода книги в газете «*Frederick Douglass' Paper*» были напечатаны письма чернокожего радикального аболициониста, публициста и писателя Мартина Делани (1812–1885) и ответы на них Ф. Дугласа, выражавшие точку зрения его газеты. Делани, стоявший на позициях этноцентризма и расовой «самопомощи», в первом письме резко возражает

против вмешательства белых в «негритянскую проблему», настаивая на принципе «самопомощи»; он призывает полагаться на лидеров черной расы, лучших ее представителей, а не на «расово чуждых» белых благодетелей: «...мы все время совершаем огромную ошибку, когда обращаемся к чужим, а не к тем из нас, кто обладает умом и опытом; и при всем уважении к миссис Стоу, я все же осмелюсь сказать, что она ничего не знает о нас, свободных цветных в Соединенных Штатах, как, впрочем, и все белые, которые поэтому не могут предложить успешных решений для улучшения нашего положения, – это должны делать мы сами» [Martin Delany Letter and Douglass's Reply a 1853].

В ответе редакции Делани был подвергнут резкой критике за эти идеи, несовместимые с интеграционистскими устремлениями газеты. Призыв полагаться на собственные силы и отказ от помощи белых были расценены как «покушение с негодными средствами»: «Мы желаем всей душой, чтобы цветные договорились между собой и решили что-нибудь сделать для собственного блага и блага своей расы; но пока они этого не достигли, было бы неразумно и неблагодарно с их стороны... окатывать холодным душем тех, кто предлагает план и прикладывает усилия во имя этой цели. Высокомерный отказ от помощи наших белых друзей и заявления, что они не заслуживают нашего доверия, выглядят впечатляюще на бумаге; однако покамест нет фактов, доказывающих нашу независимость и способность самим позаботиться о себе, к чему демонстрировать такую самонадеянность?.. Почему мы должны возражать против попыток со стороны миссис Стоу или кого бы то ни было сделать что-нибудь для нас? Утверждение, что миссис Стоу “ничего не знает о нас”, доказывает лишь, что брат Делани ничего не знает о миссис Стоу; в противном случае он не стал бы так явно попирать мораль и здравый смысл» [Martin Delany Letter and Douglass's Reply a 1853].

В следующих двух своих письмах Делани поднимает более частные вопросы, которые также показательны для идеологии этноцентризма. Во втором письме это, прежде всего, требование гонораров и признания для негров, послуживших прототипами героев Бичер-Стоу, – авторов невольничьих повествований Джосайи Хенсона («дядя Том»), Генри Бибба с женой («Джордж и Элиза Гаррис»), Льюиса и Мильтона Кларк и др. Делани также критикует использование в романе негритянского диалекта: «...хочу заметить, что отец Джосайя Хенсон пользуется таким же правильным языком, как и тысячи других американ-

цев» [Martin Delany Letter 1853]. Смысл замечания, конечно, связан с расовой гордостью и утверждением культурной полноценности негров, особенно если учитывать тот факт, что «негритянский диалект» (который на самом деле являлся стилизацией, условным литературным конструктом) был создан белыми – артистами-«менестрелями», выступавшими в негритянском гриме («блэкфейс»), писателями-южанами и использовался в т. н. «плантаторском романе» (plantation novel) и минстрел-шоу. Однако уже в первые послевоенные годы черные авторы начнут осваивать «негритянский диалект» – вслед за белыми писателями и поэтами.

Наконец, в третьем письме Делани [Martin Delany Letter and Douglass's Reply b 1853] содержится критика Стоу как сторонника колонизации – проекта по возвращению афроамериканцев «на историческую родину», что должно было снять межрасовое напряжение в Новом Свете и способствовать христианизации и цивилизационному прогрессу Африки<sup>6</sup>. Делани противопоставляет Либерии – «маленькому зависимому» (от белых) поселению колонизаторов в Африке – Гаити, «единственную на земле по-настоящему свободную и независимую негритянскую нацию». В связи с проблемой образования негров, поднятой Бичер-Стоу, Делани требует, чтобы в негритянских учебных заведениях преподавали черные и цветные учителя, считая, что для черной расы это первый шаг к самоуважению и самоидентификации: «Все отвратительные и грубые предрассудки касательно цвета кожи, которые у нас в ходу, порождены белыми и усвоены от них...» [Martin Delany Letter and Douglass's Reply b 1853]. В ответ Дуглас инкриминирует Делани зеркально-симметричные расовые предрассудки – предпочтение «своих» «чужим» по расовому принципу. Заостряя в ответе «брату Делани» свои интеграционистские тезисы, Дуглас объявляет нереальным и «преждевременным» требование «черного диктата» «белым союзникам». Он констатирует раскол негритянского населения и отсутствие единства и организованности, указывает на абстрактность местоимения «мы», которое употребляет Делани применительно к «неграм», «черной расе»: «Брат Делани говорит, что не следует ничего делать для нас или предпринимать ради нас, не советуясь с нами. Но где искать «нас», чтобы посоветоваться? Через какую организацию, по какому каналу должны происходить эти консультации? Или он имеет в виду всех негров вообще, и что ничего нельзя предпринять, не спросив мнения у каждого чернокожего в нашей стране? <...> Мы – рас-

колотый, разобщенный народ; это факт, который надо признать, брат Делани, как и то, что немалая доля ответственности за эту разобщенность ложится на Вас и на автора этих строк. Мы должны больше доверять друг другу...» [Martin Delany Letter and Douglass's Reply b 1853].

Статьи Делани – не единственный пример негативной оценки «Хижина дяди Тома» в довоенный период. Канадская негритянская газета «Provincial Freeman» заняла весьма критическую позицию по отношению к роману. Наиболее ярким образчиком агрессивной критики романа стала резкая статья «Джордж Гаррис», где критике также подвергались идеи колонизации: «Один из самых мужественных героев, страдающих от угнетения в “Хижине дяди Тома”, – Джордж Гаррис. То, как распорядилась этим образом миссис Стоу, слова, которые она вложила в его уста, а именно изложение причин, по которым он едет в Либерию, – это напрасная и оскорбительная поддержка омерзительной выдумки янки – колонизации. Это никак не согласуется с духом аболиционистского повествования, этому не должно быть места в аболиционистской книге. <...> Еще обидней то, что миссис Стоу отлично понимает разницу между проектами колонизации в Америке и в Британии. В последнем случае – это дружественная поддержка негров; в первом – убийственная, сатанинская затея» [C.V.S. 1854].

Автор статьи упрекнул в лицемерии Ф. Дугласа, который «сотворил из этой книги кумир», хотя сам заявляет при этом, что колонизация – «гнусный, чудовищный проект». Что же касается Г. Бичер-Стоу, инвективы автора статьи в ее адрес гораздо серьезней: ее скрытыми побуждениями объявляются ненависть к неграм, стремление «очистить» от них Новый Свет: «Дядя Том должен быть убит! Джордж Гаррис – отправлен в изгнание! Мертвых негров – на небо! Живых мулатов – в Либерию! Никто из них не должен жить на американском континенте! Наша участь – смерть или ссылка! – так говорят рабовладельцы, сторонники колонизации и – не в обиду будь сказано – миссис Стоу! Черные... должны извлечь из этого урок: свои права и свободы мы можем завоевать только сами. С благодарностью принимая помощь друзей – насколько они способны ее оказать, – мы должны сами делать свое дело, с помощью Божией» [C.V.S. 1854].

Итак, Бичер-Стоу оказывается в одном ряду не только с основателями движения за репатриацию негров, но и с рабовладельцами. Прямое обвинение в расовой ненависти «маленькой

женщины, начавшей большую войну» за отмену рабства, в XIX в. (в отличие от XX в.) было все же исключением. В целом, негритянская пресса встретила роман доброжелательно: в основной своей массе отклики на роман анализируют воздействие книги на социальную ситуацию в США и деятельность аболиционистов [напр.: S. J. 1852; Negro Emigration 1854; Condition of Fugitives 1855]; очень распространены были «письма в редакцию» – в них авторы рассказывали о различных реальных историях и ситуациях, которые «могли бы войти в роман миссис Стоу» [напр.: Incident for Another 1852; Slave Murdered 1854].

Роман вызвал ряд стихотворных откликов – в основном это были «приношения» и «посвящения» автору и героям романа, стихотворные «переложения» тех или иных сцен. Так, писательница, аболиционистка и активистка движения за права женщин Фрэнсис Эллен Уоткинс-Харпер опубликовала несколько стихотворений, вдохновленных романом Бичер-Стоу, – трогательные «Элиза Гаррис» [Watkins Harper 1853] и «Прощание Евы» [Watkins Harper b 1854], а также благодарственное «К миссис Гарриет Бичер-Стоу» [Watkins Harper a 1854]. Традиция продолжалась и в послевоенный период: чернокожий поэт-лауреат Пол Данбар в стихотворении «Гарриет Бичер-Стоу» называет ее «пророчицей и проповедницей» (a prophet and a priestess), «одним ударом» освободившей угнетенную расу – и обесмертившей свое имя: «Prophet and priestess! At one stroke she gave / A race to freedom, and herself to fame» [Dunbar 1898].

Однако на исходе XIX в. появляются первые признаки будущей кардинальной переоценки романа и образа главного героя. Молодой поэт из Джорджии Джаспер Холлоуэй (J. W. Holloway, 1865–1935) в стихотворении «Посещение хижины дяди Тома» [Holloway 1894] создает отталкивающий образ героя знаменитого романа: это домашний тиран, который бьет жену, требует полной покорности от детей, исполняет обязанности надсмотрщика; словом, дядя Том – «осколок эпохи рабства», воплощающий все самые отвратительные его черты: низкопоклонство и деспотизм, грубость и высокомерие, дремучее невежество и убежденность в собственной непогрешимости, которая якобы дает ему право поучать всех вокруг.

В эпоху Гарлемского ренессанса (1920–начало 1930-х гг.) роман, тогда уже во многом воспринимавшийся сквозь призму популярной культуры – сценических постановок, минстрел-шоу, кинематографа<sup>7</sup>, песен, стихов, переложений для детей, игр, декоративных изделий, иг-

рушек, – тем не менее продолжал вызывать споры. Примечателен отзыв о «Хижине дяди Тома» в романе Джеймса У. Джонсона «Автобиография бывшего цветного» (1912, переизд. 1927), раскрывающий амбивалентность восприятия книги Бичер-Стоу в эпоху «нового негра» и значимость ее для самосознания чернокожего американца: «Что касается меня, я никогда не был поклонником дяди Тома...но я охотно верю, что среди старых негров было множество отличавшихся такой же глупой добродетельностью... Не будем забывать, что автор также изобразила ленивых и злых негров, а также рабовладельца – христианина и джентльмена... что автор вывела довольных, поющих и танцующих черномазых и матерябыню, горюющую о своем ребенке, которого продали “в низовья реки”. Не будет преувеличением сказать, что “Хижина дяди Тома” представила честную и реальную картину рабства; мне же она открыла глаза на самого себя и показала мне, кто я такой и кем меня считают в моей родной стране...» [Johnson 1912: 39–40].

О «Хижине...» с уважением упоминает литератор и педагог Бенджамин Броли (1882–1939) в своей авторитетной «Краткой истории американских негров» [Brawley 1924: 84–85]; однако его современник, писатель, поэт и литературный критик Уильям Стэнли Брейтуэйт (1878–1962) в статье «Негры в американской литературе», вошедшей в знаменитую антологию А. Локка «Новый негр» (1925), отмечает, что книга Бичер-Стоу, как и вся довоенная американская литература, в изображении негров следовала стереотипам и не могла дать «последовательного, серьезного и глубокого исследования жизни и характера негра» – поэтому, несмотря на сочувствие к угнетенной расе и призыв к справедливости, Брейтуэйт признает роман «художественной неудачей» и полагает, что он ничего не может дать современному читателю [Braithwate 1925: 30–31]. Еще резче отзывается о книге Бичер-Стоу один из ярких деятелей Гарлемского ренессанса, романист Уоллес Терман (1902–1934), в критическом обзоре, который он опубликовал в своем журнале «Fire!!». Терман констатирует, что негр и в 1920-е гг. остается для современной литературы комическим типом в соответствии с парадигмой, заданной еще в предвоенном романе, в том числе у Бичер-Стоу: «...все негры, которые появляются в современной литературе, изображаются так же комически и фальшиво, как и в старой школе, где белые писатели в псевдо-юмористическом и сентиментальном духе выводили своих дядюшек Томов, Топси и черных кормилиц» [Thurman 1926: 48].

Значимыми обращениями к роману Бичер-Стоу ознаменовался и следующий период истории негритянской литературы (середина 1930-х – 1950-е гг.) с его движением от «романа протеста» (protest novel) к экзистенциализму<sup>8</sup>. В 1938 г. выходит сборник рассказов Ричарда Райта (1908–1960) «Дети дяди Тома» ("Uncle Tom's Children") – шесть историй о расизме, полных изображения насилия, жестокости, страха, смерти. Значимые оппозиции для всех рассказов – покорность / сопротивление, униженность / гордость, обман / истина, утрата / обретение свободы; сквозные лейтмотивы – бегство, одиночество. Важное место занимает тема межрасовых сексуальных отношений и связанных с этой темой стереотипов: стереотип «белый мужчина – негритянка» отсылает к эпохе рабства, к практике конкубината и промискуитета в отношениях хозяина и рабынь; «негр – белая женщина» – стереотип более позднего, послевоенного происхождения, включающий угрозу линчевания, кастрации, насильственной смерти.

Очевидная преемственность с романом Бичер-Стоу, выраженная и в названии райтовского сборника, побудила младшего современника Райта, Джеймса Болдуина (1924–1987), тогда еще только начинавшего свою литературную карьеру, объединить книги «давно умершей женщины из Новой Англии» и «современного негритянского романиста» в «наш общий роман протеста» [Baldwin 1949]. Оценки Болдуина полностью соответствуют духу времени, ценностным и эстетическим установкам писателей-интеграционистов 1940–1950-х гг.<sup>9</sup> Болдуин называет «Хижину...» «очень плохим романом», полным «самодовольной, добродетельной сентиментальности» [Болдуин 1990: 189]. Характеры героев лишены сложности, негритянские персонажи стереотипны; из трех главных негритянских персонажей Болдуин признает негром только дядю Тома; что касается Джорджа и Элизы, они лишь называются цветными, однако «являют собой расу, отдельную от Топси», так как автор изображает их «настолько белыми, насколько она в силах это сделать». Дядя Том «черен как смоль, волосат, неграмотен и обладает феноменальным терпением. Он черный и не должен быть другим, ведь лишь благодаря своему терпению он может выжить или восторжествовать... его триумф призрачен, нереален, поскольку он черный, рожденный без света, лишь путем унижения... может приобщиться к Богу или человеку» [там же: 191].

Главным пороком романа Болдуин считает слепое следование зловещей метафизике цвета,

сложившейся в западной культуре: в оппозиции «белое–черное», связанной с теологическими понятиями «свет» и «тьма», второй член оппозиции означает дьявола, зло, грех. Чтобы вернуть негру его человеческую природу, необходимо сделать его белым: Бичер-Стоу стремится очистить его от греха «черноты», облечь «в белые одежды спасения». Для Болдуина, рассматривающего роман сквозь призму своей современности, в единый комплекс увязываются черный цвет кожи, сексуальность, греховность и дегуманизация («бестиализация»): негр, подпавший под проклятие западной «метафизики», должен быть отбелен, десексуализирован (кастрирован) и – «спасен». Болдуин отмечает «асексуальность» дяди Тома: «Том, единственный черный мужской персонаж в романе, лишен своей человечности и мужского естества. Такова цена за клеймо черноты, которое он носит» [там же: 192].

Яркий финал статьи Болдуина, рисующий «смертельное объятие» «негритянского романиста» (Райта) и «белой женщины из Новой Англии», слившихся в «клубке ярости и похоти», «бормочущих безжалостные проповеди» и «выкрикивающих проклятия» [там же: 195], призывает к отказу от дегуманизирующей метафизики и стереотипов, побуждающих черного и белого «вожделеть смерти друг друга» и «заставляющих их сойти в яму вместе». Трагедия негра в Америке – дяди Тома или райтовского Биггера Томаса – по мнению Болдуина, состоит в том, что он дегуманизирован, обесчеловечен, так как «принял теологию, которая отказывает ему в жизни» [там же: 196]. Трагедия же белого – в жестокости, порожденной неизбывным комплексом вины, в нежелании увидеть в негре полноценного человека, в стремлении «отбелить» негра, отказав ему тем самым в праве быть самим собой.

Статья Болдуина «Наш общий роман протеста» стала поворотным моментом в судьбе книги Бичер-Стоу в XX в.: после нее акценты оказались окончательно переставлены<sup>10</sup>. Отныне «Хижина дяди Тома» воспринимается в контексте литературы протеста и сопротивления, и христианский смысл романа становится «отягчающим обстоятельством», которое окончательно переводит Бичер-Стоу из лагеря друзей черной расы в стан ее врагов. Во главу угла ставится не принцип христианства, обесценивающий расу, социальное неравенство, пол и прочие временные, внешние различия перед фактом обожения человека («нести эллина, нести иудея...»), но принцип расы, которую вместе с «сексуальностью» стремится отнять у негра «белое христи-

анство», только на этом условии обещая социальную и культурную полноценность, полноценное «членство» в цивилизации. Окончательная трансформация аболиционистского романа в «антинегритянский» и превращение дяди Тома из христианского мученика и героя в воплощение сервильности и расового предательства происходит в 1960-е гг., когда христианство объявляется «религией рабов и господ» и в оборот входит понятие «комплекса дядюшки Тома» (*uncle Tomism*). В радикальной риторике 1960-х гг. идеи Болдуина опрощаются, приобретают агитпроповскую «плакатность» и прямоту.

Постшестидесятническая генерация афроамериканских литературоведов внесла свой вклад в ре-интерпретацию романа. Крупнейший афроамериканист-литературовед Генри Луис Гейтс-мл., выпустивший комментированное и богато иллюстрированное издание романа [*The Annotated Uncle Tom's Cabin 2007*], в своем предисловии к этому изданию отмечает, что эссе Болдуина было взято на вооружение движением «власть черных» и именно черные радикалы 60-х закрепили в культурном воображаемом целой нации негативный стереотип «дяди Тома» как «черного, который слишком жаждет выслужиться перед белыми», «воплощения расового предательства», «объекта презрения», «козла отпущения для всех наших внутренних сомнений» [*The Annotated Uncle Tom's Cabin 2007: xi–xxx*]. Признавая «Хижину...» «пра-текстом (*ur-text*) для изображения в художественной литературе американцев, разделенных расовым барьером», и «пра-текстом для американской мелодрамы» [*ibid: xviii*], Гейтс декларирует намерение вернуть роману сложность и глубину, преодолеть плакатность стереотипов через помещение книги в исторический контекст и анализ ее рецепции в разные эпохи. Он анализирует роман в духе «субверсивного афроамериканского двухголосия» (*double-voiced Black discourse*)<sup>11</sup>. Казалось бы, он стремится дезавуировать болдуиновский «приговор» роману Бичер-Стоу, выявляя зависимость самого Болдуина от «пра-текста»: «“Хижина дяди Тома” – великая книга... потому что это великая ревивалистская проповедь, направленная на обращение слушателей. Разве произведения Болдуина – не ревивалистские проповеди, точно так же направленные на обращение читателей?.. Болдуин – самый прямой литературный наследник Бичер-Стоу в XX веке» [*ibid: xxix–xxx*].

Однако подобная «реабилитация» романа вряд ли может отвлечь внимание от того очевидного факта, что все главные положения вводной статьи Гейтса восходят к болдуиновскому эссе и

лишь развивают и «осовременивают» его основные идеи. Болдуин указывает на тесную взаимосвязь сентиментальности (мелодрамы) и сексуальности; Гейтс делает этот тезис базовым для своей интерпретации романа: «В девятнадцатом веке в довоенной Америке сентиментальность была единственным способом для Стоу писать о сексе, особенно о межрасовом сексе, и она именно это и делала, осознанно или бессознательно. Коротко говоря, сентиментальная форма Стоу выражает сексуальное содержание романа» [*ibid: xx*]. Вслед за Болдуином Гейтс отмечает, что романистка наделяет сексуальностью Элизу и Джорджа, которые, формально считаясь цветными, изображаются как белые. Как и Болдуин, Гейтс констатирует «десекуализацию» Тома, но, в отличие от Болдуина, указывает, что это относится лишь к изображению супружеской пары «Том-Хлоя»; Болдуин, по мнению Гейтса, «не заметил сексуального подтекста» в отношениях Тома и Евы – тема, которую Гейтс подробно развивает, останавливаясь на эпизодах спасения Томом упавшей за борт Евы, их совместном чтении Библии и убеждая читателя, что сцены физического контакта «широкоплечего, мускулистого» чернокожего курчавого Тома и ангелоподобной белой девочки с золотыми волосами и синими глазами – яркий пример того, как под маской сентиментальности «просвечивает» сексуальный подтекст: «В конце концов сильные руки Тома, обнимающие тонкую талию белой девочки Евы, – центральный образ средней части книги. Стараясь замаскировать или подавить сексуальность, сентиментальность неизменно привлекает к ней внимание» [*ibid.: xxi*].

Рецепция «Хижины...» в популярной культуре (минстрел-шоу, сценические постановки, комиксы, фильмы и т. д.), по мнению Гейтса, обнажает наличие в тексте романа завуалированных мечтаний новоанглийской пуританки о миссегенации и межрасовых сексуальных контактах. При этом, несмотря на декларированный «историзм», Гейтс обходит молчанием тот факт, что подобные коннотации в адаптациях романа конца XIX–XX вв. возникают *post factum* на основе сложившейся в эру евгеники, дарвинизма и расовой войны на Юге (1880–1910-е) топики «негритянской сексуальной угрозы». Именно тогда утверждается устойчивый стереотип о «негритянском насильнике» и «лилейно-белой женственности», которую белым мужчинам следует охранять<sup>12</sup>.

Переоценки романа Бичер-Стоу – часть общей стратегии современной афроамериканистики, нацеленной на ревизию феномена аболицио-

низма, центральным текстом которого остается «Хижина дяди Тома». Аболиционизм подвергается пересмотру по нескольким, порой взаимоисключающим, линиям. С одной стороны, очевидно стремление «потеснить» белых противников рабства и подчеркнуть роль негритянских аболиционистов. Яркий пример такой стратегии – статья У. Л. Эндрюса и М. Лоуэнса «Антирабовладельческое движение» в оксфордской энциклопедии афроамериканской литературы [Andrews Lowance 1997]. Говоря об аболиционизме как «расплывчатой группе, включавшей представителей обеих рас» (loose biracial group), авторы перечисляют белых лидеров-основателей аболиционизма (Гаррисона, У. Филиппа и нек. др.), а основное место отводят чернокожим деятелям – Ф. Дугласу и Г. Энн Джейкобс. Джона Брауна они характеризуют как последователя Дэвида Уокера – чернокожего радикального активиста, автора революционного «Воззвания к цветным гражданам мира» (“An Appeal to the Coloured Citizens of the World”, 1929). Упомянув о романе Г. Бичер-Стоу, Эндрюс и Лоуэнс подробно пишут о «негритянских» источниках романа, особенно о документальной книге «Рабство в Америке как оно есть: тысяча свидетельств» (“American Slavery As It Is: Testimony of a Thousand Witnesses, 1839), подготовленной аболиционистами (белыми) Теодором Дуайтом Уэлдом и сестрами Гримке, – поскольку эти источники «по иронии судьбы оказались менее известны», и др.

Влияние распространенного в афроамериканистике мифа о «замалчивании голоса афроамериканцев» в XVIII–XIX вв. столь велико, что сказывается даже в отечественных исследованиях. Например, в компетентной и информативной статье Т. Н. Денисовой об аболиционистской словесности как дань «заокеанским веяниям» читается фраза: «Как известно, аболиционисты видели в неграх, как правило, прежде всего объект своей деятельности и не отводили им сколько-нибудь заметной роли в своем движении» [Денисова 2000: 325]. Между тем миф о «замалчивании голосов черных» еще в начале нашего века документально опроверг известный американский историк литературы Диксон Д. Брюс [Bruce 2001].

Предъявление белым аболиционистам обвинений в расизме стало еще одной целенаправленной стратегией в афроамериканских исследованиях рубежа XX–XXI вв. Инвективы в адрес Г. Бичер-Стоу, Лидии Марии Чайльд, У. Ллойда Гаррисона и других белых аболиционистов со стороны потомков бывших рабов не

иссякают. Аболиционистам в первую очередь инкриминируются симпатии к проекту колонизации и так называемый «романтический расизм», на основании чего современные афроамериканисты объединяют их в одну компанию с апологетами рабовладения – авторами плантаторского романа например<sup>13</sup>. Тем самым бесспорный факт, что и те и другие пользуются одной и той же – общенациональной – культурной моделью негра, сложившейся еще во времена Т. Джефферсона<sup>14</sup>, получает совершенно искаженный смысл, поскольку игнорируется не менее бесспорный факт, что эта модель использовалась аболиционистами и апологетами рабства по-разному и в диаметрально противоположных целях.

То, что расизм аболиционистов назван «романтическим»<sup>15</sup>, не может смыть «пятна на репутации» борцов с рабством негров. С «романтическим расизмом» аболиционистов-северян оказывается прямо связана их религиозная идея. Однако если речь идет о негритянских борцах с рабством, то наблюдается затушевывание неразрывной связи аболиционизма и христианства, поскольку в результате революции 1960-х в афроамериканистике прочно утвердился топос «христианство – религия рабовладельцев и рабов, орудие порабощения». Ярчайший пример воздействия идеологии на историю – судьба «культурного мифа о дяде Томе». Как справедливо указывает У. Дж. Мозес, посвятивший этой теме свою монографию [Moses 1982], трактовка образа дяди Тома, начиная с середины XX в., представляет собой примечательный пример переоценки и подмены смысла, которые порой происходят в культуре. Из христианского мученика и героя черной расы, который умер под пытками, но не выдал беглянок Касси и Эммелину и морально одержал верх над своим мучителем, Том превратился в символ «расового предательства». Подобный антиисторизм и подмена смыслов – характерные приемы постшестидесятинической ангажированной «черной мысли».

В стремлении вернуться к исторически корректной картине при оценке движения аболиционизма и порожденной им литературы современный исследователь вынужден напоминать некогда избитые, а теперь снова актуальные общие места, на которые опиралась отечественная американистика еще в советский период. Сейчас пассажи о прогрессивности белых аболиционистов, их самоотверженности, о ведущей роли в деле отмены рабства вновь звучат свежо и полемично (см. напр.: [Уманский 1961; Захарова, 1965]).

### Примечания

<sup>1</sup> Работа выполнена по гранту РФФИ 18-012-00241 А «История афроамериканской литературы XVIII–XX вв.»

<sup>2</sup> Роман публиковался в журнале «National Era» (с 05.06.1851 по 01.04.1852). Первое книжное издание вышло из типографии 20 марта 1852 г. [Beecher Stowe 1852].

<sup>3</sup> Об этом см. ресурс Виргинского университета, созданный под рук. С. Рейлмана, – “Uncle Tom’s Cabin” and American Culture”. URL: <http://utc.iath.virginia.edu/> (дата обращения: 10.03.2018).

<sup>4</sup> Среди наиболее известных романов «против Тома»: *Истмен М.* «Хижина тети Филлис» (1852); *Пейдж Дж. У.* «Дядя Робин в своей хижине в Вирджинии и дядя Том без хижины в Бостоне» (1853); *Ли Хенц К.* «Северная невеста плантатора» (1854); *Скулкрафт Мэри Г.* «Черная перчатка: история из жизни плантации в Южной Каролине» (1860).

<sup>5</sup> См., напр., краткую рецензию Дугласа [Douglass 1852] на публикацию романа отдельным изданием, а также его статью «День и ночь в хижине дяди Тома» [Douglass 1853].

<sup>6</sup> Американское колонизационное общество (American Colonization Society; осн. в 1816) организовывало возвращение свободных афроамериканцев в Африку и участвовало в основании колонии Либерия для черных и цветных переселенцев из США.

<sup>7</sup> Первый кинофильм, снятый по роману, датируется 1903 г.; между 1903 и 1927 гг. появилось не менее 9 фильмов по мотивам книги. См. об этом ресурс “Uncle Tom’s Cabin” in American Culture]. URL: <http://utc.iath.virginia.edu/onstage/oshp.html>.

<sup>8</sup> Подробнее о восприятии и интерпретации романа Бичер-Стоу поколением 1930–1950-х см.: [Dinerstein 2009].

<sup>9</sup> Мысли, высказанные Болдуином, перекликаются с основными идеями эссеистики Ральфа Эллисона, напр., выраженных в эссе «Скрытое имя, трудный удел» (Hidden Name and Complex Fate), «Человеческое под маской негра» (Black Mask of Humanity), «Блюз Ричарда Райта» (Richard Wright’s Blues), вошедших в сб. «Тень и действие» (Shadow and Act, 1964).

<sup>10</sup> Такого мнения придерживаются Г. Л. Гейтс [The Annotated *Uncle Tom’s Cabin* 2007] и ряд других исследователей [напр.: Williams 2001: 62].

<sup>11</sup> Общее для постколониальных и афроамериканских исследований понятие «двухголосия» как «речи трикстера», в условиях угнетения и дискриминации скрывающего субверсивные смыслы под внешним конформизмом, Г. Л. Гейтс разраба-

тывает в ряде своих работ, в частности, в самой знаменитой [Gates 1988].

<sup>12</sup> См. об этом: [Williams 2001]. Два основных произведения, которые рассматриваются исследовательницей, – «Хижина дяди Тома» и фильм Д. Гриффита «Рождение нации» (1915) по романам Т. Диксона. Также см.: [Courtney 2005; Панова 2014].

<sup>13</sup> См. напр.: *Sinanan K.* The Slave Narrative and the Literature of Abolition; *Weinstein, Cindy* The Slave Narrative and Sentimental Literature [Cambridge Companion... 2007: 61–80, 115–134].

<sup>14</sup> «Записки о Виргинии» (1785), гл. XVIII. Подробнее см.: [Висоцька 2005].

<sup>15</sup> Понятие «романтический расизм» ввел Дж. Фридриксон [Fredrickson 1971: 97–129].

### Список литературы

*Болдуин Дж. А.* Наш общий роман протеста / пер. с англ. Т. Ротенберг // Болдуин Дж. А. Что значит быть американцем. Художественная публицистика. М.: Прогресс, 1990. С. 188–195.

*Висоцька Н. О.* «Наши чорні брати»: риторика раси у пресвітницькому дискурсі Томаса Джефферсона // Просвітницька традиція в літературі США. Американські літературні студії в Україні. Київ, 2005. Вип. 2. С. 78–93.

*Денисова Т. Н.* Литература и публицистика аболиционизма // История литературы США. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. Т. 3. С. 307–345.

*Захарова М. Н.* Народное движение в США против рабства, 1831–1860. М.: Наука, 1965. 451 с.

*Панова О. Ю.* Моделирование образа черной расы в американской литературе и культуре рубежа XIX–XX вв. // Гуманитарные и социально-экономические науки. 2014. № 1(74). С. 78–81.

*Уманский П. Б.* К вопросу о месте Ф. Дугласа в аболиционистском движении США // Исторические науки. 1961. № 3. С. 124–139.

*Andrews W. L., Lowance M. I.* Antislavery Movement // Oxford Companion to African American Literature. New York; Oxford: Oxford University Press, 1997. P. 28–29.

*The Annotated Uncle Tom’s Cabin* Harriet Beecher-Stowe / eds. H. L. Gates Jr., H. Robbins. N. Y.; L.: W. W. Norton & Co., 2007. xlvii, 480 p.

*Baldwin J. A.* Everybody’s Protest Novel // Partisan Review. 1949. June. Vol. XVI, № 6. P. 578–585.

*Beecher Stowe H.* Uncle Tom’s Cabin, or Life Among the Lowly: in 2 vols. Boston, MA; Cleveland, OH: Jewitt, Proctor, and Worthington, 1852.

*Braithwaite W. S.* The Negro in American Literature // The New Negro / ed. A. Locke. N. Y.: Albert & Charles Boni, 1925. P. 19–44.

Brawley B. *A Short History of the American Negro*. N. Y.: The Macmillan Company, 1924. 203 p.

Bruce D. D. Jr. *The Origins of African American Literature, 1680–1865*. Charlottesville, VA: The University Press of Virginia, 2001. 374 p.

C. V. S. George Harris // *Provincial Freeman*. 1854. Jul. 22.

*Cambridge Companion to the African American Slave Narrative* / ed. A. Fisch. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 290 p.

*Condition of Fugitives in Canada* // *Provincial Freedom*. 1855. Oct. 13.

Courtney S. *Hollywood Fantasies of Miscegenation. Spectacular Narratives of Gender and Race, 1903–1967*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005. 400 p.

Dinerstein J. "Uncle Tom Is Dead!": Wright, Himes and Ellison Lay a Mask to Rest // *African American Review*. 2009. March 22. Vol. XLIII, № 1. P. 83–98.

Douglass F. *A Day and Night in Uncle Tom's Cabin* // *Frederick Douglass' Paper*. 1853. March 4.

Douglass F. *Literary Notice* // *Frederick Douglass' Paper*. 1852. April 4.

Dunbar P. L. *Harriet Beecher Stowe* // *Century Magazine*. 1898. November. Vol. LVII, № 1. P. 61.

Fredrickson G. M. *The Black Image in the White Mind: The Debate on Afro-American Character and Destiny, 1817–1914*. N. Y.: Harper & Row, 1971. 343 p.

Gates H. L. Jr. *The Signifying Monkey. A Theory of Afro-American Literary Criticism*. N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1988. xxviii, 290 p.

Johnson J. W. *The Autobiography of an Ex-Colored Man*. Boston, MA: Sherman, French & Company, 1912. 207 p.

Holloway J. W. *A Visit to Uncle Tom's Cabin* // *American Missionary*. 1894. October. Vol. XLVIII, No. 10. P. 362.

*Incident for Another "Uncle Tom's Cabin"* // *Voice of the Fugitive*. 1852. Jul. 29.

Martin Delany Letter // *Frederick Douglass' Paper*. 1853. Apr. 29.

Martin Delany Letter and Douglass's Reply // *Frederick Douglass' Paper*. 1853. Apr. 4.

Martin Delany Letter and Douglass's Reply // *Frederick Douglass' Paper*. 1853. May 6.

Moses W. J. *Black Messiahs and Uncle Toms: Social and Literary Manipulations of a Religious Myth*. University Park, PA; L.: University of Pennsylvania Press, 1982. xii, 278 p.

*Negro Emigration and American Racism* // *Provincial Freedom*. 1854. Jan. 20.

S. J. *Home for the Refugees* // *Voice of the Fugitive*. 1852. Jul. 29.

*Slave Murdered in Virginia* // *Provincial Freedom*. 1854. Jul. 1.

Thurman W. *Fire Burns: A Department of Comment* // *Fire!! A Quarterly Devoted to the Younger Negro Artists*. 1926. November. Vol. I, № 1. P. 47–48.

Watkins Harper F. E. *Eliza Harris* // *Frederick Douglass' Paper*. 1853. Dec. 23.

Watkins Harper F. E. *To Mrs Harriet Beecher Stowe* // *Frederick Douglass' Paper*. 1854. Jan. 27.

Watkins Harper F. E. *Eva's Farewell* // *Frederick Douglass' Paper*. 1854. Mar. 31.

Williams L. *Playing the Race Card: Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O. J. Simpson*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001. xvi, 401 p.

## References

Baldwin J. A. Nash obshchiy roman protesta [Everybody's protest novel]. In: Baldwin J. A. *Chto znachit byt' amerikantsem. Khudozhestvennaya publitsistika*. [What It Means to Be an American. A Collection of Essays]. Moscow, Progress Publ., 1990, pp. 188–195. (In Russ.)

Visots'ka N. O. "Nashi chorni brati": ritorika rasi u prsvitnits'komu diskursi Tomasa DzhEFFersona ["Our black brothers": Thomas Jefferson's race rhetoric in the discourse of Enlightenment]. *Prosvitnits'ka traditsiya v literaturi SShA. Amerikans'ki literaturni studii v Ukraini*. Vip. 2 [Tradition of Enlightenment in the US literature. American literary studies in Ukraine. Issue 2]. Kiev, 2005, pp. 78–93. (In Ukrain.)

Denisova T. N. *Literatura i publitsistika abolitsionizma* [Abolitionist literature and publicism]. *Istorija literatury SShA*. [History of the US Literature]. Moscow, IWL RAS Publ., Nasledie Publ, 2000, vol. 3, pp. 307–345. (In Russ.)

Zakharova M. N. *Narodnoe dvizhenie v SShA protiv rabstva, 1831–1860*. [People's Movement Against Slavery in the USA, 1831–1860]. Moscow, Nauka Publ., 1965. 451 p. (In Russ.)

Panova O. Yu. Modelirovanie obraza chernoy rasy v amerikanskoj literature i kul'ture rubezha 19–20 vv. [Image of the Black Race in American Literature and Culture at the Turn of the 19<sup>th</sup>–20<sup>th</sup> Centuries]. *Gumanitarnye i sotsial'no-ekonomicheskie nauki*. [The Humanities and Social Sciences], 2014, issue 1(74), pp. 78–81. (In Russ.)

Umanskiy P. B. K voprosu o meste F. Duglasa v abolitsionistskom dvizhenii SShA [On F. Douglass' Role in American Abolitionist Movement]. *Istoricheskie nauki* [Historical Sciences], 1961, issue 3, pp. 124–139. (In Russ.)

- Andrews W. L., Lowance M. I. Antislavery Movement. *Oxford Companion to African American Literature*. New York, Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 28–29. (In Eng.)
- The Annotated “Uncle Tom’s Cabin” Harriet Beecher-Stowe. Ed. by H. L. Gates Jr., H. Robbins. New York, London, W. W. Norton & Co., 2007. xlvii, 480 p. (In Eng.)
- Baldwin J. A. Everybody’s Protest Novel. *Partisan Review*. 1949, June, vol. XVI, issue 6, pp. 578–585. (In Eng.)
- Beecher Stowe H. *Uncle Tom’s Cabin, or Life Among the Lowly*: in 2 vols. Boston MA, Cleveland OH, Jewitt, Proctor, and Worthington, 1852. Vol. 1. 312 p. Vol. 2. 322 p. (In Eng.)
- Braithwaite W. S. The Negro in American Literature. *The New Negro*. Ed. by A. Locke. New York, Albert & Charles Boni, 1925, pp. 19–44. (In Eng.)
- Brawley B. *A Short History of the American Negro*. New York, The Macmillan Company, 1924. 203 p. (In Eng.)
- Bruce D. D. Jr. *The Origins of African American Literature, 1680–1865*. Charlottesville, VA: The University Press of Virginia, 2001. 374 p. (In Eng.)
- C. V. S. George Harris. *Provincial Freeman*. 1854, Jul. 22. (In Eng.)
- Cambridge Companion to the African American Slave Narrative*. Ed. by A. Fisch. Cambridge, Cambridge University Press, 2007. 290 p. (In Eng.)
- Condition of Fugitives in Canada. *Provincial Freedom*. 1855, Oct. 13. (In Eng.)
- Courtney S. *Hollywood Fantasies of Miscegenation. Spectacular Narratives of Gender and Race, 1903–1967*. Princeton NJ, Princeton University Press, 2005. 400 p. (In Eng.)
- Dinerstein J. “Uncle Tom Is Dead!”: Wright, Himes and Ellison Lay a Mask to Rest. *African American Review*. 2009, March 22, vol. XLIII, issue 1, pp. 83–98. (In Eng.)
- Douglass F. A Day and Night in Uncle Tom’s Cabin. *Frederick Douglass’ Paper*. 1853, March 4. (In Eng.)
- Douglass F. Literary Notice. *Frederick Douglass’ Paper*. 1852, April 4. (In Eng.)
- Dunbar P. L. Harriet Beecher Stowe. *Century Magazine*. 1898, Nov., vol. LVII, issue 1, p. 61. (In Eng.)
- Fredrickson G. M. *The Black Image in the White Mind: The Debate on Afro-American Character and Destiny, 1817–1914*. New York, Harper & Row, 1971. 343 p. (In Eng.)
- Gates H.L. Jr. *The Signifying Monkey. A Theory of Afro-American Literary Criticism*. New York, Oxford, Oxford University Press, 1988. xxviii, 290 p. (In Eng.)
- Johnson J. W. *The Autobiography of an Ex-Colored Man*. Boston MA, Sherman, French & Company, 1912. 207 p. (In Eng.)
- Holloway J. W. A Visit to Uncle Tom’s Cabin. *American Missionary*. 1894, October, vol. XLVIII, issue 10, p. 362. (In Eng.)
- Incident for Another “Uncle Tom’s Cabin”. *Voice of the Fugitive*. 1852, Jul 29. (In Eng.)
- Martin Delany Letter. *Frederick Douglass’ Paper*. 1853, Apr. 29. (In Eng.)
- Martin Delany Letter and Douglass’s Reply. *Frederick Douglass’ Paper*. 1853, Apr. 4. (In Eng.)
- Martin Delany Letter and Douglass’s Reply. *Frederick Douglass’ Paper*. 1853, May 6. (In Eng.)
- Moses W. J. *Black Messiahs and Uncle Toms: Social and Literary Manipulations of a Religious Myth*. University Park PA, London, University of Pennsylvania Press, 1982. xii. 278 p. (In Eng.)
- Negro Emigration and American Racism. *Provincial Freedom*. 1854, Jan. 20. (In Eng.)
- S. J. Home for the Refugees. *Voice of the Fugitive*. 1852, Jul. 29. (In Eng.)
- Slave Murdered in Virginia. *Provincial Freedom*. 1854, Jul. 1. (In Eng.)
- Thurman W. Fire Burns: A Department of Comment. *Fire!! A Quarterly Devoted to the Younger Negro Artists*. 1926, Nov., vol. 1, issue 1, pp. 47–48. (In Eng.)
- Watkins Harper F. E. Eliza Harris. *Frederick Douglass’ Paper*. 1853, Dec. 23. (In Eng.)
- Watkins Harper F. E. Eva’s Farewell. *Frederick Douglass’ Paper*. 1854, Mar. 31. (In Eng.)
- Watkins Harper F. E. To Mrs Harriet Beecher Stowe. *Frederick Douglass’ Paper*. 1854, Jan. 27. (In Eng.)
- Williams L. *Playing the Race Card: Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O. J. Simpson*. Princeton NJ, Princeton University Press, 2001. xvi. 401 p. (In Eng.)

**UNCLE TOM'S CABIN BY HARRIET BEECHER STOWE:  
AFRICAN AMERICAN RESPONSES**

**Olga Yu. Panova**

**Professor in the Department of Foreign Literature**

**Lomonosov Moscow State University**

1, Leninskie Gory, Moscow, 119991, Russian Federation. [olgapanova65@gmail.com](mailto:olgapanova65@gmail.com)

**Senior Researcher in the Department of Contemporary European and American Literature**

**A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences**

25a, Povarskaya st., Moscow, 121069, Russian Federation.

SPIN-code: 1374-2871

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-2520-120X>

ResearcherID: K-8102-2018

*Submitted 03.04.2018*

The paper gives a survey of the main stages in African American interpretation of *Uncle Tom's Cabin; or Life Among the Lowly* (1852) by Harriet Beecher Stowe. After the publication of the novel, African American periodicals in the USA and Canada were publishing a wide range of reviews, essays, poems, and sketches reacting to Stowe's book. Frederick Douglass was praising the book in his newspaper; there appeared, however, some aggressively critical responses, such as three letters by Martin Delany, a Black radical activist, written to the *Frederick Douglass' Newspaper* in 1853. The argument of Delany and Douglass became a matrix for the further polemic based on the opposition of integrationist and afrocentrist approaches to the novel. This binary opposition remains practically unchanged until the Harlem renaissance, when African American writers and scholars (J. Weldon Johnson, W. S. Braithwaite, W. Thurman) become more critical, describing the novel as full of humiliating stereotypes, and its author as totally unable to properly understand and depict the Black race. The turning point in the assessment of the novel in the 20<sup>th</sup> century was Richard Wright's collection of short stories *Uncle Tom's Children* (1938) and James A. Baldwin's essay *Everybody's Protest Novel* (1949) – a criticism of "protest fiction" from Beecher Stowe to Richard Wright. Baldwin's essay heralded the shift towards the Sixties hostile crusade against "uncle Tomism", when Stowe's protagonist was referred to as a symbol of servility and race betrayal, which was a complete inversion of the cultural myth of a Black Messiah that underlies the character. The final part of the paper analyzes the situation in current African American studies and in particular H. L. Gates's subversive "double-voiced" interpretation of the novel which is in full agreement with the tendency to revise the role of white Abolitionists in the antislavery movement and in the African American history in the 1990–2000s.

**Key words:** Harriet Beecher Stowe's *Uncle Tom's Cabin*; Abolitionism; African American literary criticism; African American periodicals; Frederick Douglass; Martin Delany; Richard Wright; James A. Baldwin; Henry Louis Gates Jr.; African American studies.

**ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ**

УДК 81'373.232.1

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-122-126

**ВЕРШИНИНА ИЗ ВЕРШИНИНО****Татьяна Александровна Сироткина**

д. филол. н., доцент кафедры филологического образования и журналистики

**Сургутский государственный педагогический университет**

628417, Россия, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2. sirotkina71@mail.ru

SPIN-код: 7901-7167

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3494-0968>

ResearcherID: D-5802-2018

*Статья поступила в редакцию 15.02.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:***Сироткина Т. А. Вершинина из Вершинино // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 122–126. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-122-126***Please cite this article in English as:***Sirotkina T. A. Vershinina iz Vershinino [Vershinina from Vershinino]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 122–126. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-122-126 (In Russ.)*

Дается представление об одном из новых лексикографических изданий ученых томской лингвистической школы – «Идиолектном ономастиконе сибирского старожила» (авт.-сост. Е. В. Иванцова, Е. А. Берестова; под ред. Е. В. Иванцовой. Томск: Изд-во Томского университета, 2015. 308 с.). Отмечается, что ономастикон рядового носителя языка до сих пор не был предметом словарного описания и словарь, созданный языковедами томской лингвистической школы, заполняет эту лауну, положив начало традиции фиксации в отдельном издании разных типов собственных имен, функционирующих в речи диалектоносителя. Рецензентом прослеживаются основные принципы построения данного словаря. В продолжение традиций «Полного словаря диалектной языковой личности» ономастический словарь строится с учетом тех же методологических принципов: установка на максимальную полноту отражения лексикона языковой личности, ориентация на разноаспектное описание единиц лексикона, принцип объективации в словаре черт языковой личности носителя языка, принцип «мягкой» подачи пограничных явлений с одновременным отнесением спорных или смежных случаев в разные классы. Приводится характеристика иллюстративного материала, обладающего особой ценностью для читателей и представляющего собой объемную «энциклопедию» жизни русской деревни, ее будней и праздников. Выделяются также заслуживающие внимания маркированные особым знаком высказывания, которые содержат проявления метязыковой рефлексии говорящего в отношении имен собственных. В таких примерах объектом осмысления являются форма, семантика или функционирование имени собственного в своей или чужой речи: его благозвучие / неблагозвучие, его необычность, несоответствие официальному именованию, наличие вариантных обозначений, преимущественное употребление той или иной формы имени, мотив названия, коннотация онима, частотность, соблюдение / несоблюдение нормы употребления и т. д. На основании описания данного лексикографического издания сделан вывод о перспективах создания подобных словарей на диалектном материале других территорий России.

**Ключевые слова:** идиолектный ономастикон; лексикография; томская лингвистическая школа; словарь; оним.

В современной русской лексикографической практике особое место принадлежит словарям идиолектной онимии. Однако даже в более разработанной «авторской лексикографии» (термин Л. Л. Шестаковой) словарей, отражающих идиолекты писателей, пока совсем немного. К ним можно отнести словарь имен собственных, функционирующих в произведениях петербургского периода А. С. Пушкина [Обухова 2009], ономастикон поэм М. Ю. Лермонтова [Гильбурд 2006]. Часть антропонимов и топонимов включена в Словарь языка А. С. Пушкина (отдельного словаря имен собственных произведений поэта пока нет). Онимы даны как приложение к Словарю языка русских произведений Т. Г. Шевченко [Словарь 1985] (имена собственные даны списком в приложении № 4).

Как можно видеть, все они полного представления об идиолектном ономастиконе личности не дают: в приложении к словарю Т. Г. Шевченко нет контекстов, помет; в словаре А. М. Гильбурда материал ограничен поэмами М. Ю. Лермонтова, в словаре Е. С. Обуховой – одним из периодов творчества А. С. Пушкина.

Ономастикон рядового носителя языка до сих пор не был предметом словарного описания. Словарь, созданный лингвистической школой, заполняет эту лакуну, положив (хочется надеяться) начало традиции фиксации в отдельном издании разных типов собственных имен, функционирующих в речи диалектоносителя.

Источником «Идиолектного ономастикона...» послужили записи речи жительницы села Вершинино Томской области Веры Прокофьевны Вершининой, 1909 года рождения, в условиях непринужденного общения с родственниками, односельчанами, знакомыми и диалектологами, также воспринимавшимися информантом в качестве близких людей. Как отмечают авторы словаря, «материал систематически собирался методом включения в языковое существование говорящего в течение 24 лет (57 экспедиционных выездов с 1981 по 2004 г.).

«Ономастикон...» – часть лексикографической серии, посвященной словарному представлению идиолекта сибирской крестьянки. В серию входят базовый толковый «Полный словарь диалектной языковой личности» [Полный... 2006–2012] в 4 томах и ряд аспектных: словарь сравнений [Иванцова 2005], ономастикон [Идиолектный... 2015] и словарь прецедентных текстов [Иванцова 2016]. В данный момент идет работа над идеографическим словарем (авт.-сост. – С. С. Земичева), есть также планы создания синонимно-антонимического словаря.

С учетом традиций «Полного словаря диалектной языковой личности» ономастический словарь строится на тех же методологических принципах: установка на максимальную полноту отражения лексикона языковой личности, ориентация на разноаспектное описание единиц лексикона, принцип объективации в словаре черт языковой личности носителя языка, принцип «мягкой» подачи пограничных явлений с одновременным отнесением спорных или смежных случаев в разные классы. Последний из них позволил «включить в новый словарь единицы, занимающие промежуточное положение между именами собственными и нарицательными» (с. 8).

Поставленная составителями цель словаря – «представление идиолектной системы имен собственных как значимой составляющей лексикона языковой личности» (с. 4) – достигнута в полной мере. Ономастикон сибирского старожила предстает перед читателем как единая, целостная языковая система, отражающая традиции именования жителей, моду на конкретные антропонимы, отношение информанта к тем или иным именам собственным. Всего в ономастиконе представлено «1500 онимов, зафиксированных в идиолекте носителя традиционной народно-речевой культуры» (с. 10).

При построении словаря авторами было принято решение (с которым можно согласиться, а можно и поспорить) выделить в его структуре три части: часть 1 – «Антропонимы» (с. 11–201), часть 2 – «Топонимы» (с. 202–270), часть 3 – «Прочие имена собственные», где отражены клички животных, наименования марок автомобилей и бытовой техники, учреждений, магазинов, названия радиопередач, песен и др. (с. 271–303). Такой подход, казалось бы, разрушает целостность ономастического пространства носителя языка, однако на самом деле позволяет четко выстроить три подсистемы, обладающие внутренней логикой построения. Так, например, словарные статьи, посвященные именам людей, включают «сведения о звуковой оболочке лексикографируемого антропонима (или антропонимов, входящих в гнездо), его словоизменении, разряде данного онима, производных образованиях, семантических и функциональных особенностях лексемы» (с. 12); топонимы и прочие имена собственные по определению имеют менее разветвленную систему связей и отношений.

Сказанное выше можно продемонстрировать примерами словарных статей из разных частей словаря:

**ЛЮДМИ'ЛА** (произносит. [д] и [дъ]; р. Людми'ле) – имя жен., полн. О 86.

Раньше-то цясто были. Лю'дын муж тоже, Людмила мне племянница; Я говорю [односельчанке, живущей одной]: «Да ты не мину'ешь Раю. Не мину'ешь Раю. У Людмиле своя семья вон кака', а тут никакой семьи нету»; Людмила Гевор'гевна, вот бе'лы-то, жёлты эти карто'шки-то у меня – вы садили, нет их?; Как у Людмиле Гевор'гевне родители там, ничё? Ба'ушка-то жива? Ли нет ли? Не говорила?; Раздевайся! Людмила Иванна.

**Людми'лин.** 1. «Мой-то [пёс] не укусит! А вот эта, Людмилиа там [собака] – может укусить».

► **Лю'да** (р. Лю'де, д. Лю'ды) – *неполн.* О 213. Люда, выпей чашечку чаю!; Володя её [мать] забрал, к Люды привёз.

> **Лю'дын.** 13. А у это, у Коли, у Людыного, тёшша рабо'тат в больнице; А это... напро'ти Поли Каря'кины жили... Сара была – Гришина мать там, Людына мать была...

► **Лю'дка** – *неполн.* О 16. А эта, Людка ли однако была?; А я хотела платышко надевать, да это... неудобно, при Людке-то; «Как не будешь то'лста! – она на меня. – Всё стря'пашь да варишь всегда». Я говорю: «Ну и чё?» – «Да! Мне тоже Людка [внучка] возит».

> **Лю'дкин.** 1. Молоденький мальчишка – «Я, гыт, не знаю, ра'зе Пашка [сын] Людки Рай'киной?» – говорит. Я говорю: «Да ты чё? Он откэ'дова попадёт [сюда из села Ярское]? Людкин».

► **Лю'дочка** – *квалит., ласк.* О 1. [Корвалол пьёте?] Всё время пью, не перестаю. Како'-то... Людочка сказала, како'? Како'-то лекарство хотела купить мне, да и никого', я и деньги не дала, ничё.

► **Лю'ся** – *неполн.* О 1. Ну ей всё равно Люся помога'т.

**ДУДА'Й** – *прозв. от фам. Дудаев. ЧР.* 2. □ Джахар Дудаев – лидер чеченского движения 1990-х гг.

♣ Катя! А вот это... как его? о'споди... в Чечне-то. Куды' девался этот [Дудаев]? Гыт, «убили». ~ А Рая дак Лёньку зовёт «Дудаем», гыт. Хо! «Дудай-то, гыт, чё!» [Какого?] От этого [указывает на дом соседа]. [Почему?] Не знаю, какой серьдитый он ли чё ли.

**КАЗА'НКА.** *Деревня в Томской области, расположенная по трассе между Томском и Вершинино.* 12.

А дом-то никого ешо не строят щас. Ну, лес возят, кто-то сказал мне вчера. То ли Таня, то ли Гутя. С Басандайки. Нет, с Казанки; Прода'с, а наза'втре опе'ть туды', по черёмуху по эту, на во'стров. Не на этот остров, а там, перед Кола'ровой... этой, Казанкой во'стров-то; Кода' больша'

вода – до Казанки всё, и тут всё затопит; Они картошку хотели обрабатывать поехать окучивать, в Казанку; А он говорит: «А вам на Ярско'е надо?» – «Да, на Ярско'е». Он гыт: «Возьмите мне билет. ~ До Казанки, гыт».

**Казанский. Казанский остров.** 1. [Этот остров никак не называется?] Остров, и всё, никак. Ну, Вершининский остров так. А там Казанский остров, дальше там. // *Житель, уроженец Казанки.* 1. И я пи'вки ставила это, и банки ставила. [Здесь?] У-у. Я ставила, в городе, на это, на Татарской, татарка кака'-то ставила. А тя'те ставили – всё казански ездили, ходили ставили.

**ЗАПОРО'ЖИЦА.** *Марка легкового автомобиля.* < *Запорожец.* 8.

А у Гены машина-то но'ва, ему дали это как выделили фронтовику «запорожицу»; А машинёнка-то у его худа', купил каку'-то... «запорожицу», ну она нехоро'ша была.

Тщательно разработана и система функциональных помет рецензируемого словаря. Так, «к пометам об ограниченной сфере функционирования антропонима относятся «в чужой речи», «устаревающее», «новое» и «детское» (с. 16); «помета о неполной освоенности антропонима ставится, если контексты отражают наличие окказиональных вариантов, неуверенное или искаженное произношение имени собственного в речи информанта» (с. 17). Важным компонентом словарной статьи считаем и справочные сведения, особенно «данные о числе зафиксированных в текстах словоупотреблений» (с. 19) онимов.

Особой ценностью для читателей словаря, безусловно, обладает иллюстративный материал, представляющий собой объемную «энциклопедию» жизни русской деревни: ее будни и праздники («А сцяс вот Вознесенье быва'т, Христов день. Исус Христос спустился с неба» – с. 192), современность и историю («А кода'... Хрушшов-то итобрали, тода'... совхоз-то начался, коров-то итобрали. В шейсят первом, наверно» – с. 193), местную топонимику («Бегали к Сухой речке, туды', где ко'нплекс – веночки вили да...» – с. 254) и прецедентные имена («Хоро'ша дочь Аннушка, хвалит мать и ба'ушка» – с. 43).

Заслуживают внимания также маркированные в иллюстративной зоне особым знаком высказывания, содержащие проявления метязыковой рефлексии говорящего в отношении имен собственных. В таких примерах объектом осмысления являются форма, семантика или функционирование имени собственного в своей или чужой речи: его благозвучие / неблагозвучие, его необычность, несоответствие официальному именованию, наличие вариантных обозначений,

преимущественное употребление той или иной формы имени, мотив называния, коннотация онима, частотность, соблюдение / несоблюдение нормы употребления и т. д.

Изданный словарь послужил источником комплексного описания системы антропонимов диалектной языковой личности в недавно защищенной кандидатской диссертации Е. А. Астафьевой (Берестовой) и является ценным источником для сопоставительных ономастических исследований, которые проводятся или будут проводиться российскими ономатологами. Поэтому хочется выразить огромную признательность редактору словаря, профессору Екатерине Вадимовне Иванцовой, за подвижнический труд по сбору диалектного материала, верность традициям отечественной ономастики, привлечение к лексикографической работе своих учеников и пожелать удачи на поприще создания новых лексикографических трудов и исследования диалектной речи.

#### Список литературы

Гильбурд А. М. Словарь собственных имен в поэмах М. Ю. Лермонтова. Сургут: СурГПУ, 2006. 88 с.

Идиолектный ономастикон сибирского старожила / авт.-сост. Е. В. Иванцова, Е. А. Берестова; под ред. Е. В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2015. 308 с.

Иванцова Е. В. Идиолектный словарь сравнений сибирского старожила. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. 162 с.

Иванцова Е. В. Идиолектный словарь прецедентных текстов сибирского старожила. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 132 с.

Обухова Е. С. Ономастика творчества А. С. Пушкина петербургского периода (1817–1820): словарь. Воронеж: Истоки, 2009. 168 с.

Полный словарь диалектной языковой личности / под ред. Е. В. Иванцовой. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. Т. 1. А–З. 358 с.; 2007. Т. 2.

И–О. 338 с.; 2009. Т. 3. П–Р. 324 с.; 2012. Т. 4. С–Я. 366 с.

Словарь языка русских произведений Шевченко: в 2 т. / сост. В. М. Брицын и др. Киев: Наукова думка, 1985.

#### References

Gilburd A. M. *Slovar' sobstvennykh imen v poemakh M. Yu. Lermontova*. [Onomasticon in M. Yu. Lermontov's poems]. Surgut, Surgut State Pedagogical University Press, 2006. 88 p. (In Russ.)

*Idiolektnyy onomastikon sibirskogo starozhila* [Idiolectal onomasticon of the Siberian old resident]. Comp. by E. V. Ivantsova, E. A. Berestov, ed. by E. V. Ivantsova. Tomsk, Tomsk State University Press, 2015. 308 p. (In Russ.)

Ivantsova E. V. *Idiolektnyy slovar' sravneniy sibirskogo starozhila* [The Idiolectal Comparison Dictionary of the Siberian Old Resident]. Tomsk, Tomsk State University Press, 2005. 162 p. (In Russ.)

Ivantsova E. V. *Idiolektnyy slovar' pretsedentnykh tekstov sibirskogo starozhila* [The Idiolectal Precedent Texts Dictionary of the Siberian Old Resident]. Tomsk, Tomsk State University Press, 2016. 132 p. (In Russ.)

Obukhova E. S. *Onomastika tvorchestva A. S. Pushkina peterburgskogo perioda (1817–1820): slovar'*. [Onomastics of Pushkin's works of St. Petersburg's period (1817–1820): dictionary]. Voronezh, Istoki Publ., 2009. 168 p. (In Russ.)

*Polnyy slovar' dialektnoy yazykovoy lichnosti* [The Complete Dictionary of a Dialect Language Personality]. Ed. by E. V. Ivantsova. Tomsk, Tomsk State University Press, 2006, vol. 1. A–Z. 358 p.; 2007, vol. 2. I–O. 338 p.; 2009, vol. 3. P–R. 324 p.; 2012, vol. 4. S–Ya. 366 p. (In Russ.)

*Slovar' yazyka russkikh proizvedeniy Shevchenko: v 2 t.* [The Dictionary of Language of Russian Literary Works by Shevchenko: in 2 vols.]. Ed. by V. M. Britsyn et al. Kiev, Naukovadumka Publ., 1985. (In Russ.)

## VERSHININA FROM VERSHININO

**Tatiana A. Sirotkina**

**Associate Professor in the Department of Philological Education and Journalism  
Surgut State Pedagogical University**

10/2, 50 let VLKSM st., Surgut, 628417, Russian Federation. sirotkina71@mail.ru

SPIN-code: 7901-7167

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3494-0968>

ResearcherID: D-5802-2018

*Submitted 15.02.2018*

The review presents one of new lexicographic publications by Tomsk linguistic scholars – *Idiolectal Onomasticon of the Siberian Old Resident* (compilers E. V. Ivantsova, E. A. Berestova; edited by E. V. Ivantsova. – Tomsk, Tomsk University Press, 2015. – 308 p.). Onomasticon of an ordinary native speaker of a language has not yet been the subject of a dictionary description, so the dictionary created by the linguists of the Tomsk linguistic school fills this lexical gap, establishing the tradition of recording different types of proper names functioning in the speech of a dialect speaker in a separate publication. The review considers the basic principles of constructing this dictionary. Following the tradition of the *Complete Dictionary of the Dialectal Language Personality*, the onomastic dictionary is built according to the same methodological principles: the focus on the fullest possible reflection of the language personality's lexicon, the orientation to a multidimensional description of lexical units, the principle of objectification of the features of the native speaker's language personality in the dictionary, and the principle of "soft" presentation of borderline phenomena with simultaneous referring of disputed or related cases to different classes. The review also deals with the illustrative material, which is of special value for readers, being a "three-dimensional encyclopedia" of life of the Russian village, its everyday routine and holidays. In the dictionary, there are also noteworthy statements, marked with a special sign, that contain manifestations of the speaker's metalingual reflection in relation to proper names. In such examples the object of comprehension is the form, semantics or functioning of the proper name in one's own or another's speech: its euphony / cacophony, its unusualness, inconsistency with the official naming, the presence of variant designations, the preferential use of one or another form of name, the naming motive, the connotation of the onym, the frequency, compliance / non-compliance with the norms of usage, etc. Based on the description of this lexicographic publication, a conclusion is drawn on the prospects of creating similar dictionaries on the dialect material of other territories of Russia.

**Key words:** idiolectal onomasticon; lexicography; Tomsk linguistic school; dictionary; onym.

УДК 81'38

doi 10.17072/2037-6681-2018-2-127-132

## MODERN SCIENTIFIC TEXT: НАУЧНЫЙ ТЕКСТ КАК ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОГО ПОИСКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ЗНАНИЯ

**Наталья Васильевна Халина****д. филол. н., профессор кафедры связей с общественностью и рекламы****Алтайский государственный университет**

656049, Россия, г. Барнаул, просп. Ленина, 61. nkhalina@yandex.ru

SPIN-код: 1393-3762

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2478-5669>

ResearcherID: S-2134-2016

*Статья поступила в редакцию 06.03.2018***Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:**

*Халина Н. В. Modern Scientific Text: научный текст как презентация результатов научного поиска в современном обществе знания // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 2. С. 127–132. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-127-132*

**Please cite this article in English as:**

*Khalina N. V. Modern scientific text: nauchnyy tekst kak prezentatsiya rezul'tatov nauchnogo poiska v sovremen-nom obshchestve znaniya [Modern Scientific Text: Scientific Text as Presentation of Scientific Research Results in the Modern Knowledge Society]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 2, pp. 127–132. doi 10.17072/2037-6681-2018-2-127-132 (In Russ.)*

Основное внимание в рецензии уделяется понятию «современный научный текст», вынесенному авторами рецензируемой монографии в ее заглавие. Концепция современного научного текста М. П. Котуровой и Н. В. Соловьевой рассматривается в рецензии через призму социально-фило-софской концепции «общества знания», теории модерности и постмодернистской философии, в том числе в ее языковедческой актуализации. Интегрированный анализ содержания концепции, представленной в рецензируемой монографии, обусловлен рассмотрением авторами монографии современного научного текста как многомерного явления, с одной стороны, порожденного инновационными запросами технологически эволюционирующего общества, с другой стороны, генерирующего новые сцепления значений, которые уже сами по себе составляют деривационные базы нового знания. Методологически выверенный анализ языковых и текстовых единиц, формирующих целостность, системность, стереотипность и абстрактность современного научного текста, представленный в монографии «Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений)», позволяет определить параметры научного знания, характер которого задает векторы развития российского социума в ближайшие десятилетия. Полученный авторами результат следует квалифицировать не только как вклад пермской научной школы в развитие постулатов современного языкознания и дискурсологии, но и как научное достижение, способствующее интеграции современной лингвистики с современной философией и социологией языка.

**Ключевые слова:** научный текст; современный научный текст; эпистемическая ситуация; эпистемологическая модерність; когнитивно-дискурсивно-стилистический подход; дискурсивные практики.

Развитие наукоемких технологий в постиндустриальном обществе сопровождается трансформацией самой науки и научных исследований, дополняющихся изучением технологии, ко-

торое, с одной стороны, согласуется с задачами технауки, с другой стороны, нивелирует традиционное разграничение *теория – практика, наука – технология* [Жукова 2007]. Существен-

ное расширение контуров взаимодействия науки, технологии, общественных потребностей и бизнеса меняет значительным образом принципы их взаимосвязи: научное исследование может быть «запущено» только в том случае, если оно связано с разработкой новой технологии, на которую есть спрос.

Изменение общественного статуса науки неизбежно влияет на характеристики его «публичного» репрезентанта – научного текста, параметры которого становятся объектом рассмотрения в монографии М. П. Котюровой и Н. В. Соловьевой «Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений)» [Котюрова, Соловьева 2017], созданной в рамках концепции функциональных стилей русского языка, разработанной профессором М. Н. Кожинной, при поддержке гранта РГНФ, проект № 14-34-01026a1.

Основные мотивы рецензируемой монографии, на наш взгляд, можно охарактеризовать, обратившись к постулатам теории модерности, наиболее репрезентативно представленным в работах П. Вагнера [Wagner 1994; 2001a; 2001b; 2007; 2009]: каким образом человек получает обоснованное знание (эпистемологическая проблематика), как удовлетворяются потребности человека в новом знании и преобразовании получаемой информации в формат знания (проблематика экономики знания, экономики языка и собственно экономическая проблематика), каким образом современная лингвистическая наука обеспечивает потребности коммуникации в дискурсивно-дифференцированном обществе, как (и какие) языковые и текстовые единицы современного научного текста способствуют обеспечению реализации «метонимической» логики связи дискурсов» [Хомяков 2012] общества в контексте цивилизационного дискурса.

Представленные основные мотивы научно-исследовательской программы, фундирующей концептуальное содержание монографии, созвучны трем основным человеческим вопросам, на которые «откликается» модерность и которые терминологически номинируются как *problématiques* [там же]. Вопросы связаны с политической проблематикой (каковы правила человеческого общежития), эпистемологической проблематикой (каким образом человек получает обоснованное знание), экономической проблематикой (как удовлетворяются потребности человека) [Wagner 2009; Хомяков 2012].

Эпистемическая оценка модерности дается М. Б. Хомяковым на основе анализа критических размышлений К. Касториадиса, З. Баумана, П. Вагнера [Castoriadis 1990; Bauman, 2000; Wagner 2001a; 2009]: а) модерность компаративна, отсылает к преодолеваемому прошлому и потому

характеризуется своей направленностью в будущее; б) модерность дает уникальные ответы на поставленные вопросы; в) уникальный современный ответ модерности на «вечные» вопросы определяется «двойным воображаемым значением», заключающимся в противоречивом единстве автономии и рационального; г) в эпистемической ситуации модерности человечество пытается воплотить ответы на вопросы «в рационально найденных в критическом осмыслении прошлого формах» [Хомяков 2012: 63].

В «эпистемологической» сфере модерность приводит к организации автономного производства знаний, или формированию современной науки и оформлению современного научного дискурса, частью которого является научный текст. Подобное становится основанием для дискуссии о реальности эпистемологической модерности, представленной в современной эмпирической и аналитической науке в целом и, в частности, в рецензируемом монографическом исследовании «Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений)» [Котюрова, Соловьева 2017].

Концептуальное содержание монографии Марии Павловны Котюровой и Натальи Васильевны Соловьевой дает основания для признания в качестве особого «института модерности» современного научного текста. Согласно позиции П. Вагнера, институты модерности предлагают особое отношение к возможностям и ограничениям, сущность и распределение которых приобретает в обществе весомое значение [Wagner 1994].

«В соответствии с широкой – эпистемической – трактовкой научного текста, – замечают авторы монографии, – на наш взгляд, можно привести положение о том, что смысловая структура научного текста включает определенные смысловые отношения содержания текста с его эпистемическим контекстом. Тем самым новое, полученное автором знание, начинает функционировать как научное знание, т. е. обнаруживает «функциональность», включенность в познавательную деятельность» [Котюрова, Соловьева 2017: 77]. Эпистемический контекст, как утверждает М. П. Котюрова, в процессе развертывания текста, обеспечивает преемственность научного знания [Котюрова 1985], поскольку представляет собой инвариант «не только ранее добытого знания, но и знания, которое, возможно, будет получено в будущем, в непрерывной цепи познания. Несмотря на неизвестность, неопределенность, прогнозируемое знание также представляет контекст содержания реального текста» [там же].

Авторы монографии, таким образом, акцентируют внимание на знании как основном пара-

метре, характеризующем эпистемологическую модернность современного социума, терминологически диффинированого и в качестве информационного общества, и в качестве общества знания.

Эпистемологическая модернизация современного общества, по мнению составителей доклада ЮНЕСКО «К обществам знания» [К обществам знания 2005], обусловлена необходимостью обеспечения соединения знаний, которыми уже обладают те или иные общества, с новыми формами создания, приобретения и распространения знаний, которые используются в рамках модели экономики знания. Авторы доклада также считают необходимым разграничение понятий «информационное общество» и «общество знания»: «Понятие информационного общества основывается на достижениях технологии. Понятие же обществ знания подразумевает более широкие социальные, этические и политические параметры» [там же: 19].

В докладе обращается внимание на глубокие изменения, которые произошли в сознании общества в отношении к знанию вследствие распространения моделей экономики неинтегрированного знания. Технологии, позволившие значительно увеличить объемы доступной информации, скорость ее передачи и приведшие к формированию мирового информационного общества, не предполагают с обязательностью правильное осмысление информации, без которого информация остается набором невразумительных сведений. В обществе знания человек для отделения «полезной» информацию от бесполезной должен уметь свободно ориентироваться в потоке информации, развивать когнитивные способности и критический ум. Проблема состоит в том, что полезные знания не всегда непосредственно и немедленно могут быть реализованы в экономике классического знания, поскольку «гуманистические» знания и «научные» знания подчиняются различным стратегиям использования информации [там же: 21–22].

В монографии М. П. Котюровой и Н. В. Соловьевой «Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений)» [Котюрова, Соловьева 2017] рассматриваются стратегии использования научного знания для создания нового знания, в качестве информативного источника которого выступает современный научный текст.

Современный научный текст в концепции авторов монографии представляет собой особого вида «контактную» структуру, обеспечивающую взаимодействие определенного сегмента научного дискурса и читателя – пользователя информации, переработанной в форму научного знания автором научного текста.

Авторы вводят понятие «эталонный научный текст», или «ментальная модель текста», – образцовый, эталонный текст как система свойств, «присущих реальным текстам и репрезентированных в них различными совокупностями языковых единиц» [там же: 10]. Для пояснения свойств современного научного текста авторы используют метафору «система-паутина», которая позволяет охарактеризовать поликонтурный характер современного научного текста, а также такие его свойства, как ‘устойчивость’ ‘эластичность’, ‘открытость’ и ‘релятивность’.

Изложение исследовательской позиции, касающейся понятия «эталонный научный текст», обнаруживает созвучие концепции М. П. Котюровой и Н. В. Соловьевой с постструктуралистским пониманием текста, в соответствии с которым текст рассматривается в качестве «сети» генерации значений. Кроме того, постструктуралистскому пониманию текста свойственно опровержение «мифа о филиации»: авторы рецензируемой монографии вводят понятие «блуждающего» мифа о доступной смысловой структуре научного текста. Постструктурализм, подвергая анализу текст, настаивает на принципиальной открытости, незавершенности значений: авторы монографии обращают внимание на открытость при характеристике смысловой структуры научного текста. «Открытость системы соотносится с возможностью: со стороны автора – изменять совершенствовать свойства текста, со стороны читателя – в процессе восприятия (и, более того, понимания) самоотстраивать структуру текста благодаря целостно-композиционному мышлению и интеллектуальной интуиции» [там же: 11].

Актуальной при рассмотрении современного научного текста становится дуада «автор – читатель», фигурирующая преимущественно в научных исследованиях, связанных с изучением особенностей художественного текста [Леонтьев 2004; Лицарева 2012; Моташкова 2015; Рубцова 2015]. В контексте постмодернистской парадигмы фигура автора требует для своего конституирования особой процедуры, предполагающей анализ текстов в качестве дискурсивных практик. В этом случае автор рассматривается в качестве принципа группировки дискурсов, единства и источника их значений, центра их связности [Фуко 1994] или продуцента «метонимической логики» связи различных дискурсов.

Объектом и предметом исследования рецензируемой монографии являются репрезентанты «авторских» научно-исследовательских программ, представляющих различные направления современной языковой науки, оформленные в виде научных статей, монографий, учебных по-

собий. Именно фигура автора поддерживает существование, обращение и функционирование дискурсов внутри общества, а следовательно, и обращение научного знания.

Обретение реальности текста, как утверждает У. Эко [Эко 2005], достигается благодаря категории «образцового читателя»: каждый текст предполагает наличие у реципиента определенной текстуальной компетенции и общность контекста коммуникации. Читателю в концепции авторов рецензируемой монографии отводится роль 'потребителя научного знания': «... и автору, и читателю (потребителю научного знания) совершенно необходимо обладать адекватным представлением, т. е. «блуждающим» мифом, о простой, легко воспринимаемой, доступной смысловой структуре научного текста» [Котюрова, Соловьева 2017: 11].

В зависимости от дискурсивной компетенции потребителя, его познавательной потребности меняется содержание мифа-представления о научном тексте. С учетом прагматических условий и установок «научные тексты дифференцируются читателем на легкие и трудные. Важно, что любая характеристика текста может быть соотнесена с имеющимся у читателя мифом-представлением о научном тексте» [там же: 13].

Общий подход к научному тексту авторы основывают на синтезе трех аспектов рассмотрения текста: когнитивного, дискурсивного и стилистического. В качестве оптимального варианта анализа современного научного текста предлагается когнитивно-дискурсивно-стилистический подход. Основанием для такого ракурса рассмотрения научного текста авторы признают возможность сочетания «квантов смысла» когнитивной лингвистики, дискурсивного анализа и функциональной стилистики. «Совершенно необходимыми в пределах поставленной задачи «квантами» мысли мы считаем такие, как: 'мыслительная способность субъекта познавательной деятельности' (автора и адресата); 'наличие других текстов на одну и ту же тему' (включение автора и читателя в дискурсивную сторону текста); 'содержанием научного текста является научное знание в динамике его формирования' – знание, зафиксированное средствами языковой системы в соответствии с функционально-стилевой спецификой (выражение экстралингвистической коммуникативно-познавательной деятельности» [там же: 30].

Соответствие рецензируемой монографии положениям эпистемологической модерности получает подтверждение в применении авторами монографии в процессе анализа современного научного текста понятия функции *difference* – функции эпистемической. Эта функция сопоста-

вила понятию «двойного воображаемого значения» из концепции модерности К. Касториадиса. Функция *difference* – это функция «выявления и установления двух противоположных, но взаимосвязанных отношений между понятиями – отношений сходства и различия» [там же: 135]. Возможность оформления эпистемической функции *difference* связана с ситуацией *Difference*, которая с позиций «постмодернистского» языкознания моделируется интенциями индивида, осознающего, что создаваемый им текст есть духовный продукт, который является знаком его перцептуально-концептуальной картины мира [Халина 2008].

Особое внимание авторы рецензируемой монографии уделяют научному знанию, указывая на способ его получения, «место» и форму существования и актуализации, возможность использования в расширенном контексте. «Научное знание а) получено эмпирически либо теоретически, посредством наблюдения, опыта либо логически, выводным путем, б) зафиксировано в понятиях, суждениях, умозаключениях, в) развернутому в виде концепции, теории или сжатому до закона, г) достоверному либо недостоверному (но обычно изложенному автором с наименьшей степенью уверенности в его значимости)» [Котюрова, Соловьева 2017: 46].

М. П. Котюрова и Н. В. Соловьева отождествляют научное знание с эпистемической определенностью – определенностью качественной, или научным знанием, которое фиксируется текстовой единицей, «названной эпистемической ситуацией, которая выражена посредством молекулярного словосочетания, сложного синтаксического целого, целого текста» [там же: 47].

Методологически выверенный анализ языковых и текстовых единиц, формирующих целостность, системность, стереотипность и абстрактность современного научного текста, представленный в монографии «Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений)», позволяет определить параметры научного знания, характер которого задает векторы развития российского социума в ближайшие десятилетия.

### Список литературы

Жукова Е. А. *Hi-Tech: динамика взаимодействия науки, общества и технологий: автореф. дис. ... д-ра филос. наук.* Томск, 2007. 40 с.

*К обществам знания.* Париж: Изд-во ЮНЕСКО, 2005. 229 с.

Котюрова М. П., Соловьева Н. В. *Современный научный текст (сквозь призму дискурсивных изменений)* / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. 204 с.

Котюрова М. П. О выражении отношений между текстом и эпистемическим контекстом // Проблемы функционирования языка и специфики речевых разновидностей: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. проф. М. Н. Кожинной; Перм. ун-т. Пермь, 1985. С. 19–29.

Леонтьев Э. П. Проблема автора и читателя в прозе и публицистике В. М. Шукшина: дис. ... канд. филол. наук. Рубцовск, 2004 154 с.

Лицарева К. С. Типологические черты сетературы. Проблема автора и читателя // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2012. Т. 2, № 2. С. 125–127.

Моташкова С. В. Постмодернизм и интертекстуальность как проблемы диалога автора и читателя // Известия ВГПУ. 2015. № 2(267). С. 144–147.

Рубцова С. П. Проблема автора и читателя в литературном произведении // Вестник ВГУ. Серия: Философия. 2015. № 2. С. 140–150.

Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Les Mots et les Choses. Archeologie des science humaines. СПб.: Изд-во: А-сэд, 1994. 408 с.

Халина Н. В. Языкознание в условиях постмодернистской парадигмы. Барнаул: Изд-во Алтай. ун-та, 2008. 285 с.

Хомяков М. Б. К критической теории монолитной модерности // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. XV, № 6 (65). С. 60–72.

Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике. СПб.: Симпозиум, 2005. 501 с.

Bauman Z. *Liquid Modernity*. Polity Press, 2000. 229 p.

Castoriadis C. *Le monde morcelé. Les carrefours du labyrinthe III*. Paris: Seuil, 1990. 418 p.

Wagner P. *A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline*. London: Routledge, 1994. 268 p.

Wagner P. *Theorizing Modernity. Inescapability and Attainability in Social Theory*. L.: Sage Publications, 2001a. 150 p.

Wagner P. *Modernity: History of the Concept* // International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / ed. by N. J. Smelser and P. B. Baulettes. Amsterdam, Paris et al.: Elsevier, 2001b. P. 9949–9954.

Wagner P. *Imperial Modernism and European World-Making* // Varieties of World-Making. Beyond Globalization / ed. by N. Karagiannis, P. Wagner. Liverpool: University Press, 2007. P. 247–265.

Wagner P. *Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something Like a Cultural Turn in the Sociology of “Modern Society”* // Frontiers of sociology / ed. by P. Hedstrom, B. Wittrock. Leiden; Boston: Brill, 2009. P. 247–266.

## References

Zhukova E. A. *Hi-Tech: dinamika vzaimodeystviy nauki, obshchestva i tekhnologii*. Avtoref. diss. dokt. filol. nauk [Hi-Tech: dynamics of interactions between science, society and technology. Abstract of Dr. philol. sci. diss.]. Tomsk, 2007. 40 p. (In Russ.)

*K obshchestvam znaniya* [Towards knowledge societies]. Paris, UNESCO Publ. 2005. 229 p. (In Russ.)

Kotyurova M. P., Solov'eva N. V. *Sovremennyy nauchnyy tekst (skvoz' prizmu diskursivnykh izmeneniy)* [Modern scientific text (through the prism of discursive changes)]. Perm, Perm State University Press, 2017. 204 p. (In Russ.)

Kotyurova M. P. O vyrazhenii otnosheniy mezhdu tekstom i epistemicheskim kontekstom [On the expression of relations between text and epistemic context] *Problemy funktsionirovaniya yazyka i spetsifiki rechevykh raznovidnostey: mezhvuz. sb. nauch. trudov* [The problems of language functioning and specificity of speech varieties: interuniversity collection of scientific works]. Ed. by prof. M. N. Kozhina. Perm, Perm State University Press, 1985, pp. 19–29. (In Russ.)

Leont'ev E. P. *Problema avtora i chitatelya v proze i publitsistike V. M. Shukshina*. Diss. kand. filol. nauk [The problem of the author and the reader in prose and publicism of V. M. Shukshin. Cand. philol. sci. diss.]. Rubtsovsk, 2004. 154 p. (In Russ.)

Litsareva K. S. *Tipologicheskie cherty seteratury. Problema avtora i chitatelya* [Typological features of neterature. The problem of the author and the reader]. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta*. [Herald of Vyatka State University], 2012, vol. 2, issue 2, pp. 125–127. (In Russ.)

Motashkova S. V. *Postmodernizm i intertekstual'nost' kak problem dialoga avtora i chitatelya* [Postmodernism and intertextuality as the problems of the dialogue between the author and the reader] *Izvestiya VGPU*. [Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University], 2015, issue 2 (26 7), pp. 144–147. (In Russ.)

Rubtsova S. P. *Problema avtora i chitatelya v literaturnom proizvedenii* [The problem of the author and the reader in a literary work] *Vestnik VGU. Seriya: Filosofiya*. [Proceedings of Voronezh State University. Series: Philosophy], 2015, issue 2, pp. 140–150. (In Russ.)

Foucault M. *Slova i veshchi. Arkheologiya gumanitarnykh nauk* [The order of things. An Archaeology of the Human Sciences]. St. Petersburg, A-cad Publ., 1994. 408 p. (In Russ.)

Khalina N. V. *Yazykoznanie v usloviyakh postmodernistskoy paradigm* [Linguistics in the conditions of postmodern paradigm]. Barnaul, Altai State University Press, 2008, 285 p. (In Russ.)

Khomyakov M. B. K kriticheskoy teorii monolitnoy modernosti [To the critical theory of monolithic modernity]. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii* [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 2012, vol. XV, issue 6(65), pp. 60–72. (In Russ.)

Eco U. Rol' chitatelya. Issledovaniya po semiotike [The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts]. St. Petersburg, Simposium Publ., 2005. 501 p. (In Russ.)

Bauman Z. *Liquid Modernity*. Cambridge, UK: Polity Press, 2000. 229 p. (In Eng.)

Castoriadis C. *Le monde morcele. Les carrefours du labyrinthe III*. Paris, Seuil, 1990. 418 p. (In French)

Wagner P. *A Sociology of Modernity. Liberty and Discipline*. London, Routledge, 1994. 268 p. (In Eng.)

Wagner P. *Theorizing Modernity. Inescapability and Attainability in Social Theory*. London, Sage Publications, 2001a. 150 p. (In Eng.)

Wagner P. Modernity: History of the Concept. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Ed. by N. J. Smelser and P. B. Baultes. Amsterdam, Paris et al., Elsevier, 2001b, pp. 9949–9954. (In Eng.)

Wagner P. Imperial Modernism and European World-Making. *Varieties of World-Making. Beyond Globalization*. Ed. by N. Karagiannis, P. Wagner. Liverpool: Liverpool University Press, 2007, pp. 247–265. (In Eng.)

Wagner P. Modernity as Experience and as Interpretation: Towards Something Like a Cultural Turn in the Sociology of “Modern Society”. *Frontiers of Sociology*. Ed. by P. Hedstrom, B. Wittrock. Leiden, Boston, Brill, 2009, pp. 247–266 (In Eng.)

## MODERN SCIENTIFIC TEXT: SCIENTIFIC TEXT AS PRESENTATION OF SCIENTIFIC RESEARCH RESULTS IN THE MODERN KNOWLEDGE SOCIETY

**Nataliya V. Khalina**

**Professor in the Department of Public Relations and Advertising**

**Altai State University**

61, Lenina st., Barnaul, 656061, Russian Federation. nkhalina@yandex.ru

SPIN-code: 1393-3762

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-2478-5669>

ResearcherID: S-2134-2016

*Submitted 06.03.2018*

The review focuses on the concept “modern scientific text”, given in the title of the monograph under consideration. This concept is analyzed in the review through the prism of the social and philosophical concept of the “knowledge society”, the theory of modernity and postmodern philosophy, including its linguistic actualization. The integrated analysis of the concept presented in the monograph results from the consideration by its authors of the modern scientific text as a multidimensional phenomenon, on the one hand, generated by the innovative demands of the technologically evolving society, on the other hand, generating new connections of values, which, in themselves, constitute the derivation bases of new knowledge. The methodologically verified analysis of linguistic and textual units forming the integrity, consistency, stereotypeness and abstractness of the modern scientific text presented in the monograph *Modern scientific text (through the prism of discursive changes)* allows one to determine the parameters of scientific knowledge, the nature of which sets the vectors for the development of the Russian society in the coming decades. The research result should be qualified not only as a contribution of the Perm school of thought to the development of the postulates of modern linguistics and discourse science, but also as a scientific achievement that will contribute to the integration of modern linguistics and modern philosophy and sociology of language.

**Key words:** scientific text; modern scientific text; epistemic situation; epistemological modernity; cognitive-discourse-stylistic approach; discursive practices.

Научный периодический журнал «Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология» зарегистрирован в 2009 г. как самостоятельное издание, объединяющее две серии журнала «Вестник Пермского университета», издаваемого с 1994 г. («Филология» и «Иностранные языки и литературы»).

В журнале отражаются результаты научной деятельности российских и зарубежных филологов. Кроме научных статей, материалов конференций, симпозиумов и семинаров, журнал печатает рецензии на монографии, сборники научных трудов и т. п., опубликованные в России и за рубежом, тематические обзоры и развернутую информацию о событиях научной жизни по профилю издания.

Полнотекстовая версия выставляется на сайте <http://press.psu.ru/index.php/philology> и на сайте НЭБ Elibrary.ru.

С 19.02.2010 журнал включен в **Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий**, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

### **ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ**

Каждая рукопись сопровождается внешней рецензией специалиста в исследуемой области, имеющего степень кандидата или доктора наук и не являющегося сотрудником вуза автора. Подпись рецензента заверяется в отделе кадров по месту работы. Авторы, не имеющие ученой степени, представляют, кроме внешней рецензии, отзыв научного руководителя, подписанный и заверенный по месту его работы. В рецензии и отзыве должны быть указаны полностью ФИО, ученая степень, должность, место работы и электронный адрес рецензента. Аспиранты дополнительно представляют официальную справку о сроках обучения в аспирантуре с указанием контактного телефона зав. отделом аспирантуры, подписавшим его документ.

Все три документа с печатями могут присылаться по почте или в сканированном виде отправляться на электронный адрес редакции вместе со статьей. Письмо с вложенными файлами должно быть отправлено с адреса, указанного в сведениях об авторе, и сопровождаться следующим текстом: «Передавая статью в научный журнал “Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология”, я гарантирую, что статья создана мной лично и не была ранее опубликована. **Согласен на размещение статьи на сайте “Вестника” <http://press.psu.ru/index.php/philology/index>. Беру на себя полную ответственность за соблюдение авторских прав в отношении используемых мной материалов**» (в случае частичной публикации представляемой статьи здесь должны быть указаны сведения об уже опубликованном фрагменте и месте его публикации).

Рукописи рассматриваются в порядке их поступления в течение 1–6 месяцев. Окончательное решение о публикации статьи принимается редколлегией и главным редактором. Члены международного редакционного совета или редколлегии даже при наличии положительной рецензии могут обратиться к главному редактору с предложением о дополнительном рецензировании статьи. В этом случае назначаются три эксперта из состава редколлегии или совета для подготовки обоснованного заключения. В случае отрицательного решения автору рукописи направляется мотивированный отказ от имени редколлегии. Рукопись, сопровождаемая внутренней рецензией, может быть отправлена автору на доработку для устранения замечаний. Срок доработки не ограничен. Статья, не соответствующая требованиям, предъявляемым к публикациям, вторично на доработку не отправляется. Статьи аспирантов, одобренные редколлегией, публикуются бесплатно.

### **ПРАВИЛА ПОДАЧИ И ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ**

Рукопись объемом от 20 до 40 тыс. знаков, оформленная в соответствии с выложенной на сайте ФОРМОЙ, должна поступить вместе с ПАСПОРТОМ СТАТЬИ и со всеми указанными выше документами по электронному адресу [langlit2009@mail.ru](mailto:langlit2009@mail.ru). Чтобы убедиться в том, что Ваши материалы получены, попросите отправить подтверждение.

Основной текст может быть написан на русском или английском языках.

**Правила оформления рукописей помещены на сайте журнала в разделе «Правила оформления рукописей» и в прикрепленном файле ФОРМА.**

*Главный редактор* – Ирина Александровна Новокрещенных.

Адрес редакции: 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15, ПГНИУ, корп. 5, ауд. 28 (лаборатория «Духовная культура Прикамья в лингвистическом аспекте», тел. (342)2396795), ауд. 111 (лаборатория «Сравнительно-исторических исследований и культурных инноваций», тел. (342)2396290). Зам. гл. редактора – *Ирина Ивановна Русинова, Наталья Валерьевна Шутемова*, ответственный за сайт – *Алексей Васильевич Пустовалов*.

*Научное издание*

**Вестник Пермского университета  
Российская и зарубежная филология**

Том 10. Выпуск 2 / 2018

Редакторы *Л. А. Богданова, О. И. Кирьянова*  
Корректоры *Л. А. Семицетова, Е. В. Шумилова*  
Компьютерная верстка: *Л. С. Нечаева*  
Макет обложки: *Т. А. Басова*

Подписано в печать 18.06.2018. Дата выхода в свет 26.06.2018  
Формат 60×84/8. Усл. печ. л. 15,58. Тираж 500 экз. Заказ 139



Издательский центр  
Пермского государственного  
национального исследовательского университета.  
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Типография Пермского государственного  
национального исследовательского университета.  
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Подписной индекс журнала  
«Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология»  
в общероссийском каталоге «Пресса России» – 41008

Распространяется бесплатно и по подписке